ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (7).

МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — 1922.

Гиз. № 2933. Р. Ц. Москва № 1438. 8.000 экз.

16-я типография М. С. Н. Х., Трехпрудный, 9.

Маленькие рассказы.

Александр Неверов.

Счастье.

Захотелось человеку счастья — купил граммофон. Попала двуспальная кровать—и ее купил: в дому появились клопы. Расстроился человек, купил супоросую свинью.

— Вот кто меня осчастливит.

Свинья обманула: троих поросят задавила, троих слопала. Охнул человек, завел граммофон.

— Хоть ты порадуй.

В граммофоне захрюкали погибшие поросята. Захворал человек. Лег на двуспальную кровать—клопы окружили. К вечеру начал стонать, а вечером:

— Тихо скончался.

Любовь.

На лугах росли цветы: желтые, белые, голубые, лиловые. Над цветами летали мотыльки: молодые да веселые. Посидят на одном, на другой пересядут. Так и летали. Сел однажды мотылек на голубенькую незабудку и засиделся немножечко лишнего. Вот она и говорит ему:

— Милый мой, будь моим.

— Пусти,—сказал мотылек.—Мне хочется вон к этой ромашке.

— Нет,—сказала незабудка.—Ты мой. Я буду любить тебя до тех пор, пока не умрем. А если ты умрешь раньше—буду любить тебя мертвого...

Это была очень сильная любовь, но мотылек испугался и—умер от скуки...

Горе.

Выросла у девушки коса. Русая, золотистая. Смотрела девушка на свою косу и радовалась:

— Какая хорошая.

И люди говорили про девушкину косу:

— Какая хорошая.

Но вместе с косой выросло и девичье горе. Увидал мужчина русую косу и стал поить девушку хмельным напитком.

— Ты лучше всех. Ты прекраснее всех.

Пила девушка и не могла напиться. Пила и опьянела. Расплела русую косу, покрыла ею возлюбленного и продержала до самой зари. Поцеловал мужчина задрожавшие пальцы у девушки и пошел отыскивать другую косу, нерасплетенную.

Подошла девушка к зеркалу и увидела в нем девичье горе. Сама девушка была маленькая, а горе большое. Стала плакать. Думала: выплачется горе—меньше будет. А горе от слез все больше да больше. Совсем задавило девушку. Тогда девушка сказала:

— Умру. Радости нет.

Посмотрела в последний раз на вешнее солнце и—улыбнулась: тут горе-то и выпало из глаз у нее.

Человек без одежды

Когда ему исполнилось девятнадцать лет, он увидел девушку и радостно воскликнул:

— Поздравь меня: мне исполнилось девятнадцать лет.

Девушка удивилась:

— Какое мне дело.

— Как? Ты не знаешь! Ведь мне же исполнилось девятнадцать лет. Я молодой, здоровый, сильный, ты тоже молодая, здоровая, сильная. Ты—колодец в степи, я—странник, жаждущий твоих родников...

Девушка отвернулась. Человек без одежды стоял пораженный.

— Кто же будет пить воду твоих родников? Верблюд?

В реке купалась женщина. Человек без одежды восторженно крикнул:

— О, лоза виноградная. Гроздья ягод твоих налиты соком, и ты поджидаешь садовника. Ты не хочешь, чтоб сердце мое опьянилось вином твоих ягод.

Глаза, говорящие правду, ответили:

— Пей.

А язык, научившийся лгать, прошептал:

— Я поджидаю другого.

— Напой меня первого. А когда я напьюсь, уступлю свое место другому. В гроздьях ягод твоих хватит обоим...

— Милый,—сказала женщина.—Ты, верно, не из нашей страны. Наши юноши обнажаются только ночью, под душным шатром одеяла, ты же подходишь ко мне обнаженный при солнечном свете. Разве не знаешь, что стыдно показывать тело?

Человек без одежды воскликнул:

— Отец. Я не знаю тебя, но зачем ты дал мне такое скверное тело, которое стыдно показывать людям. Дал бы ты мне тело белого ландыша, чтобы девушки нежно к устам прижимали его...

Женщина была очарована музыкой слов незнакомца, пришедшего в страну, скрывающих желанья при солнечном свете. Сняла одежды прозрачного лицемерия и повела юношу на брачное ложе весны.

— Ты—первый из первых. Да будет во-веки!

Жук, получивший свободу.

Полдень. В комнату ко мне залетает жук. Делает несколько плавных кругов и трубит как аэроплан. В комнате четыре стены, очень мало света и жука позывает назад. Настроение падает. Долго ищет выхода между простенками. Окно открыто, но жук, ослепленный солнцем, теряет дорогу и с полного полета ударяется головой в верхнее стекло. Бьет твердыми блестящими крыльями по стеклу, выходит из последних сил. Измученный садится на раму. Солнышко манит, стекло держит—жук в отчаянии.

Я смотрю на него и думаю:

— Глупый жук. Неужели ты не догадаешься. Возьми немного пониже, и ты будешь на воле.

Но солнце особенно ярко играет в верхнем стекле, и жук никак не может оторваться от него. Битва продолжается долго. Близко солнышко, зовет, смеется, а силы у жука все меньше да меньше.

Я с сердцем хватаю его в горсть и выкидываю из окна. Жук грохается на землю и лежит точно мертвый. Но уже через минуту поднимается выше сарая, выше яблони под окном, расправляет помятые крылья и торжественно трубит мухам внизу:

— Сво-бо-да!

Воробей.

Спросил человек Муравья:

— Доволен ты своей жизнью?

— Доволен,—сказал Муравей.

— Ну, ползай, если доволен. Наступит кто сапогом—не жалуйся.

Услыхал Воробей и говорит:

— Я недоволен своей жизнью.

— Почему?

— Потому и недоволен, что я—Воробей. Хочу быть ястребом.

Ястреб тоже был недоволен своей жизнью. Испугался Воробей.

— Не хочу быть ястребом. Соколом сделай меня.

Сокол перевязывал крылья.

— Сделай, сделай,—сказал он человеку.—За Воробьем бегает одна кошка, а за Соколом—тысяча охотников.

Еще больше испугался Воробей. Сел в коноплянник и сидит. Сокол смеется.

— Где тебе, трусишка!

Так и остался Воробей—Воробьем. Захотел попробовать, да смелости не хватило.

Аннушка.

Пилюгину шестьдесят четыре года. Вечером он долго молится Богу, встает на колени:

— Не введи нас во искушение...

На кровати сидит Аннушка—сноха. Оттопыривает ворот у рубашки, смотрит за пазуху. Там, как яблоки на яблоне, висят чуть-чуть потемневшие груди с курносыми сосками. Не стесняется Аннушка—старый.

Пилюгин лежит на печи, выставив бороду. Глаза горят. Пелена, сотканная старостью, рвется, по телу бегают короткие обжигающие искры. Обнимают его белые Аннушкины руки—дышать становится трудно. Вздрагивает. Одиноко стоят позабытые свечи, иконы, лампады, церковь, земные поклоны, грехи и кладбище... Все заслонила безбожная Аннушка. Лезет под дерюжку и дразнит:

— Гляди.

Раскрывает глаза под дрожащими веками, щекочет, смеется, играет:

— Гляди.

Страшно Пилюгину. Прыгает с печи ослепший и—в сени. Пляшет, дрожит бородой на морозе, читает молитвы.

Аннушка будит к заутрене:

— Тятенька!

Лежит неподвижно.

— Тятенька.

Испуганно вскакивает. Хватает Аннушку за руку, бессвязно бормочет, как будто во сне:

— А? Что? Кто?

Утреня старая, длинная. На высоких подсвечниках в белых коленкоровых рубашках горят лампады, теплятся свечи. В носу щекочет кадильный дымок. Поют, читают, но сердце не слушает. Сердце не видит. Перед глазами—безбожная Аннушка.

— Грех,—думает Пилюгин.—Соблазн.

А грех—бессовестный. Смотрит в лицо и смеется:

— Гляди.

К обедне Пилюгин не идет. Ложится на Аннушкину постель, одевается Аннушкиным одеялом и мысленно обнимает Аннушку горячими

помолодевшими руками. Раскрывается светлая бездна. Лезет старуха из могилы, становится сын поперек, но Пилюгин опрокидывает их, гасит свечи с лампадами, зажигает другие огни и видит только Аннушку— молодую, безбожную. В ней—Солнце и воздух, Земля и Небо и желание прожить еще шестьдесят четыре года.

Поэту.

Если хвалят тебя девяносто из сотни—уйди. Если скажет вся сотня восторженно:

— О-о-о!

Поступи подмастерьем к сапожнику:

— Ты—не поэт.

Если ж сотня озлобленных крикнет в лицо:

— Еретик! Сумасшедший!

Улыбнись.

— Читать тебя будут сто первые.

Из поэмы „Путями Каина".

Максимилиан Волошин.

Меч.

1.

Меч создал справедливость.

2.

Насильем скованный, отточенный для мщенья,
Он вместе с кровью напитался духом
Святых и праведников, им усекновенных.
И стала рукоять его—ковчегом
Для их мощей.
И в этом меч сподобился кресту—
Позорному столбу,
Который стал
Священнейшим из символов любви.

3.

На справедливой стали проступили
Слова молитв и заповеди долга:
„Марии—Деве милосердной—слава!"
„Не обнажай без нужды,
Не вкладывай в ножны без чести!"
„In te, o Domine, speravi!"
Восклицают
Средневековые клинки.
Меч сосвященствовал во время литургии,
Меч нарекался в таинстве крещенья:
Их имена „Отклэр" и „Дюрандаль"—
Сверкают как удар.
А в описях оружья
К иным прибавлено рукой писца:
„Он—фея!"

4.

Так из грабителя больших дорог
Меч создал рыцаря и оковал железом
Его лицо и плоть его;
А дух
Провел сквозь пламя посвященья,
Запечатляя в зрящем сердце меч,
Пылающий в деснице Серафима:
Символ земной любви—
Карающей и мстящей,
Мир рассекающей на „Да" и „Нет",
На зло и на добро,
„Si! Si!" „No! No!"
Как утверждает Сидов меч—„Колладо".

5.

Когда же в мир пришли иные силы
И в новых сплавах
Меч не погиб, но расщепился в духе:
Защитницею чести
Стала шпага,
А меч вершителем судебных приговоров.
Но, обесчещенный, он для толпы остался
Оракулом и врачевателем болезней,
И палачи собравшись хоронили
В лесах Германии усталые мечи,
Которые отсекли девяносто девять...

6.

Казнь реформировал хирург
И меч был побежден машинным производством,
Введенным в область смерти. И с тех пор
Меч стал характером, учением, доктриной:
Сен-Жюстом, Робеспьером, гильотиной,
Антиномией Кантова ума.

7.

О, правосудие, держащее в руках
Весы и меч,
Не ты ль его кидало
На чашки мира:
„Горе побежденным!"
Не веривший ли в справедливость приходил
К сознанию,

Что надо уничтожить
Для торжества ее сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья,
На которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И кровь на кровь!
Не тот ли, кто принес „Не мир, но меч“,
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжет?
И будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Божественного слова не постигнет:
„Мне—отомщение, и Аз воздам за зло“.

Порох.

1.

Гражданские права писал кулак.
Меч—право государственное.
Порох
Их стер и создал воинский устав.

2.

На вызов, обращенный не к нему
Со дна реторт преступного монаха,
Порох
Явил свой дымный лик и разметал
Доспехи рыцарей, как старое железо.

3.

„Несчастные! Тащите меч на кузню,
А на плечо берите аркебузы:
Честь, сила, мужество—бессмысленны теперь.
Последний трус стал равен
Храбрейшему из рыцарей...“
... „О, сколь благословенны
Века, не ведавшие пороха,
В сравненьи с нашим временем, когда
Горсть праха и кусок свинца
Способны
Убить славнейшего...“
Так восклицали

Орланд неистовый и мудрый Дон-Кихот—
Последние служители меча.

4.

Привыкший спать в глубоких равновесьях
Порох
Свил черное гнездо на дне ружейных дул,
В жерле мортир, в стволах стальных орудий,
Чтоб в ярости случайных пробуждений
В лицо врагу внезапно плюнуть смерть.

5.

Стирая в прах постройки человека,
Дробя кирпич, и камень, и металл,
Он вынудил разрозненные толпы,
Сомкнуть ряды,
Собраться для удара;
Он дал ружью прицел,
Стволу—нарез,
Солдатам—строй,
Геройству—дисциплину,
Связал узлами недра темных масс,
Смесил народы,
Сплавил государства,
В теснинах улиц вздыбил баррикады,
Низвергнул знать,
Воздвигнул горожан,
Творя рабов свободного труда
Для равенства мещанских демократий.

6.

Он создал армию, казарму и солдат,
Всеобщую военную повинность,
Беспрекословность, точность, дисциплину,
Он сбил с героев шлемы и наплечья,
Мундиры, шпаги, знаки, ордена—
Все оперение турниров и парадов.
И выкрасил в зелено-бурый цвет
Разъезженных дорог, растоптанных полей,
Разверстых улиц, мусора и пепла—
Цвет кала и блевотины,
Который невидимыми делает врагов.

Пар.

1.

Пар вился струйкою над первым очагом.
Покамест вол тянул соху,
А лошадь
Возила тяжести,
Он тщетно дребезжал
Покрышкой котелка,
Шипел на камне,
Чтоб обратить внимание человека.

2.

Лишь век назад хозяин догадался
Котел,
В котором тысячи веков
Варился суп,—
Поставить на колеса
И, вздев хомут, запрячь его в телегу:
Пар выпер поршень,
Напружил рычаг,
И паровоз,
Прерывисто дыша,
С усильем сдвинулся и потащил по рельсам
Тяжелый поезд клади и людей.

3.

Так начался век пара,
Но покорный
Чугунный вол внезапно превратился
В прожорливого минотавра:
Пар послал
Рабочих—в копи рыть руду и уголь,
В болота—строить насыпи,
В пустыни—
Прокладывать дороги;
Запер человека
В застенках фабрик,
В шахтах под землей;
Запачкал небо угольною сажей,
Луч солнца—копотью,
И придушил в туманах
Расплесканное пламя городов.

4.

Пар сократил пространство,
Сузил землю,
Сжал океаны,
Вытянул пейзаж
В однообразную, раскрашенную ленту
Холмов, полей, деревьев и домов,
Бегущих между проволок;
Замкнул
Просторы путнику,
Лишил ступни
Горячей ощупи неведомой дороги,
Глаз—радости открытья новых далей,
Ладони—посоха и ноздри—ветра.

5.

Дорога, ставшая
Грузоподъемностью,
Пробегом, напряженьем,
Кратчайшим расстояньем между точек,
Ворвалась в город, проломила стены,
Рассекла толщи камня,
Превратила
Проулок, форум, улицу—
В канавы
Для стока одичалых скоростей;
Вверх на мосты загнала пешеходов,
Прорыла крысьи ходы под рекой
И вздернула подвесные пути.

6.

Свист, грохот, лязг, движенье—
Заглушили
Живую человеческую речь,
Немыслимыми сделали молитву,
Беседу, размышленье,
Превратили
Царя вселенной—в смазчика колес.

7.

Адам изваян был по образу Творца.
Но паровой котел счел непристойной
Божественную наготу

И пересоздал
По своему подобью человека:
Облек его в ливрею, без которой
Тот не имеет права появляться
В святилищах культуры:
Он человеческому торсу придал
Подобие котла,
Украшенного клёпками;
На голову надел дымоотвод,
Лоснящийся блестящей сажей;
Ноги
Стесал, как два столба;
Просунул руки в трубы,
Одежде запретил все краски,
Кроме
Оттенков грязи, копоти и дыма.
И, вынув души, вдунул людям пар.

Голубые песни.

Роман.

Всеволод Иванов.

Посвящ. Анне Весниной.

Книга первая. Корабельная вольница.

I.

Была монета старая—в наш царёв пятак объемом. Косо к одному боку давили друг дружку буковки—„2 копейки.—1798, е. м.", а на обороте широкое жирное „П" втискивало в себя—„I". А над „П"—корона, которых теперь в России нет. Меди монета темной как чугун.

В Перми, рассказывают, много раньше таких монет водилось.

Только одну вот эту монетку перевез сюда на Иртыш переселённый человек Кирилл Михеич Качанов. Да еще лапти, кошель сухарей.

Церквей в Павлодаре—три. Две из них выстроил Кирилл Михеич, а третья выбита была во времена царя с темной монетки (у церквей своя история—дальше).

Сволочь разную казацкую Кирилл Михеич не уважал, а женился на казачке Фиозе Семеновне Савицкой из станицы Лебяжьей. И была с этой Фиозой Семеновной тоже своя история.

Кирпича киргиз делать не умеет. Киргиз—что трава на косьбу. Выстроил кирпичные заводы Кирилл Михеич.

Бороду носил карандашиком, волос любил человеческий, не звериный—гладкий.

А телу летом в Павлограде тепло. Из степи пахнущая арбузами розовая пыль, из города—голубоватая. Дома—больше деревянные, церковь разве в камне (но у церквей своя история—дальше).

И у каждого человека своя история. Свое счастье.

У монеты своя история. Свое счастье.

И как неразменная золотая монета—солнце. И как стерляди—острогорбы и зубчаты крытые тесом дома. И степь, как Иртыш—голубой и розовый зверь.

На монету ли, на руку тугожильную шло счастье?

Счастье мое—день прошедший!
Радость, любовь моя—Иртыш голубой и розовый.

Хотел Кирилл Михеич бросить папироску в пепельницу,—но очутилась она на полу, и широкая его ступня ядовито пепел по половику растащила. По темно-вишневому половику—седая полоска.

А жена, Фиоза Семеновна,—даже и этого не заметила. Уткнулась,—казачья кровь—упрямая,—уткнулась напудренными ноздрями в подушку, плачет.

Кирилл Михеич тоже, может быть, плакать хочет! Чорт знает, что такое! Повел пальцами по ребрам, кашлянул.

Плачет.

Стукнул казанками в ладонь, прокричал:

— Перестань! Перестань, говорю!..

Плачет.

— Все вы на один бизмен: наблудила и в угол. Орать. Кошки паршивые, весну нашли... Любовников заводить...

Еще горче захныкала подушка. Шея покраснела, а юбка, вскинувшаяся—показала розоватую ногу за чулком...

Побывал в кабинете Кирилл Михеич. Посидел на стуле, помял записку от фельдшера. Эх, чорт бы вас драл — чего человеку не хватает! Все бабы одинаковы: как листья весной—липнут.

Надел Кирилл Михеич шляпу и как был в тиковых подштанниках с алыми прожилками, в голубой ситцевой рубахе,— так и отправился. Так, всегда, носил сюртук и брюки на выпуск, но исподнее любил пермских родных мест и в цвета—поярче.

Дворяне жен изменниц всегда в сюртуках бранят и в таком виде убийства совершают. А мужик должен жену бить и ругать в рубахе и портках,—чтобы страшный дух, воспалительный, от тела шел.

Надо бы дать Фиозе в зубы!

Неудобно: подрядчик он на весь уезд—и жену, как ратник 2 разряда, бьет. Драться неудобно. И опять: письмо, Господи, да мало ли любовных бумаг еще страшнее бывает? Здесь, что ж, на ответное использование подозрительности нету.

„Любезная и дорогая Фиоза Семеновна! Раз сердце ваше в огне, потрудитесь вручителю сего подать ваше письменное согласие на рандеву в моей квартире в какие угодно времена"...

Михей Поликарпыч обитал позади флигелька, рядом с пимокатной. А как выходил сын из флигеля,—шваркали по щебню опорки, с-под угла показывалась хитрая и густая, как серый валенок, бороденка, и словно клок черной шерсти губы закатанные.

— Аль заказ опять? Везет тебе...

Хотел - было сунуть бумажку в карман: оказывается, в подштанниках вышел. Скомкал бумажку меж пальцев.

— Час который?

— Час, парень, девятай... Девятай, обязательно.

Осмотрел стройку, глыбы плотного алого кирпича. Ямы кисловато-пахнущей хлебом известки. Жирные железного цвета сутунки—огромные гладкие рыбы у кирпичных яров-стен.

— Опять каменщиков нету? Прибавил ведь поденщину, какого лешака еще?..

Поликарпыч заложил руки на хребет, бороденку повел к плечу, ответил ругательно:

— Паскуда, а не каменщик. Рази в наше время такой каменщик был?.. Етова народа прибавкой не сдержишь. Очень просто—паскуда, гнилушка. Отправились, сынок, на пристань к Иртышу. Пароход пришол—„Андрей Первозванный“ человека с фронтов привез—всю правду рассказывает. Комиссар по фамильи.

— Комиссар не фамиль, а чин.

— Ну? Ловко! О-о, что значит царя-то нету. Какие чины-то придумали.

— Какой комиссар-то приехал, батя? Фамилью не сказывали?

— Вот и есть фамилья—комиссар. А, между прочих, сказывают—забастовку устроим. В знак любвей, это про комиссара-то. Валяй, говорю, раз уж на то пошло. И устроят, сынок. А, мобыть, грит, и на работу придем—вечером. Как там—пароход.

Старик присел рядом на бревно и стал длинно, прерываясь кашлем, рассказывать о своих болезнях. Кирилл Михеич, не слушая его, смотрел на ползущие выше досчатого забора в сухое и зеленоватое небо емкие и звонкие стены постройки. На ворота опустилась сорока, колыхая хвостом, устало крикнула.

Кирилл Михеич прервал:

— Мальчонка от фершала не приходил?

— Где мне видеть! Я в каморе все. А тебе его куды?

— Гони в шею, коли увидишь.

— Выгоню. Аль украл что?

Кирилл Михеич пнул ногой кирпич.

— И фершала гони, коли припрется. Прямо крой поленом—на мою голову. Шляются, нюхальщики!..

Старик хило вздохнул, повел по бревну руками. Соскабливая щепочкой смолу, пробормотал:

— Ладно... Ета можна.

Кирилл Михеич спросил торопливо:

— Краски, не знаешь, где купить? Коли еще воевать будут, не найдешь и в помине. Внутри под дуб надо, а крышу испанской зеленью...

Мимо постройки, улицей, низко раскидывая широкий шаг, прошли верблюды, нагруженные солью. Золотисто-розовая пыль плескалась как фай, пухло-жарко оседала у ограды.

Потом Кирилл Михеич был у архитектора Шмуро.

Архитектор—прямой и бритый (даже брови сбривал)—носил пробковый шлем, парусиновые штаны и читал Киплинга. Он любил рассказывать про Англию, хотя там и не был.

Архитектор, сдвинув шлем на затылок, шагал из угла в угол, курил трубку и говорил:

— Немцы—народ механический. Главная их цель—мировая гегемония,—как на суше, так и на море. В англичанах же... тут—мысль!.. Разум! Наука! Сила...

И пока он вытряхивал табак, Кирилл Михеич спросил:

— Как насчет подрядов-то, Егор Максимыч? Церква-то неужто не мне дадут? Я ведь шестнадцать лет церкви строю...

Архитектор передвинул шлем на ухо и лихо сказал:

— Давайте мы с вами, Кирилл Михеич, в готическом стиле сорудим... Скажем, хоть хохлам в пример.

— Зачем же хохлам готический? Они молиться не будут... И погром устроют—церковь разрушат и нас могут избить. Теперь насчет драки—свободный самосуд.

Шмуро насунул шлем на брови, и соответственно этому голос его поредел:

— Такому народу надо ограниченную монархию... А если нам колокольню выстроить в готическом? Ни одной готической колокольни не строил. Одну колокольню?

— Колокольню попробовать можно. Скажем, в расчетах ошиблись.

Шмуро кинул шлем на кровать и сказал обрадованно:

— Тогда мы с вами кумыса выпьем. Чаным!

Киргиз принес четверть с кумысом.

— Слышали?—спросил Шмуро.—Комиссар Запус приехал.

Много их. Так, насчет церквей-то, как? У меня сейчас и лес и кирпич запасен. Вы там...

— Можно, можно. Только вы политикой напрасно не интересуетесь. В Лондоне или даже в какой-нибудь Индии—просыпается сейчас джентльмен, и перед носом у него—газета. Одних объявлений—шестнадцать страниц...

— Настоящая торговля,—вздохнул Кирилл Михеич.—Жениться не думаете?

— Нет? А что?

— Так. К слову. Жениться человеку не мешает. Невесту здесь найти легко можно. Если на казачке женишься—лошадей в приданое дадут.

— Вы, кажется, на казачке женились? Много лошадей получили?

— В джут[1]) все подохли. Гололедица... ну, и того... высохли. Пойду.

— Сидите. Я вам про Запуса расскажу, комиссара.

— Ну их к богу! Я насчет церквей и так... вот коли рабочие не идут на работу, как с ними? Закона такого нет?

[1]) Гололедица.

— Рассчитать.

— Только? Кроме расчета—никаких свободных самосудов?..

— Нельзя.

На улицах между домами—опять золотистая пыль. Как вода на рассвете—легкая и светлая. Домишки деревянные, островерхие—зубоспинные и зеленоватые стерляди. У некоторых домов—палисадники. В деревянных опоясачках пыльные жаркие тополи, под тополями, в затине—кошки. Глаз у кошки золотой и легкий как пыль.

А за домами—Иртыш голубой, легкий и розовый. За Иртышом—душные нескончаемые степи. И над Иртышом—голубые степи, и жарким вечным бегом бежит солнце.

Встретился протоиерей Смирнов. Был он рослый, темноволосый и усы держал как у Вильгельма. А борода, как степь зимой, не росла, и он огорчался. Голос у него темный с ядреными домашними запахами, словно ряса,—говорит:

— На постройку?

Благословился Кирилл Михеич, туго всунул голову в шляпу.

— Туда. К церкви.

Смирнов толкнул его легонько,—повыше локтя. И, спрятав внутри темный голос, непривычном шопотом сказал:

— Ступайте обратно. От греха. Я сам шел—посмотреть. Приятно, когда этак...

Он потряс ладонями, полепил воздух:

— ...растет... Небо к земле приближается... А вернулся. Квартала не дошел. Плюнул. У святого места, где тишина должна, птица и та млеет—сборище...

— Каменщики?

Когда протоиерей злился—бил себя в лысый подбородок. Шлепнул он тремя пальцами, и опять тронул Кирилла Михеича выше локтя:

— Заворачивайте ко мне. Чаем с малиновым вареньем, дыни еще из Долона привезли,—угощу.

— На постройку пойду.

— Не советую. Со всего города собрались. Комиссар этот, что на пароходе. Запус. Непотребный и непочтительный крик. Очумели. Ворочайтесь.

— Пойду.

Шлепнул ладонью в подбородок. Пошел, тяжело вылезая ногами из темной рясы, мимо палисадников, мимо островерхих домов—темный, потный, гулом чужим наполненный колокол. Протоиерей Евстафий Владимирович Смирнов, сорока пяти лет от роду.

На кирпичах, принадлежащих Кириллу Михеичу, на плотных и веселых стенах постройки, на выпачканных известкой лесах—красные, синие, голубые рубахи. Крыльца, сутулые спины, привыкшие к поклажам—кирпича, ругани, кулаков—натянули жилы цветные материи,—красные, синие, голубые,—слушают.

И Кирилл Михеич слушает. Раз пришел...

На бывшей исправничьей лошади говорящий. Звали ее в 1905 году Микадо, а как заключили мир с Японией неудобно—стали кликать: Кадо. Теперь прозвали Императором. Лошадь добрая, Микадо так Микадо, Император так Император—ржет. Копытца у ней тоненькие, как у барышни, головка литая и зуб в тугой губе—крепкая...

И вот на бывшей исправничьей лошади—говорящий. Волос у него под золото, волной растрепанный на шапочку. А шапочка-пирожок—без козырька и наверку—алый каемчатый разрубец. На боку, как у казаков,—шашка в чеканном серебре.

Спросил кого-то Кирилл Михеич:

— Запус?

— Он...

Опять Кирилл Михеич:

— На какой, то-есть, предмет представляет себя?

И кто-то басом с кирпичей ухнул:

— Не мешай... Потом возразишь.

Стал ждать Кирилл Михеич, когда ему возразить можно.

Слова у Запуса были розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые. От слов потели и дымились ситцевые рубахи, ветер над головами шел едкий и медленный.

И Кириллу Михеичу почти также показалось, хотя и не понимал слов, не понимал звонких губ человека в зеленом киргизском седле.

— Товарищи!.. Требуйте отмены предательских договоров!.. Требуйте смены замаскированного слуги капиталистов правительства Керенского!.. Берите власть в свои мозолистые руки!.. Долой войну... Берите власть...

И он, взметывая головой, точно вбивал подбородком в чьи руки должна перейти власть. А потом корявые, исщемленные кислотами и землей, поднялись кверху руки—за властью...

Кирилл Михеич оглянулся. Кроме него, на постройке не было ни одного человека в сюртуке. Он снял шляпу, разгладил мокрый волос, вытер платком твердую кочковатую ладонь и одним глазом повел на Запуса.

Гришка Заботин, наборщик из типографии, держась синими пальцами за серебряные ножны, говорил что-то Запусу. И выпачканный краской, темный, как типографская литера, гришкин рот глядел на Кирилла Михеича. И Запус туда же.

Кирилл Михеич сунул платок в карман и, проговорив:

— Стрекулисты... тоже... Политики!

отправился домой.

Но тут-то и стряслось.

За Казачьей площадью, где строится церковь, есть такой переулочек—Непроезжий. Грязь в нем бывает в дождь желтая и тягуча

как мед, и глубин неизведанных. Того ради, не как в городе проложен переулком тем- деревянный мосток, по прозванью троттуар.

Публика бунтующая на площади галдит. По улицам ополченцы идут, распускательные марсельезные песни поют. А здесь спокойнехонько по дощечкам каблуками „скороходовских“ ботинок отстукивай. Хоть тебе и жена изменяет, хоть и архитектор-англичанин надуть хочет постукивай знай.

И вот топот за собой—мягкий по пыли, будто подушки кидают. На топот лошадиный что ж оборачиваться—киргиз он завсегда на лошади, едва брюхо в материю обернет. А киргиза здесь как пыли.

Однако обернулся. Глазом повел и остановился.

Вертит исправничья лошадь „Император“ под гладкое свое брюхо желтые клубы. Копыта как арканы кидает.

А Запус из седла из-под шапочки — пильменчиком веселым глазом по Кириллу Михеичу.

Подъехал; влажные лошадиные ноздри у суконной груди подрядчика дышат — сукно дыбят. Только поднял голову, кашлянул, хотел он спросить, что мол, беспокоите,—наклонились тут черные кожаные плечи, шапочка откинулась на затылок. Из желтеньких волосиков на Кирилла Михеича язычок—полвершка—и веки одна за другой подмигнули...

Свистнул, ударил ладонями враз по шее „Императора“ и ускакал.

II.

Соседом по двору Кирилла Михеича был старый дворянский дом. Строился он во времена дедовские, далеко до прихода Кирилла Михеича из пермских земель. И как сделал усадебный флигелек себе Кирилл Михеич на место киргизской мазанки, так и до этой новой кирпичной постройки—стоял сосед нем и слеп.

Пучились проросшие зеленью ставни. Били, жгли и тянули их алые и жаркие степные ветры, кувыркались плясами по крыше, визжали истошно и смешно в приземистые трубы,—не шевелился сосед.

А в этот день, когда под вечер на неподмазанных двухколесых арбах киргизы привезли кирпичи на постройку,—заметил Кирилл Михеич сундушный стук у соседа. И вечеровое солнце всеми тысячи зрачков озверилось в распахнутых ставнях.

Спросил работника Бикмуллу:

— Чего они? Ломают что ль?

Поддернул чимбары[1]) Бикмулла (перед хорошим ответом всегда штаны поддерни, тюбитейкой качни), сказал:

— Апицер—бий—генирал большой приехал. Большой город, грит, совсем всех баран зарезал. Жрать нету. Апицер скоро большой город всех резить будет. Палле!..

В заборе щели как полена. Посмотрел Кирилл Михеич.

[1]) Штаны

Подводы в ограде. Воза под брезентами—и гулкий с раскатцем сундушный стук, точно. На расхлябанные двери планерочки, скобки приколачивает плотник Горчишников (с постройки тоже). Скобки медные. Эх, не ворованные ли?

— Горчишников!—позвал Кирилл Михеич.

Вбил тот гвоздь, отошел на шаг, проверил—еще молотком стукнул и тогда—к хозяину.

— Здрасьте, Кирилл Михеич.

В щель на Горчишникова уставились скуластые пермские щеки, бородка на заграничный цвет—карандашиком и один вставной желтый зуб.

— Ты чего ж не работал?

— Так что артель. Революсия...

— Лодыри.

Еще за пять сажен проверил тот гвоздь. Поднял молоток, шагнул-было.

— Постой. Это кто ж приехал?

— Саженова. Генеральша. Из Москвы. Добра из Омска на десяти подводах—пароходы, сказывают, забастовали. У нас тут тоже толкуют—ежели, грит, правительство не уберут...

— Постой. Одна она?

— Дочь, два сына. Ранены. С фронтов. Ребята у вас не были? Насчет требований?

— Иди, иди...

В ограде горел у арб костер: киргизы варили сурпу. Сами они, покрытые овчинами, в отрепанных малахаях сидели у огня, кругом. За арбами в синей темноте перебегали оранжевые зеницы собак.

Кирилл Михеич, жена и сестра жены, Олимпиада, ужинали. Олимпиада с мужем жила во второй половине флигеля. Артемий Трубучев, муж ее, капитан приехал с южного фронта на побывку. Был он косоног, коротковолос и похож на киргиза. Почти все время побывки ездил в степи, охотился. И сейчас там был.

Кирилл Михеич молчал. Нарочито громко чавкая и капая на стол салом, ел много.

Фиоза Семеновна напудрилась, глядела мокро, виновато вздыхала и говорила:

— Артюша скоро на фронт поедет. И-и, сколь народу-то поизничтожили.

— Уничтожили! Еще в людях брякни. Возьми неуча.

— Ну, и пусть. Знаю, как в людях сказать. Вот, Артюша-то говорит: кабы царя-то не сбросили, давно бы мир был и немца побили. А теперь правителей-от много, каждому свою землю хочется. Воюют. Сергевна, чай давай!..

— Много он, твой Артюша, знает. Вопче-то. Комиссар вон с фронта приехал. Бабы, хвост готовь—кра-асавец.

Олимпиада, разливая, сказала:

— Не все.

Летали над белыми чашками, как смуглые весенние птицы, тонкие ее руки. Лицо у ней было узкое, цвета жидкого китайского чая и короткий лоб упрямо зарастал черным степным волосом.

— Генеральша приехала, Саженова, — проговорила поспешно Фиоза Семеновна.—Дом купила—не смотря. В Москве. Тебе, Михеич, надо бы насчет ремонту поговорить.

— Наше дело не записочки любовные писать. Знаем.

— ...Нарядов дочери навезли — сундуки-то четверо еле несут. Надо, Лимпияда, сходить. Небось модны журналы есть.

— Обязательно-о!.. Мало на тебя, кралю, заглядываются. И-их, сугроб занавоженный...

Кирилл Михеич не допил чашку и ушел.

В коленку ткнулась твердым носом собака и, недоумевающе взвизгнув, отскочила.

Среди киргиз сидел Поликарпыч и рассказывал про нового комиссара. Киргиз удивило, что он такой молодой, с арбы кто-то крикнул: „Поди, царский сын". Еще—чеканенная серебром сабля. Они долго расспрашивали про саблю и решили итти завтра ее осмотреть.

— „Серебро—как зубы, зубы—молодость",—запел киргиз с арбы самокладку.

А другой стал рассказывать про генерала Артюшку. Какой он был маленький, а теперь взял в плен сто тысяч, три города и пять волостей, немцев в плен.

Кирилл Михеич, чуть шебурша щепами и щебнем, вышел за ворота.

Из ожившего дома, через треснувшие ставни тек на песок желтый и пахучий, как топленое масло, свет. Говорили стекла молодым и теплым.

Он прошелся мимо дома, постройки. Караульщик в бараньем тулупе попросил закурить. А закурив, стал жаловаться на бедность.

— Уйди ты к праху,—сказал Кирилл Михеич.

Через три дома—угол улицы.

Посетили гальки блестящие лунные лучи,—ушли за тучу. Тополя в палисадниках—разопрелые банные веники на молодухах... Белой грудью повисла опять луна. (Седая любовь—нескончаемая). Сонный извозчик—киргиз—остановил лошадь и спросил безнадежно:

— Можить, нада?

— Давай,—сказал Кирилл Михеич.

— Куды?.. Но-о, ты-ы!..

Пощупал голову,—шляпу забыл. Нижней губой шевельнул усы. С непривычки сказать неловко, не идет:

К этим... проституциям.

— Ни?—не понял киргиз.—Куды?

Кирилл Михеич уперся спиной в плетеную скрипучую стенку таратайки и проговорил ясно:

— К девкам...

— Можня!..

III.

Все в этой комнате выпукло—белые надутые вечеровым ветром шторы; округленные диваны; вываливающиеся из пестрых материй груды мяс и беловато-розовая лампа „Молния“, падающая с потолка.

Архитектор Шмуро в алой феске, голос повелительный, растяжистый:

— Азия!.. Вина-а!..

Азия в белом переднике, бритоголовая, глаз с поволокой. Азиатских земель—Ахмет Букмеджанов. Содержатель.

Кириллу Михеичу что? Грудь колесом, бородку—вровень стола—здесь человека ценить могут. Здесь—не разные там...

— Пива-а!..—приказывает Шмуро.—Феску грозно на брови (разгул страстей).

Девки в азиатских телесах, глаза как цветки—розовые, синие и черные краски. Азиат тело любит крашеное, волос в мускусе.

Кирилл Михеич, пока не напился—про дело вспомнил. Пододвинул к архитектору сюртук. Повелительная глотка архитекторская-рвется:

— Пива, подрядчику Качанову!.. Азия!..

— Эта как же?—спросил Кирилл Михеич с раздражением.

— Что?

— В отношениях своих к происходящим, некоторым родом, событиям. Запуса видел—разбойник. Мутит... Протопоп жалуется Порядочному люду на улице отсутствие.

— Чепуха. Пиво здесь хорошее, от крестьян привезли. Табаку не примешивают.

— Однако производится у меня в голове мысль. К чему являться Запусу в наши места?..

— Пей, Кирилл Михеич. Девку хочешь, девку отведем. На-а!.. Ухватил одну за локти—к самой бороде подвел. Даже в плечах заморозило. О чем говорил, забыл. Сунул девке в толстые мягкие пальцы стакан. Выпила. Ухмыльнулась.

Архитектор—колесом по комнате—пашу изображает. Гармонист с перевязанным ухом. Гармоника хрипит, в коридорах хрипы, за жидкими дверцами разговорчики—перешепотки.

— Каких мест будешь?

— Здешняя...

Кирилл Михеич—стакан пива. С плеча дрожь, на ногти—палец не чует.

— Зовут-то как?

— Фрося.

Давай сюда вина, пива. Для девок—конфет! Кирилл Михеич за все отвечает. Эх, архитектор, архитектор—гони семнадцать церквей, все пропьем. Сдвинули столы, составили. Баран жареный, тащи на стол барана.

— Лопай, трескай на мою голову!

Нету архитектора Шмуро, райским блаженством увлекся.

Все же появился и похвалил:

Я, говорил, развернется! Подрядчик Качанов-та, еге!..

— Сила!

Дальше еще городские приехали: прапорщик Долонко, казачьего уездного круга председатель Боленький, учитель Отгерчи...

Плясали до боли в пятках, гармонист по ладам извивался. Толстый учитель Отгерчи пел бледненьким тенорком. Девки ходили от стола в коридор, гости за ними. Просили угощений.

Кирилл Михеич угощал.

Потом, на несчетном пивном ведре, скинул сюртук, засучил рукава и шагнул в коридор за девкой. У Фроси телеса, как воз сена—широки... Колечки по жилкам от тех телес.

А в коридоре, с улицы ворвалась девка в розовом. Стуча кулаками в тесовые стенки, заорала, переливаясь по деревенски:

— Де-евоньки-и... На пароход зовут, приехали!

Зазвенели дверки. Кирилла Михеича к стене. Шали на крутые плечи:

— Ма-атросики...

Отыскал Кирилл Михеич Фросю. Махнул кулаком:

— За все плачу! Оставайся! Хозяин!

— Разошелся, буржуй! Надо-о!... И-них!..

Азия—хитрая. Азия исчезла. И девки тоже.

И хитрый блюет на диване архитектор. На подстриженных усах—бараньи крошки. Блевотина зеленоватая. Оглядит Кирилла Михеича, фыркнет:

— Прозевал?.. Я, подрядчик Качанов... я тово... успел...

На другой день, брат Фиозы Семеновны, казак Леонтий привез из бору волчьи шкуры. Рассказывал, что много появилось волков; а порох дорожает. Сообщал—видел среди киргиз капитана Артемия Флегонтыча, обрился и в тибитейке. В голосе Леонтия была обида. Олимпиада стояла перед ним, о муже не спрашивала, а просила рассказать, какие у волков берлоги. Леонтий достал кисет из бродеи, закурил трубку и врал, что берлоги у волков каждый год разные. Чем старше волк, тем теплее...

Протоиерей Смирнов, в чесучевой рясе, пахнущей малиной, показывал планы семнадцати церквей Кириллу Михеичу и убеждал, хоть

одну построить в византийском стиле. Шмуро—из-под пробкового шлема, значительно поводил глазами. Передав Кириллу Михеичу планы, протоиерей, понизив голос, сказал, что ночью на пароходе „Андрей Первозванный“ комиссар Запус пиршество устроил. Привезли из разных непотребных мест блудниц, а на рассвете комиссар прыгал с парохода в воду и переплывал через Иртыш.

И все такая же золотисто-телесная рождалась и цвела пыль. Коровы, колыхая выменем, уходили в степь. На базар густо-пахнущие сена везли тугорогие волы. Одинокие веселоглазые топтали пески верблюды, и через Иртыш скрипучий пором перевозил на ученье казаков и лошадей.

Кирилл Михеич ругал на постройке десятника. Решил на семнадцать церквей десятников выписать из Долони—там народ широкогрудый и злой. Побывал в пимокатной мастерской:—кабы не досмотрел, проквасили шерсть. Сгонял за город на кирпичные заводы: лето это кирпич калился хорошо, урожайный год. Работнику Бикмулле повысил жалованье.

Ехал домой голодный, потный и довольный. Вожжей стирал с холки лошади пену. Лошадь косилась и хмыкала.

У ворот стоял с бумажкой плотник Горчишников. Босой, без шапки, зеленая рубаха в пыли и на груди красная лента.

— Робить надо,—сказал Кирилл Михеич весело.

А Горчишников подал бумажку:

Исполком Павлодарского Уездн. Совета Р., К., С., К. и К. Деп. извещает гражд. К. Качанова, что........ уплотнить и вселить в две комнаты комиссара Чрезвычайного Отряда т. Василия Запуса.

Августа...

Поправил шляпу Кирилл Михеич, глянул вверх.

На воротах, под новой оглоблей прибит красный флаг.

Усмехнулся горько, щекой повел:

— Не могли... прямо-то повесить, покособенило.

IV.

Птице даны крылья, человеку—лошадь.

Куда ни появлялся Кирилл Михеич,—туда кидало в клубах желтой и розовой пыли исправничью лошадь „Император“.

Не обращая внимания на хозяина,—давило и раскидывало широкое копыто щебень во дворе, тес под ногами... И Запус проходил в кабинет Кирилла Михеича, как лошадь по двору—не смотря на хозяина. Маленькие усики над розовой девичьей губой и шапочка на голове как цветок. Шел мимо, и нога его по деревянному полу тяжелее копыта...

Семнадцать главных планов надо разложить в кабинете. Церковь вам не голубятня,—семнадцать планов—не спичечная коробочка. А через

весь стол тянутся прокламации, воззвания: буквы жирные—калачи, и каждое слово—как кулич—обольстительно...

Завернул в камору свою (Олимпиаду стеснили в одну комнату) Кирилл Михеич, а супруга Фиоза Семеновна, на кукорки перед комодом присев, из пивного бокала самогон тянет. А рядом у толстого колена—бумажка. „Письмо!"

Рванул Кирилл Михеич, „может опять от фельдшера"? Вздрогнула сквозным испугом Фиоза Семеновна.

Бумажка та—прокламация к женщинам-работницам.

Кирилл Михеич, потрясая бумажкой у бутылки самогона, сказал:

— За то, что я тебя в люди вывел, урезать на смерть меня хошь? Ехидная твоя казацкая кровь, паршивая... Самогон жрать! Какая такая тоска на тебя находит?

И в сознании больших невзгод, заплакала Фиоза Семеновна. Еще немного поукорял ее Кирилл Михеич, плюнул.

— Скоро комиссар уберется?—спросил.

Пьяный говор—вода, не уловишь, не уцедишь.

— Мне, Киринька, почем знать.

— Бумажку-то откеда получила?

— А нашла... думала, сгодится.

— Сгодится!—передразнил задумчиво.—Ничего он не сказывал, гришь? Не разговаривала?.. Ну...

От комода—бормотанье толстое, пьяное. Отзывает тело ее угаром, мыслями жаркими. Колыхая клювом, прошла за окном ворона.

— Ничего я не знаю... Ни мучай ты меня. Господь с вами со всеми, чо вы мне покою не даете?..

А как только Кирилл Михеич, раздраженный, ушел, пересела от комода к окну. Расправила прокламацию на толстом колене.

Жирно взмахнув крыльями, отлетела на бревно ворона и с недоверчивым выражением глядела, как белая и розовая и синяя человечья самка, опустив губы, вытянув жирные складки шеи, следила за стоящим у лошади желто-вихрым человеком.

За воротами Кирилла Михеича поймала генеральша Саженова.

Взяла его под руку и резко проговорила:

— Пойдем... пойдем, батюшка. Почему же это к нам-то не заглядываешь, грешно!

Остановила в сенях. Пахло от ее угловатых, завернутых в шелк костей нафталином. А серая пуховая шаль волочилась по земле.

— Что слышно? Никак Варфоломеевскую ночь хотят устроить?

Кирилл Михеич вяло:

— Кто?

Нафталин к уху, к гладкому волосу (нос в сторону), шопотом:

— Эти большевики... Которые на пароходе. Киргиз из степи сзывают резать всех.

— Я киргиза знаю. Киргиз зря никого...

— Ничего ты, батюшка, не знаешь... Нам виднее...

Грубо, басом. Шаль на груди расправлена:

— Ты по совести говори. Когда у них этот съезд-то будет? У меня два сына, офицеры раненые... И дочь. Ты материны чувства жалеть умеешь?

— Известно.

— Ну, вот. Раз у тебя комиссар живет, начальник разбойничий. Должен ты знать.

— А я, ей-Богу...

С одушевлением, высоко:

— Ты узнай. Немедленно. Узнай и скажи. У тебя в квартире-то?

— У меня.

— Ты его мысли читай. Каждый его шаг, как на тарелочке.

Приоткрыв дверь, взволнованно:

— Два. На диване — дочь. Варвара. Понял?

— Известно.

Сметая шалью пыль с сапог Кирилла Михеича, провела его в комнату. Представила.

— Сосед наш, Кирилл Михеич Качанов. — Дом строит.

— Себе,—добавил Кирилл Михеич.—Двухъэтажный.

Офицеры отложили карты и проговорили, что им очень приятно. А дочь тоненько спросила про комиссара, на что Кирилл Михеич ответил, что чужая душа — потемки, и жизнь его, Запуса, он совсем не знает—из каких земель и почему.

На дочери была такая же шаль, только зеленая, а руки тоньше Олимпиадиных и посветлей.

Кирилл Михеич подсел к офицерам, глядя в карты, и после разных вежливых ответов, спросил:

— К примеру, скажим, ежели большевики берут правления— церкви строить у них не полагается?

— Нет,—сказал офицер.

— Никаких стилей?..

— Нет.

— Чудно.

А генеральша, меся перед пустой грудью пальцами, басом воскликнула:

— Всех вырежут. На расплод не оставят...

Дочь тоненько, шелковисто:

— Ма-а-ма!..

— Кроме дураков, конечно... Не надо дураками быть. Распустили! Покаетесь горько. Эх, кабы да...

Ночью не спалось. Возле ворочалась, отрыгивая самогоном, жена. В комнате Олимпиады горел огонь и тренькала балалайка. Из кухни несло щами и подымающейся квашней.

Кирилл Михеич, как был в одних кальсонах и рубахе, вышел и бродил внутри постройки. Вспомнил, что опять третий день не выходят каменщики на работу,—стало обидно.

Говорили про ружья, выданные каменщикам, звать их будут теперь красной гвардией.

Ворота не закрыты, въезжай, накладывай тес, а потом ищи... Тоже обидно. А выматерить за свое добро нельзя, свобода...

Вдоль синих, отсвечивающих ржавчиной, кирпичей блестела чужим светом луна. Теперь на нее почему-то надо смотреть, а раньше не замечал.

При луне строить не будешь, одно—спать.

Тени лохматыми дегтяными пятнами пожирали известковые ямы. Тягучий дух, немножко хлебный, у известки...

И вдруг за спиной:

— Кажись, хозяин?

По голосу еще узнал—шапочку пильмешком, курчавый клок.

— Мы.

Звякнув о кирпичи саблей, присел:

— Смотрю: кого это в белом носит. Думаю, дай пальну в воздух для страха. Вы боитесь выстрелов?

Нехорошо в подштанниках разговаривать. Уважения мало, видишь —пальнуть хотел. А уйти неудобно, скажет — бежал. Сидит на грудке кирпича у прохода, весь в синей тени, папироска да сабля — серебро видно. Надо поговорить:

— Киргиз интересуется: каких чеканок сабля будет?

Голосок веселый, смешной. Не то врет, не то правду:

— Сабля не моя. Генерала Саженова слышали?

Дрогнул икрами, присел тоже на кирпичики. Кирпич шершавый и теплый:

— Слы-ы-шал...

— Его сабля. Солдаты в реку сбросили, а саблю мне подарили.

Махнул папироской:

— Они тут, рядом... В этом доме Саженовы. Знают. Тут, ведь?

— Ту-ут...—ответил Кирилл Михеич.

Запус проговорил радушно:

Пускай живут. Два офицера и Варвара, дочь. Знаю.

Помолчали. Пыхала папироска и потухла. Запус, зевая, спросил:

— Не спится?

— Голова болит,- соврал Кирилл Михеич.

Спросил:

— Долго думаете тут быть?

Надоел?

— Да, нет, а так—политикой интересуюсь.

— Долго. Съезд будет.

— Будет-таки?.. ишь!..

Скребает осколки кирпича саблей. Осколки звенят как стекло. Небо синего стекла и звон в нем, в звездах, тонкий и жалобный—„12". Двенадцать звонов. Чего ему не спится. Зевнул.

— Будет. Рабочих, солдатских, казачьих, крестьянских и киргизских депутатов. Как вас зовут-то?

— Кирилл Михеич.

— А меня Василий Антоныч. Васька Запус... Власть в свои руки возьмет, а отсюда может власть-то Советов в Китай, в Монголию... Здесь недалеко. Туркестан. Бухара, Маньчжурия.

Кирилл Михеич вздохнул покорно:

Земель много.

Запус свистнул, стукнул каблуками и выкрикнул:

— Много!..

А Кирилл Михеич спросил осторожно:

— Ну, а насчет резни... Будет? Окромя, значит, Туркестана и Китая—в прочих племенах... Болтают.

Запус, звеня между кирпичей, фиолетовый и востренький, колотил кулаком в стены, царапал где-то щепкой.

— Здесь, старик, — Монголия. Наша!.. Тула, Михей Кириллыч, Китай пятьсот миллионов. Ничего не боятся. На смерть плевать. Для детей — жизнь ценят. Пятьсот миллио-нов!.. Дядя, а Туркестан—а, о!.. Все наша!.. Красная Азия! Ветер!

Он захохотал и, сгорбившись, побежал к сеням:

Спать хочу!.. Хо-роо-шо, дьяволы!.. Ей-Богу.

И тотчас же Кирилл Михеич—тихим шагом к генеральше. Мохнатый пес любовно схватил за икру, фыркнул и отправился спать под крыльцо. Постучал легонько он.

Гулким басом спросили в сенях:

— Кто там?

Это я,—ответил,—я... Кирилл Михеич.

— Сейчас... Дети, сосед: не беспокойтесь.

Звякнула цепь. Распахнула генеральша дверь и тут при свете только вспомнил Кирилл Михеич—в одних он подштанниках и ситцевой рубахе.

Охнул, да как стоял, так и сел на кукорки. На колени рубаху натянул.

Генеральша—человек военный. Сказала только:

— Дети! Дайте Сенин халат.

В этом Сенином пестром халате, сидел Кирилл Михеич в гостиной и рассказал три раза про свою встречу. На третий раз сказала генеральша:

— Тамерлан и злодей.

И подтвердила дочка тоненько:

Совсем как во французскую революцию...

Потом, отойдя в уголок, тихонько заплакала.

Тогда попросила генеральша посидеть у них и покараулить.

— Вырежут,—гулко добавила.

А сын на костылях возразил с насмешкой:

Спать ушел. Напрасно беспокоитесь.

Генеральша, махая руками, передвигала для чего-то стулья.

— Я мать! Если б не я вас вывезла, нас давно бы в живых не было. А тебе, Кирилл Михеич, спасибо.

Указывая перстом на детей, воскликнула:

— Они не ценят! Изметались—ничего не стоят. Кабы не любовь моя, Господи!..

И вдруг, присев, заплакала тоненько как дочь. Кириллу Михеичу стало нехорошо. Он поправил на плечах широчайший халат, кашлянул и сказал только:

— Известно...

Поплакав, генеральша велела поставить самовар.

Офицеры ушли к себе, долго доносился их смех и стук не то стульев, не то костылей.

Варвара, свернувшись и укутавшись в шаль, качала на руках кошку.

Генеральша говорила жалобно:

— Ты уж нас, батюшка, побереги. Разве я думала, что здесь экая смута. Нельзя показаться—зарежут. Тут и халаты носят,—только ножи прятать. Сходи ты на этот съезд, послушай. Какие они там еще казни выдумают...

И отправился Кирилл Михеич на съезд.

V.

А оттуда вернулся хмурый и шляпу держал под мышкой. Сапоги три дня не чищены, коленка выпачкана красным кирпичем. Взглянула на него Фиоза Семеновна и назад в комнаты поплыла,—в ручках пуховых атласистых жалостный жест.

Дребезжащими словами выговорил:

— Чего тебе? Что под ноги лезешь?

Все такой же сел на стул, ноги расслабленно на половицы поставил и сказал:

— Самовар вздуй.

Слова, должно быть, попались не те, потому—отменил:

— Не надо.

— Ну, как?—спросила Фиоза Семеновна.

Бородка у него жаркая, пыльная; брови устало сгорбились. Кошка синешерстная боком к ноге.

Вспомнил—утром видел—Запус веточкой играл с этой кошкой. Пхнул ее в бок.

Подбирая губы, сказал:

— Генеральшину Варвару за воротами встретил. Будто киргизка, чувлук напялила. Чисто лошадь. Твое бабье дело — скажи, хорошо, что ль, собачьи одеянья носить? Скажи ей.

— Скажу.

Хлопнул ладонью по стулу, выкрикнул возбужденно:

— Молоканы не молоканы, чего орут—никаких средствиев нету понять. Киргизы там... Новоселы.

— Наших лебяжинских нету?

— Есть. Митрий Савицких. Я ему говорю: „Митьша, неужто и ты резать в Варфаламеевску ночь пойдешь?" „Обязательно,—грит,— дяденька. Потому я большавик, а у нас—дисциплина. Резать скажут— пойду и зарежу". Я ему: „И меня зарежешь?" А он мне: „Раз, грит, будет такое приказанье—придется, ты не сердись". Ах, сволочь, говорю, ты, и не хочу я тебя больше знать. Хотел плюнуть ему в шары-то, да так и ушел. Свяжись.

— Вот язва! Митьша-то, голоштанник.

— Я туды иду—думаю, народ может не строится, так по теперешним временам приторговать хочет. Ситцу, мол, им нельзя закомисить?.. Лешего там, а не ситцу... Какое. Делить все хочут, сообща, грит, жить будем.

— И баб, будто?..

— А ты рада?

Несколько раз вскакивал и садился. Тер скулистые пермские щеки. Голова отстрижена наголо, розоватая.

— Тоисть как так делить, стерва ты этакая? Ты это строил? На-а!.. Вот тебе семнадцать планов, строй церкви. Ржет, сука!..

— Штоб те язвило, кикиморы!

Однако, съезду не поверил,—попросил у Запуса программу большевиков. Раскрыл красную книжку, долго читал и, прикрыв ее шляпой, ушел на постройки.

— Все планы понимаю, весь уезд церквями застроил, а тут никак не пойму—пошто мое добро отымать будут?

А над книжкой встретились Олимпиада и Фиоза Семеновна. Густоволосое, пахучее и жаркое тело Фиозы Семеновны и под бровью— волчий глаз, серый. И рука из кружевного рукава—пышет, сожжет, покоробит книжку.

Как степные увалы—смуглы и неясны груди Олимпиады. Пахнет от нея смуглые киргизские запахи: аула, кошем, дыма.

— Пусти,—сказала Фиоза Семеновна,—пусти: мужу скажу. Убьет,

Зуб вышел Олимпиады—частый, желтоватый. Вздрагивая зубом, резко выкрикнула:

— Артюшка? Этому... Говори.

Рванула книжечку, ускочила, хлопнув дверью.

Между тем, Кирилл Михеич с построек пошел было к генеральше Саженовой, но раздумал и очутился на берегу.

У Иртыша здесь яры. На сажени вверх ползут от реки. А воды голубые, зеленые и синие—легкие и веселые. В водах как огромные рыбины сутулки плотов, потные и смолистые.

С плотов ребятишки ныряют. Как всегда, пором скрипит, а река под поромом неохватной ширины, неохватной силы—синяя степная жила.

У пристани на канатах—„Андрей Первозванный" пароходной компании М. Плотников и С-ья.

Какая компания овенчалась с тобой, синеголовым?

Весело!

— Гуляете?—спросил протоиерей Смирнов, подходя.

— Плотов с известкой из Долона жду. Должны завтра, крайне, притти.

Седым, старым глазом посмотрел протоиерей по Иртышу. Рясу чесучевую теплый и голубой ветер треплет—ноги у протоиерея жидкие как стоит только.

Не придут.

Отчего так?

— Ибо, слышал, на съезде пребывать изволили?

— Был.

— И все слышали? А слышали—изречено,—протоиерей повел пальцем перед бровью Кирилла Михеича: — „власть рабочих и крестьян". Значит сие, голубушка, плоты-то твои не придут совсем. Без сомненья.

— Не придут? Плоты мои? Три сплава пропадут?

— Потому, будут здесь войны и смертоубийства. Дабы ограбить нас, разбойники-то на все... Я боюсь, в собор бы не залезли. Ты там за Запусом-то, сын, следи... Чуть что... А я к тебе завтра, киргиза-малайку пришлю - за ним иди непрекословно. Пароход-то, а? Угояли?

— Чего стоит? Дали бы мне за известкой лучше съездить,—сказал Кирилл Михеич.—Известка в цене. Стоит...

Протоиерей уходил, чуть колыхая прямой спиной—желтый вихрь пыли. А тень позади редкая, смешная—как от рогожи.

Выше, по реке, тальники—по лугам, сереброголовые утки. Рябина—земная рана. Вгрызся Иртыш в пески, замер. Ветер разбежится, падет,—рябь пойдет, да в камышах утячий задумчивый кряк.

Желтых земель—синяя жила! Какая любовь напрягла тебя, какая тоска очернила?

— — —

Собака и та газету тащит. Колбаса в газету была завернута. Раньше же колбасу завертывали в тюремные и акцизные ведомости. По случаю амнистий арестантов в тюрьме не существует, самогон же продается без акцизу—самосудным боем бьет за самогон солдатская милиция.

На углах по три, по пять человек—митинги. Воевать или не воевать? Гнать из города Запуса или не гнать?

А Кирилл Михеич знает про это? Каждый спрашивает: известно почему. Покамест до постройки шел, сколько раз вызывали на разговоры.

Хочет Кирилл Михеич жить своей прежней жизнью.

Господи! Ведь тридцать семь лет и четыре месяца! А тут говорят прожил ты годики эти и месяцы неправильно—вор ты, негодяй и жулик. Господи!

Не смотрел раньше на Господа-Бога. Как его зовут чуть не забыл. Ага! Иисус Христос, Бог-Саваоф и дух святой в виде голубыне.

Со свадьбы, кажись, и в церкви не был. Нет, на освящениях церковных бывал—опять-таки не помнит, чему молились. Пьяный был и бабой расслаблен. С бабой грешил и в пост и не в пост.

Жаром пышут деревянные заплоты. Курица у заплота дремлет, клюв раскрыла. На плахах лесов смола выступила. И земля смолой пахнет—томительно и священно.

Обошел постройку, выругать никого нельзя. И глупые ж люди—сами для себя строить не хотят. Ну, как к ним теперь, с которого конца? Еще в зубы получишь.

С красными лентами на шапках проехали мимо рабочие с Пожаловской мельницы. Одежда в муке, а за плечами винтовка. „Пополам, грит, все. И-их, и дьяволы“...

Генеральша ждала у ворот. Она все знала. Липкий пот блестящими ленточками сох по лицу, щеки ввалились, а вместо шали рваный бешметишко. Забормотала слезливым басом:

— Казаки со станиц идут... Вырежут хоть большевиков-то. Дай ты владычица, хоть бы успели. Не видал, батюшка, не громят? Сперва, пожалуй, с магазинов начнут.

Пока никого не громят. Может ночью? Нельзя ли от Запуса какую-нибудь бумажку взять? Два сына раненые и дочь. Возьмут в Иртыш и сбросят. Старуха плакала, а Варвара в киргизском чувлуке ходила по двору и сбирала кизяк. „Ломается“,—подумал Кирилл Михеич и вдруг ему захотелось есть.

Поликарпыч с пимом в руках появился за воротами. Был он неизвестно чему рад—пиму ли, удачно зашитому, или хорошо сваренному обеду.

— Правителей, сказывают, сменили!—крикнул он и перекрестился.—Дай-то Бог—може, люду получше будет...

Он хлопнул пимами и оглядел сына:

— Жалко? Ничево, Кирьша, наживем. А у те семья больша, не отымут. Кы-ыш!.. Треклятые!..

Он швырнул пимом в воробьев.

В зале, у карты театра военных действий, стоял Запус и Олимпиада. Запус указывал пальцем на Польшу и хохотал. Гимнастерка у него была со сборками на крыльцах и туго перетянута в талии.

— Отсюда нас гнали-и!.. И так гнали а-ах... Не помню даже.

VI.

Усталые бледно-розовые выплывали из утренней сини росистые крыши. Сонные всколыхнулись голуби. Из-под навеса нежно дремотно пахнуло сеном,—работник Бикмулла выгнал поить лошадей. Вздрагивая и фыркая, пили лошади студеную воду из долбленого корыта.

Бикмулла спросил Кирилла Михеича:

— Пашто встал рано? Баба хороший, спать надда долга.

Он чмокнул губами и сильно хлопнул ладонью лошадь.

Широкий хазяйка, чаксы.

На разговор вышел из пимокатной Михей Поликарпыч. Он потянулся, поддернул штаны и спросил:

В бор не поедешь?

Зачем?

— Из купцов много уехало. Чтоб эти большаки не прирезали.

Бикмулла стукнул себя в грудь и похвалился:

- Быз да большавик.—Мой тоже большавик!

Молчи ты уже, собачка,—любовно сказал Поликарпыч.—Большавик нашелся.

Бикмулла покраснел и стал ругаться. Он обозвал Поликарпыча буржуем, взнуздал лошадь и поехал в джатаки пригородные киргизские поселки.

— Возьми ево! Воображат. Разозлился. Тоже о себе мыслит. Говорю тебе: поезжай в бор. На заимку или кардон. Там виднее.

— А Фиоза?

Никто ее не тронит.—Поликарпыч подмигнул.—Она удержится, крепка.

Строить надо. Подряд на семнадцать церквей получил.

Подымая воздух, густо заревел пароход. В сенях звякнуло—выбежал Запус, махнул пальцами у шапочки и ускакал. Лошадь у него была заседлана раньше Бикмуллой.

— Бикмулла стерва, — сказал Поликарпыч. — Пароход-то ихний орёт. Должно сбор, ишь и киргиз-то удрал,—должно немаканых своих собирать. Прирежут всех, вот тебе и церкви... семнадцать.

— Таки же люди.

— Дай бог. Мне тебя жалко. Стало быть, не понимашь ты моих родительских мук. Ну, и поступай.

Фиоза Семеновна тоже поднялась. Ходила по комнатам, колыхая розовым капотом—шел от нее запах постели и тела.

— Умойся,- сказал Кирилл Михеич.

Лицо у нее распускалось теперь поздним румянцем—густым и по бокам ослабевших щек. Нога же стучала легче и смелее. И где-то еще пряталось беспокойство, за глазом ли, за ртом ли, похожим на заплату стертого алого бархата,—отчего Кирилл Михеич повторил сердито и громко:

— Умойся.

Из своей комнаты выпрыгнула упруго Олимпиада и, махая руками под вышитым полотенцем, крикнула:

— Надо, надо!.. День будет горячий—пятьдесят потов сойдет. Сергевна, ставь самовар!..

И верно—день обрушился горячий и блестящий. Даже ядреные тени отливали жирными блесками—черный стеклярус...

Самовар на столе шипел, блестел и резал глаза—словно прыгал и вот-вот разорвется—бомба золотая... Сквозь тело, в стулья, в одежду шел-впитывался жар и пот. Потное пахучее стонало дерево, кирпич и блестящий песок.

А жизнь начиналась не такая, как всегда. Ясно это было.

Разговоры тревожные. Тревожны неровные пятна пудры, румян и застегнутое кое-как платье.

Хрипло—задыхаясь—ревел пароход.

— Куда их?

— Плывут, что ли? Уходят?

Один только Кирилл Михеич сказал:

— Дай-то Господи! Пущай!

Да за ним повторила старуха-генеральша на крыльце.

У палисадника остановилась Варвара. Заглядывая в окна, говорила намеренно громко. От этого ей было тяжело, жарко и развивались волосы на висках.

— Братья у меня уезжают в Омск. У них отпуск кончился.

— А раны?

— Зажили. Только пока еще на костылях. В Петербурге большевики волнуются,—порядочным людям там быть нужно. Мама очень встревожена, говорят—по Сибирской линии забастовка... Вы не знаете?..

Ничего Кирилл Михеич не знал. Выпил положенные четыре стакана чая, вытер лоб и подумал: „надо итти". А итти было некуда. На постройке—из окна, из палисадника видно—нет рабочих. Нет их и на казачьей площади—все у парохода. Туда же верхами промчались киргизы—джатачники.

Потоптался у плах. Зачем-то переложил одну. Подошел старик Поликарпыч, тоже помог переложить. Так всю грядку с места на место и переложили. Сели потом на плахи, и старик закурил:

— Таки-то дела...

— Таки,—сказал Кирилл Михеич.—Дай закурить.

И хоть никогда не курил,—завернул. Но не понравилось,—кинул.

Главное—пока не начиналась хлебная уборка, у киргиз и казаков лошади свободны. Из бору можно бы много привести сутулков и плах. Не привезешь—зимой переплачивай... Это главное,—потом известка,—плоты задержатся—лопнут скрепы,—глядишь сгорела. Тут тебе и нож бок...

И ничего ни у кого спросить нельзя. Никто не знает. Бумаги летят как снег,—засыплет буран смертельный. К Запусу как подступить? Был бы человек старый, степенный,—а то мальчишка.

Впопыхах прибежал киргиз—работник о. Смирнова.

— Айда... Завут, бакчи.

И ушел по улице, махая рукавами бешмета и пряча в пыли острые носки байпак.

Хотел не пойти Кирилл Михеич. Бакчи за церковью, а к церкви кладбищенской итти через два базара,—жар, духота, истома.

Все же пошел.

Лавки некоторые открыты. Как всегда гуськом, словно в траве ходят от лавки к лавке, прицениваются киргизы. Толстые ватные халаты—чапаны перетянуты ремнями, в руках плети. Киргизки в белых чувлуках и ярких фаевых кафтанах.

Торговцы—кучками, указывают на берег. Указывай, не указывай,—ничего не поймешь. На досчатых заборах измазанные клейстером афиши, воззвания. Красногвардеец, верхом с лошади, приклеивал еще какие-то зеленые. Низ афиши приклеить трудно,—длинная,—и висла она горбом, пряча под себя подписи. А подписано было: „Василий Запус".

Протоиерей о. Степан Смирнов сидел на кошме, а вокруг него и поодаль—люди.

— Присаживайтесь, Кирилл Михеич. Арбузу хотите?

— Нет.

- Ну, дыни?

— Тоже не хочу.

— Удивительно. Никто не хочет.

Учитель Отгерчи кашлянул и, взяв ломоть, сказал:

— Позвольте...

На что протоиерей протянул ему ножик:

— Герой. Кушайте на здоровье. Арбуз нонче поразительный. Дыню не видал такую. А все зря.

А на это архитектор Шмуро сказал:

— Из Индии на континент всевозможный фрукт вывозится. А у нас—бунт и никто не хочет не только арбузов, но и винограда.

— Угостите,—сказал Отгерчи.—Съем виноград.

Здесь встал на колени Иван Владимирович Леонтьев. На коленях стоять ему было неудобно, и он уперся в арбуз пальцами.

Саженях в пятидесяти из шалаша выполз старик-сторож и ударил в трещетку, отгоняя ворон от подсолнухов. В городе орал пароход; у Иртыша стреляли. Ломкие под кошмой потрескивали листья. Тыквы—желтые и огромные—медово и низко пахли. И еще клейко пах горбатый и черноликий подсолнечник.

Леонтьев, перебирая пальцами по арбузу, как по столу, говорил:

— Граждане! Нашему городу угрожает опасность быть захваченным большевиками. Имеются данные, что комиссар Запус, приехавший

с западного фронта, имеет тайные инструкции избрать Павлодар базой организации большевицкой агитации в Киргизской степи, Монголии и Китае. Имеются также сведения, что на деньги германского правительства, отпущенные Ленину и Троцкому...

— Сволочи!..—крепко сказали позади Кирилла Михеича. Он обернулся и увидал сыновей генеральши Саженовой.

— В противовес германским—вильгельмовским влияниям, имеющим целью поработить нашу родину, мы должны выставить свою национальную мощь, довести войну до победоносного конца и уничтожить силы, мешающие русскому народу. С этой целью, мы, группа граждан Павлодара, с любезного разрешения о. Степана, созвали вас, чтобы совместно выработать меры пресечения захвата власти... Нам нужно озаботиться подготовкой сил здесь, в городе, потому что в уезде, как донесено в группу Общественного Спасения, группирует вооруженные силы среди казаков и киргиз капитан Артемий Трубучев...

— Артюшка-то!..—крикнул отчаянно Кирилл Михеич. Посмотрел тупо на Леонтьева и, не донеся рук до головы, схватился за грудь.— Да что мне это такое!.. Сдурел он?..

— Не прерывайте, Кирилл Михеич, — проговорил печально Леонтьев и, хлопая ладонью по арбузу, продолжал, нерешительно и растягивая слова, высказывать предложения Группы Общественного Спасения:—Захватить пароход... Арестовать Запуса—лучше всего на его квартире... Казакам разогнать красную гвардию... Командировать в Омск человека за оружием и войском... Избрать Комитет Спасения...

Был Леонтьев сутуловат, тонок и широколиц,—словно созревший подсолнечник. Голос у него был грустный и темный: ленивый и домохозяйственный, любил он птицеводство; преподавал в сельско-хозяйственной школе геометрию, а отец у него—толстый и плотный баболюб (держал трех наложниц)—имел бани.

Рядом с ним на кошме сидел Матрён Евграфыч, пожилой усталый чиновник с почты. Шестой год влюблен он в Ларису, дочь Пожиловой—мельничихи, и Кирилл Михеич помнил его только гуляющим под руку с Лариссой. А сейчас подумал: „чего он не женился".

За о. Степаном, рядом с братьями Саженовыми, был еще бухгалтер из казначейства—Семенов, лысый в пикейной паре. Он был очень ласков и даже очки протирал—словно гладил кошку. Он увидал, что Кирилл Михеич смотрит на него, подполз и сказал ему на ухо:

— Глупо я умру. Нехорошо. Чего ради влип, не знаю...

Тут Кирилл Михеич, вспомнив что-то, сказал:

— А по-моему, плюнуть...

Леонтьев поднял руки над арбузом и спросил нерешительно:

— На что плюнуть...

Кирилл Михеич пошевелил бородку по мягкой кости и ответил смущенно:

— Воопче. Зря, по-моему.— Он вспомнил Саженову-старуху и добавил:—Вырежут...

— Большевики?

— Обязательно. О чем и говорят. И Артюшка зря лезет. Я ему напишу, а бабе его от квартеры откажу. Хоть и родня, а мне из-за них помирать какой план? Брось ты, Иван Владимирыч... На казаков какая надёжа. Брехать любят, верно. Я с ними церква строил, знаю. Хуже киргиз.

— Следовательно, с предложеньями группы вы не согласны.

Кирилл Михеич вынул платок, утер щеки, высморкался и опять сунул платок:

— Силы у вас нету...

— Две сотни казаков хоть сейчас. Под седлом.

— Вырежут. Впрочем, дело ваше, а меня, Иван Владимирыч избавь. Мое дело сторона...

Протоиерей грохнул арбуз о кошму и вскочил.

— Вот и води с таким народом дела! — закричал он пронзительно.

Вороны метнулись от подсолнечников. Он сбавил голос:

— Раз у тебя родственник Артемий Иваныч такой, за родину, я и думал. Не подгадит, мол, Кирилл Михеич...

— Родственник-то он по жене... А жена... воопче.

— Воопче, воопче!..—закричал опять протоиерей.—Вы не воопче говорите, а за себя. Ради вас же стараются... Я думал подряды вам устроить побольше. Семнадцать церквей получили.

— Что вы меня, отец Степан, церквами-то корите? Я их не воровать берусь, а строить. Да ну их...

Протоиерей торопливо перекрестил его. Кирилл Михеич сплюнул и сказал тише:

— С такими работниками сартира не выстроишь, не то что в готическом стиле. Надоели они мне все. Столько убытков несут—и я и они, Господи...

Шмуро громко вздохнул:

— Такой климат. Плотность населения отсутствует, значит, все плохо. Не предприимчивый.

Кирилл Михеич погладил кадык:

— В горле першит от крику. Плюньте, господа... Лучше б кумыса по такому времени, а? Матрён Евграфыч, верно?

Тот устало повел губами:

— Кумыс подкрепляет.

Все подымались. Архитектор скатывал кошму. Леонтьев собирал корочки расколотого арбуза. Когда кошма докатилась до него, он вдруг яростно стал топтать корки по кошме. Архитектор, колыхая шлемом, хохотал.

Леонтьев растянуто сказал:

— Предатели вы... Артемий надеется. Письмо прислал: „При первой возможности подойду к Павлодару с казаками. Может быть, вы своими силами уберетесь". Перетрусили, убрались...

Протоиерей подмигнул:

— Ничего. Мы еще наладим. Не так, тогда этак... Я сегодня обедню не стал служить, проповедь отложил, а тут даже арбуз не съели... Человеки-и!..

Кирилл Михеич спросил протоиерея:

— Вы, батюшка, семян мне не одолжите?..

— Каких тебе?

— Арбузных. От этих полос, подле коих рассуждали. Крупный арбуз, и главное крепок—как по нему Иван Владимирыч бил,—хоть бы што... Мне на бакча такой, а то в Омск справляю, мнется. Арбуз для этого надо крепкий.

Протоиерей подумал и сказал:

— Могу.

Кирилл Михеич счистил приставшую от кошмы шерсть и посоветовал:

— Брось, отец. Ты в летах, ну их... Я тут почесь всю ночь просидел: программу большевицкую читал. Читал, отец, читал... Ведь я скажу тебе—нет такого плана, чтоб не понял. Хоть на всю землю здание—пойму. А тут, пошто, откуда оно—никак ни вникну. Туман.

— Не читал, не интересуюсь

— Твое дело церковное. Может и грешно... Как ты, отец, полагаешь: скажем отымут... дома там, имущество. Надолго?

— А я думаю, коли отымать, так и совсем отымут.

Кирилл Михеич ухмыльнулся.

— Не верю. Главное, пропить некому будет: на кой им это все?

— Найдут,—шумно дыша, сказал протоиерей.—Им только взять.

VII.

На назьмах, подле белой уездной больницы, расстались.

Шмуро, Кирилл Михеич и протоиерей шли вместе.

В самом городе, как заворачивать из-за сельско-хозяйственной школы на Троицкую улицу—за углом в таратайке ждала их матушка Вера Николаевна. Лицо у ней как-то смялось, одна щека косо подрыгивала, а руки не могли удержать вожжей.

— Куда тебя?—спросил протоиерей:—таку рань...

И тут только заметили, что попадья в азяме, киргизском малахае и почему-то в валенках. Тряся вожжами по облучку, она взвизгнула, оглядываясь:

— Садись...

Протоиерей тоже оглянулся. У палисадника через загородку пегий теленок силился достать листья тополей. Розовую шею царапали плотные перекладинки и широкие глаза были недовольны.

— Ищут!..—еще взвизгнула попадья, вдруг выдергивая из-под облучка киргизскую купу.—Надевай.

Протоиерей торопливо развернул купу. В пыль выпал малахай.

Шмуро дернул Кирилла Михеича за пиджак.

— Пошли... Наше здесь дело?.. Ну-у...

Протоиерей, продергивая в рукава руки, бормотал:

— Кто ищет-то? Бог с тобой...

— Залезай,—визжала попадья.—Хочешь, чтоб зарезали? Ждать будешь?

Она вытянула лошадь кнутом по морде. Лошадь, брыкая, меся пыль, понесла в, проулок, а оттуда в степь.

Кирилл Михеич торопливо повернул к дому. Шмуро забежал вперед и, расставляя руки, сказал:

— Не пущу!

— Ок'рстись, парень. К собственному дому не пустишь.

— Не пущу!..

Вся одежда Шмуро была отчего-то в пыли, на шлеме торчал навоз и солома. Бритые губы провалились, а глаза были как растрепанный веник.

— Не пущу...—задыхаясь и путаясь в слюне, бормотал он, еще шире раздвигая руки:—донесешь... Я, брат, вашего брата видал много... Провокацией заниматься?

Кирилл Михеич отодвинул его руку. Шмуро, взвизгнув, как попадья, схватил его за полу и, приближая бритые губы к носу Кирилла Михеича, брызнул со слюной:

— Задушу... на месте, вот... попробуй.

Здесь Кирилл Михеич поднес к его рту кулак и сказал наставительно:

— А это видел?

Шагнул. Шмуро выпустил полу и, охнув, побежал в проулок. Кирилл Михеич окликнул:

— Эй, обождь... (Он забыл его имя.)—Ладно, не пойду. Только у меня ведь жена беспокоится.

Шмуро долго тряс его руку, потом на кулаке оправил и вычистил шлем:

— Я, Кирилл Михеич, нервный. От переутомленья. Я могу человека убить. О жене не беспокойтесь. Мы ей записку и с киргизом. Они—вне подозрений.

— Кто?

— Да все...—Он косо улыбнулся на шлем.—Продавил. Где это?.. Ко мне тоже нельзя. Может меня ждут арестовать. Пойдемте, Кирилл Михеич, на площадь, к собору. Народ-то как будто туда идет...

Из переулков, из плетеных и облепленных глиной мазанок, босиком в ситцевых пестрых рубахах сбегались на улицу мещане. Останавливались на средине и долго смотрели, как бабы, подобрав юбки и насунув на брови платок, бежали к площади.

Мещане вскинули колья на плечи и плотной толпой, в клубах желтой и пахучей пыли, пошли на площадь.

— Зачем это?—спросил Шмуро.

Желтобородый и корявый мещанин остановился, лениво посмотрел на него и безучастно сказал:

— Спички нет ли?.. Закурить. А бигут-то большавиков бить, в церква, бают, пулемет нашли. Отымать приехали. И попа повесили... на воротах.

— Не бреши,—сказал Кирилл Михеич. Шмуро цикнул в шлем. Мещанин побежал догонять, одна штанина у него была короче,—и казалось, что он хром...

Шмуро значительно повел согнутой кистью руки:

— Видите?..

— Не повесили ведь? Сами видали.

— Ничего не значит. Повесят. Если б это культурная страна, а то Ро-осси-ия!..

В садике перед площадью какая-то старуха, рваная и с сумой через плечо, согнув колени, молилась кресту собора. С рук на траву текли сопли и слезы, а краюхи, выпавшие из сумы, бесстрашно клевали толстые лохмоногие голуби. Шмуро подскочил к ее лицу. Торопливо сказал:

— Не ори...

Старуха запричитала:

— В алтаре... усех батюшек перерезали, жиды проклятые! Христа им мало, Владычица!..

А за садиком, перед церковью, как в крестный ход, билась сапогами, переливая ситцами толпа. На площадке у закрытых огромным замком дверей церкви молились старуха и бабы. Одна билась подле замка. Взывал кто-то пронзительно:

— Не допустим, православные!.. Злодеев, иродов...

Подходили с кольями мужики: коротконогие, потные и яркие— в новых праздничных рубахах. Безучастно смотрели на ревущих баб— точно тех избивал кто... Ровной и ленивой полосой выстраивались вокруг церкви. Подымали колья на плечи как ружья... Молодежи не было—все бородатые впроседь. Мальчишки сбирали гальки в кучки.

Над крестами кружились и звонко падали в глухое, бледное и жаркое небо—голуби.

Шмуро ловил Кирилла Михеича в толпе, тянул его за рукав и звал:

— Идемте к Иртышу, в купальни хотя бы... Стрельба здесь начнется, вам ради чего рисковать? Идемте.

Кирилл Михеич все втискивался в толпу, раздвигал потные локти, пахнущие маслом бороды. Плотным мясом толкали в бока бабы; старухи царапали костями. Какой-то скользкий и тающий, отдающий похотью и тоской, комок давился и рождался—то в груди, то в голове...

— Отстань,—говорил он.

Никто его как будто не узнавал, но никто и не удивлялся. И толпу пройти нельзя было,—только выходил на край, как поворачивался и опять он входил туда же.

— Идемте!..

— Отстань.

Потом Шмуро больше не звал его. Но, раздвигая тела, вдыхая воздух, пахнущий табаком и сырым, недопеченым хлебом, Кирилл Михеич повторял:

— Отстань... отвяжись...

Вдруг Кирилла Михеича метнуло в сторону, понесло глубоко глубоко бороздя сапогом песок и он вместе с другими хрипло закричал:

— Ладно... Правильно-о!..

А тот, кому кричал Кирилл Михеич, перегнувшись из таратайки и прижимая к груди киргизский малахай, как наперсный крест, резко взывал:

— Не допускайте, православные!.. Не допускайте в церковь... Господи!..

И он оборачивался к улыбающемуся красногвардейцу Горчишникову. А Горчишников держал револьвер у виска о. Степана и кричал в толпу:

— Пропусти! Застрелю.

На козлах сидела и правила матушка.

Толпа стонала, выла. Спина в спину Горчишникову стоял еще красногвардеец, бледный и без шапки. Револьвер у него в руке прыгал, а рукой он держался за облучек.

— Пу-ускай!..—кричал в толпу Горчишников.—Пускай, а то убью попа.

Толпа, липко дыша, в слезах, чернобородая, пыльная, расступилась, завопила, грозя:

— По-одожди!

Тележка понеслась.

А дальше Кирилл Михеич тоже со всеми, запинаясь и падая, без шляпы—бежал за тележкой к пристаням. Протоиерея по сходням провели на пароход, а матушку не пустили.

Лошадь подождала и, легонько мотая головой, пошла обратно. Толпились у сходен, у винтовок красногвардейцев — орали каменщикам, малярам, кровельщикам:

— Пу-усти...

А у тех теперь не лопатки — штыки. Лица поострели, подтянулись.

Махал сюртуком Кирилл Михеич, падая в пыль на колени:

— Ребята, отца Степана-то... Пу-усти...

— Здесь тебе не леса! Жди...

Работник Бикмулла сдвинул на ухо тибитейку, босиком травил канат.

Пароход отошел от пристани, гукнул тревожно, и вдруг на палубу выкатили пулеметы.

Толпа зашипела, треснула и полилась обратно с берега в улицы.

И только в переулке заметил Кирилл Михеич—потеряна шляпа; штанину разорвал, подтяжки лопнули, и один белый носок спустился на штиблет.

VIII.

Тонкая, как паутина, липкая шерсть взлетала над струнами шерстобойки.

Кисло несло из угла, где бил Поликарпыч шерсть. И борода у него была, как паутина—голубая и серая.

Кирилл Михеич лежал на кровати и говорил:

— Ты в дом-то почаще наведывайся. Бабы.

— Аль уедешь?

— В бор-то. Лешава я там не видал. Раньше не мог, теперь поздно.

— Поздно? Пымают.

— Поймали же попа.

— Попа и я могу пымать. На то он и поп. Куды он убежит, дальше алтаря? Нет, ты вот меня поймай. А то—нарядил купу киргизку, а волосы из-под малахая длинней лошадинова хвоста... Убьют, ты как думашь?

— Я почем знаю,—с раздражением ответил Кирилл Михеич.

Поликарпыч свалил шерсть в мешок и, намыливая руки, сказал:

— Надо полагать, кончут. Царство небесно, все там будем.

— Чирей тебе на язык.

Поликарпыч хмыкнул:

— Ладно. Жалко. А того не ценишь, что в Павлодаре мощи будут. Ни одного мученика по всей киргизской степе. Каки таки и места... И тебя в житьи упомянут.

Он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся. Кирилл Михеич отвернулся к стене...

Поликарпыч спросил что-то, надел пиджак и ткнулся к маленькому в пыльной стене зеркалу.

— Пойду к бабам. Што правда, то правда—от таких баб куда побежишь. Сладше раю...

— Иди, ботало! Вот на старости лет...

Вспомнил Кирилл Михеич — давно книжку читал — „Красный корсар". Пленных там вешали на мачте. Подумал про о. Степана:

„а мачта мала!". И никак не мог вложить в память ясно: выдержит мачта или нет. Красят их синей краской, мачты существуют для флага. Флаг, конечно, легче человека...

И еще вспомнил—пимокатню пермских земель. Там должно быть читал „Красного корсара". С тех времен книги видел и читал только конторские: с алыми и синими графками. Сверху жирно—„дебет, кредит". Все остальное—цифры, как поленья в бору—много...

Пристроечка в стену флигелька упирается. Так что с кровати слышно могучим шагом, гремя половицами, идет Фиоза Семеновна. А легче, то, должно быть, Олимпиада, или, может, отец.

Ржет лошадь: протяжно и тонко. Должно быть, не поили. Вечер по двору—синяя лисица. Медов и сладостен ветер—чай в такую погоду пить, а здесь по мастерским прячься. И от кого?.. В своем доме.

Лошадь жалко—не человек, кому пожалуется. Натянул сюртук Кирилл Михеич, приоткрыл лопнувшую зеленую дверь.

По двору—топот. К пригону. Насвистывая, ввел кто-то лошадь. Звякнуло железом. Сапоги заскрипели. Потом стременами, должно, тронули.

В щель пахнуло лошадиным потом,—и голос Запуса:

— Старик, спишь?

Вскочил Кирилл Михеич в кровати. Натянул кое-как одеяло. Дверь подалась, грохнулась на скамью тяжесть—седло.

— Спишь?

Свистнул. Зажег папироску. Сплюнул.

— Спи. Огонь напрасно не гасишь, пожар будет. Я погашу.

Дунул на лампу и ушел.

Еще за стеной шаги—расписанные серебряным звоном. Смех будто; самовар несут—Сергевна ногами часто перебирает.

И такой же нетленный вечер как всегда. И крыши—спящие голуби.

Телеги под навесом, пахнущие дегтем и бором. Земля, сонная и теплая, закрывает глаза.

А душа не закрывает век, ноет и мечется, как зверь на плывущей льдине.

Мелко, угребисто, перебирая руками, точно плывет—Поликарпыч.

— Хозяин прикатил. Видал?

— Видел.

— Хохочет. Тебя, грит, у парохода приметил... На коленях молился.

— Брешет, курва.

— Ты ему говори. Я, грит, ему кланяюсь,—ён и не видит. Освободители-и!.. Куды, грит, сейчас изволил отбыть?.. Фиоза-то...

— Ну?..

— Вместе с Олимпиадой, ржет... Я ее в бок толкаю, а она брюхом-то как вальком—так и лупит, так и лупит. Ловко, панихида, смеется. Поди так штаны лопнули.

Кирилл Михеич потер ладони—до сухой боли. Кольнуло в боку. Вздохнул глубже, присел на скамейку, рядом с седлом. От конского запаха будто стало легче.

— Тебе б пожалуй, парень—пойти в добровольную. Мало ли с кем не бывает, а тут за веру.

— Иди ты с ними вместе...

— Материться я тоже могу. Однако, грит, введёны в город военные положенья, чтоб до девяти часов, а больше не сметь. Вроде как моблизация... призыв рекрутов. Ладно!.. Я ему говорю—отец-то Степан жив? Куды, грит, он денется. Очень прекрасно... Выпил я чай и отправился. Ступай и ты. Баба мне Фиеза-то: „пусть, грит, идет"... Пошел, что ли?..

— Не лезь!—крикнул Кирилл Михеич.

Поликарпыч посмотрел на захлопнувшуюся дверь. Поправил филёнку и сказал:

— Капуста...

Стоял Кирилл Михеич, через палисадник глядел в окно:

Опять, как утром—самовар бежит, торопится—зверь медный. Плотно прильнув к стулу,—Фиоза Семеновна подлым вороватым глазом—по Запусу. И жарче самовара—в китайском шелке дышут груди. Рот как брусника на куличе...

Смеются.

У Олимпиады глазы—клыки. Фиоза смеется,—в ноги,—скатерть колышет, от смеха такого жилы как парное молоко вянут...

Вянет у Запуса острый и бойкий рот. Усики, как в наводнение, тонут в ином чем-то...

Харкнул Кирилл Михеич, отошел. Хотел-было уже в комнаты, но вспомнил генеральшу, хромых офицеров и Варвару. Пригладил волос, а чтоб короче, через забор.

На стук—громыхнуло ведро, треснула какая-то корчага и напуганный густой голос воззвал:

— Кто-о!..

Отодвинулся немного Кирилл Михеич—чтобы дверь отворять, не обеспокоить. Сказал неуверенно:

— Я, Кирилл Михеич.

— Кто-о?..

— Кирилл Михеич!.. Сосед!

Громыхнуло опять что-то. Звякнуло. Из синей и жесткой тьмы крикнули сразу несколько:

— Не знаем... кто там еще на ночь? Здесь раненые...

— Ранены-ые...—давнул в двери бас.

Собака тявкнула, будто скрипнуло колодцем...—Известкой понесло от постройки.

Дошел Кирилл Михеич до ворот, а там, прислонившись к столбу,—киргиз. Конь рядом. Чембырь прикреплен к поясу.

Киргиз обернулся и поздоровался:

— Аман—бы—сын?..

И немного пришепетывая, словно в размякших зубах, сказал по-русски:

— В пимокатной никого нет? Я видал—комиссар проехал.

Кирилл Михеич подошел и, дергая киргиза за пояс, проговорил вполголоса:

— Артюшка.!. Эта ищо что за дикорация?

— Не ори,—сказал Артюшка, быстро отцепляя чембырь:—коня надо на выстойку привязать. Нет, значит? Я пойду.

Он, подкидывая песок внутрь, косыми ногами, пошел. Кирилл Михеич обомленно тянул его за пояс к себе. Ремень был потный и склизкий как червь.

Вспомнил Шмуро в переулке и, стараясь, спокойно сказал:

— Обожди.

Артюшка выдернул ремень и, трепля потную челку лошади, одной к другой ноге сгребал песок.

— Я устал, Михеич. После скажешь.

— Урежут.

— Кто?

Кирилл Михеич подскочил к морде лошади. Так он глядел и говорил через морду. Лошадь толкала в плечо влажными и мягкими ноздрями.

— Сёдни восстанье было. Церковь отбивали, а потом, говорят, казаки идут. И будто ведешь их ты. Со всех станиц. Протоиерея арестовали.

— Знаю.

— Нельзя тебе, парень, показываться.

— Тоже знаю. У тебя овес есть? Я к старику пойду, бабе скажи — щей пусть принесет. Я есть хочу. А там, как хочешь.

Кирилл Михеич хлопнул себя по ляжкам и, быстро вращая кистью руки, закричал.

Лошадь дмыхнула ноздрей. Артюшка разнуздал ее и сунул под потник руку—„горячее ли мясо, можно ли снять седло"?

— Да что вы—утопить меня хотите? Сговорились вы, лешак вас истоми! Поп туды тянет, архитектор—туды... разорваться мне на тысячу кусков? Жизнь мне надоела,—идите вы все к чёмеру!.. Только подряды попали, время самое лес плавить, Господи...

Крик его походил на жалобу.

Из палисадника ленивый и желтый, как спелая дыня, выпал голос Фиозы Семеновны:

— Чего там ещо, Михеич?

— Видишь,—орешь, сказал Артюшка, идя под навес.—Скажи—сбрую привезли...

Жена переспросила. Кирилл Михеич крикнул озлобленно и громко:

— Сбрую привезли, язва бы вас драла!..

И еще ленивее, как вода через край,—выплеснула Фиоза Семеновна в комнате.

— Что волнуется, не поймешь. Чисто челдон.

Лица у Артюшки, под пушистым малахаем не видно,—блеснули на луну зубы. За плечи спрятались пригоны, пахнущие распаренно-гниющим тесом и свежим сеном. Пимокатная.

Поликарпыч удивлялся, когда не надо. Должно быть, для чужих... Развешивая по скамье вонючие портянки, отодвинул и поздоровался спокойно:

— Приехал? Садись. Баба и то, поди, тоскует. Видал?

— Ись хочу,—сказал Артюшка.

— Добудим. Схожу в кухню.

Артюшка вдруг сказал устало:

— Не надо. Дай хлеба. Постели на земле...

Старик, видимо, довольный отрезал ломоть хлеба. Кирилл Михеич, положив жилистые руки на колени, упорно и хмуро глядел в землю. Артюшка ел хлеб, словно кусая баранину—передними зубами, быстро и почти не жевал.

Съев хлеб, Артюшка вытянулся по скамье, положив под голову малахай. Тибитейка спала на землю. Старик поднял ее одним пальцем и сказал недовольно:

— Зачем таку... Как пластырь. Образ христианский у тебя. Хфеска все-таки на картуз походит.

— Кого еще арестовали?—быстро спросил Артюшка.

Так же, словно зажимая слова меж колен, в землю отвечал Кирилл Михеич:

— Одного протоиерея, говорят. Больше не слышно.

— Разговаривали сегодня?

— С кем?

— С кем. Со всеми.

— Ты откуда знаешь?

Артюшка сердито, как плетью, махнул тибитейкой:

— Когда вы по-настоящему отвечать научитесь? Всей Росее надо семьдесят лет под-ряд в солдатах служить... Тянет, тянет как солодковый корень. Говорили, значит.

— Говорили.

— И ничего?

Кирилл Михеич почему-то вспомнил голубей над церковной крышей—будто большие сизые пшеничные зерна... Громко, словно топая ногой, сплюнул.

— Я так и знал. Я никогда на рогожу не надеюсь. Надо шпагат. Казаков не разоружили?

— А будут?

— Я должен знать? Вы что тут, — яйца парите? У баб титьки нюхаете?..

Старик рассмеялся:

— Ловко он!..

Шевеля длинными и грязно пахучими пальцами ног, он добавил хвастливо:

— Кабы мое хозяйство, я б навинтил холку.

На дворе по щебню покатилось с металлическим синим звоном. Артюшка подобрал ноги и надвинул тибитейку на лоб.

— Идет кто-то... С вами и камень материться начнет. Огурцы соленые, а не люди.

За дверью по кошме кто-то царапнул. Поликарпыч с кровати шестом пхнул в дверь.

Вошел щурившийся Запус. Подтягивая к груди и без того высоко затянутый ремень, сказал по-молодому звонко и словно нацепляя слова.

— На огонь забежал, думаю, скучно старику. Почитать попробовал, а в голове будто трава растет... Вас—полная компания. Не помешал?

— Гостите,—сказал Кирилл Михеич.

Запус поглядел на него и, убирая смех,—надвигая неслушавшиеся брови на глаза, проговорил торопливо и весело:

— Здравствуйте, хозяин. Я вас не узнал—вы... будто... побрились?

Старик хлопнул себя по животу.

— Ишь... я то же говорю, а он не верит...

Запус, указывая подбородком на Артюшку, спросил:

— Это новый работник? Ваш-то к нам на пароход поступил.

— Новый,—ответил неохотно Кирилл Михеич.

Артюшка пригладил реденькие, по каемочке губ прилипшие усики и сказал:

— Палё!

— Он по-русски понимает?

— Мало-мало,—ответил Артюшка.

— Из аула давно?

— Пчера.

— Степной аул? Богатый? Джатачников много? А сам джатачник?

— Джатачник,—раздвигая брови, ответил Артюшка.

— Чудесно.

Запус, перебирая пальцы рук, часто и бойко мигая, огляделся, потом почему-то сел по-киргизски, поджав ноги на постланную постель Артюшки.

— Я с тобой еще говорить буду много,—сказал он.—А ты, старик, не сказки рассказывал?

— Нет. Не учил, парень.

Запус вытащил портсигар.

— Люблю сказки. У нас на пароходе кочегар Миронов—здорово рассказывает. Этому, старик, не научишься. А карт нету?.. Может в дурака сыграем, а?

— Карты, парень, есть. Не слупить ли нам в шестьдесят шесть?

Запус вскочил, переставил со стола чайники и чашки. Ковригу хлеба сунул на седло, сдул крошки, чайные выварки и выдвинул стол на средину.

— Пошли.

— Садитесь,—сказал он Кириллу Михеичу. Тот вздохнул и подвинул к столу табурет. Артюшка захохотал. Запус взглянул на него весело и быстро объяснил Кириллу Михеичу:

— Доволен. Инородцы очень любят картежную игру,—также пить водку. Я читал. Жалко водки нет, угостить бы...

Кириллу Михеичу не везло. В паре против них были Поликарпыч и Запус. Поликарпыч любил подглядывать, а Запус торопился и карты у него в руках порхали. А Кириллу Михеичу были они тяжелее кирпича и липки как известка. Злость бороздила руки Кирилла Михеича, а тело свисало с табурета—мягкое и не свое, как перекисшая квашня...

„Шубу" за „шубой" надевали на них. Поликарпыч трепал серую бороденку пальцами, как щенок огрызок войлока, и словно подтявкивал:

— Крой их, буржуев!.. Открывай очки... крой!..

У Запуса желтой шелковинкой впивались в быстрые поалевшие губы—усики. Как колоколец звенели в зубы слова:

— Валяй их, дедушка! Не поддавайсь...

А завтра день, может быть, еще хлопотней сегодняшнего. Запус донесет или возьмет сейчас встанет и, сказав:—„что за подозрительные люди",—арестует. Ноздря ловила горький запах конского пота с седел; коптящая лампа похожа на большую папироску.

Влив жидкими зеленоватыми клубами, в конский и табачный дух, вечерние и сенные запахи,—появилась Олимпиада. А позади ее, сразу согрела косяки и боковины дверей—Фиоза Семеновна.

У стола Олимпиада вскрикнула:

— Ой!

Запус оттолкнул табурет и, держа в пальцах карты, сказал:

— Накололись?..

Поликарпыч закрыл ладонью его карты торопливо.

— Не кажи... Тут хлюсты, живо смухлюют.

Держа по ребрам круглые и смуглые руки, Олимпиада отвела глаза от тибитейки Артюшки.

— Нет, накурено. К вам, Василий Антоныч, пришли.

— Много?

— Трое.

Запус потянулся, вздохнул через усики и передал карты Олимпиаде:

— Доиграйте за меня. Я долго. Как пришли ко мне, так спать захотел... Опять заседание, нарочно с парохода сбежал. Думал—отдохну.

Покачав за пальцы руку, наклонил голову перед Фиозой Семеновной—идол в синем шелке, золото в коралловых ушах, зрачок длинный и зеленый, как осока:

— Спокойной ночи.

А ночью этой же толчками метнулась под брови, в лоб и по мозгам винтящая и теплая кровь,—вскочил Кирилл Михеич на колени. Махнул пальцами, захватил под ногти мягкий рот Фиозы Семеновны и правым кулаком ударил ее в шею. Хыкнула она, передернула мясами,—тогда под ребра... И долго—зажимая, мокрой от слюны, рукой бабий вячный крик—бил кулаком, локтем и босыми твердыми мужицкими ступнями муж свою жену.

IX.

День и ночь двухъэтажный, американского типа пароход „Андрей Первозванный" вытягивал и мазал небо с желтыми искрами дымной жилой. Сухие—железные и деревянные—ребра плотно оседали, подминали под себя степную иртышскую воду. Ночью оранжевым клыком вонзался и царапал облака прожектор—и облака, кося крылом, ускользали, как птицы.

По сходням босые, в выцветших ситцевых рубахах, подпоясанные тканьевыми опоясками, с порванными фуражками, вбегали на пароход. В руках—бумажки, за плечами—винтовки. Ремней на винтовки не хватало,—держались на бечевках.

Потому-то густоголосый и рыжебровый капитан ворчал у медного рупора:

— Рваные, туда же... Самара-а!..

А такой же „самара" рядом с ним стоял и контролировал контрреволюцию. Вместо платка у „самары"—кулак, а пальцы вытирал о приклад винтовки.

Влепились и черным зрачком с голубого листка косились буквы. По всему городу косились и рассказывали (многие уверяли—неправда, а верили):

> Павлодарский Рев. Комитет С. Р., С., К. и К. Деп... за попытку восстания, организованного буржуазией, предупреждая... все дальнейшие попытки вырвать власть из рук рабочих и крестьян... будут караться немилосердно, до расстрела на месте виновных. Настоящим... контрибуцию с буржуазии г. Павлодара... пятьдесят тысяч рублей.
>
> Комиссар Василий Запус.

И на углах улиц, по всему берегу—по пулемету. На каждом углу—четыре человека и пулемет. У забора мальчишки с выцветшими волосенками, щелкают семячки и просят:

— Дяденька Егор, стрельни!

Егор сидит на пустом ящике от патронов, тоже щелкает семячки. Отвечает лениво:

— Отойди. Приду домой, матери скажу—шкуру сдерет.

— Мамка в красну гвардию ушла! Батинки, бают, выдавать будут. Будут дяденька, а?

Молчат. И лень и жарко и земля не камень, пески.

Да и сроку два дня. Через два дня не внесут контрибуцию, пали по улицам. Улицы как песок, пуля как кол—прошибет! Стеганем, так стеганем.

Подгоняет.

По сходням гуськом, через баржу-пристань, вверх по сходням в каюту второго этажа—очередь. Именитейшее купечество городское стоит. Приходилось последнее время в очереди стоять за билетами—поехать куда,—и то редко: все приказчики заменяли. А теперь куда повезут за собственные денежки? На тот свет, что ли? Эх, казаченки, казаченки, эх, Горькая Линия[1]), подгадили!

А по яру—у берега песчаного и теплого,—кверху брюхом, пуп на солнце греют,—голь и бесштанники. Ерзают по песку от радости хребтом горбатым и голым. Коленки у них, как прутья сухие, надломленные; голоса размыканные горем, грязные, как лохмотья. В прорехи вся истина видна, а лапами гребут—песок подкидывают от растаких—прекраснейших видений.

— Первой гильдии Афанасий Семенов приперся!..

И завыли:

— У-у...—прямо волчьим злым воем на седую семеновскую голову. Вот она где слеза-то соленая сказывается...

— Мельник Терёшка Куляба...

— С дяньгой? Гони-и!..

И погнали криком, визгом, свистом по скрипучим сходням под скобку скобленую упрямую голову. Вот они жернова-то какие, мелют!..

— Самсониха, а? Шерсть скупать явилась?..

— Надо тебя постричь, суку!..

Сухие как шерсть, длинные в черном самсонихины косточки тоже на сходнях. Терпи, мученицы терпели, а ты тоже кой-кого—глоданула... Кровь в щеках поалела, а ноженьки подползают под туловище—мало крови. Ничего, отдашь и отойдет.

— Крылов! Крылов! Мануфактурщик!..

Подняли с песка желтые клювы, заклёкотали, даже сходни трещат.

— Давай деньгу!..

— Гони народну монету!..

— Их-ии-хьих... тю-тю-тю...

— Сью-ю... и... и... ююююю... ааую...

---

[1]) Горькая Линия—цепь казачьих поселков вдоль Иртыша.

Рыжими кольцами свист—от яра на сходни, со сходен на пароход. Кассир в каюте пишет в приеме квитанции. На кассире, конечно, фуражка и на гимнастерке помимо револьвера—красная лента.

Царапая дерево саблей с парохода,—сходнями,—идет на лошадь Запус. Ему—один пока имеющийся, триста лет ношеный, крик:

— Урр-ра-а-а!

И раздавив царское—„р"—повисли:

— А-а-у-а-а...

(Ничего—время будет, другое научатся кричать. Так думает Запус. А может и не думает.)

Обернулся здесь сутуловатый старичок Степан Гордеевич Колокольщиков,—борода, продымленная табаком (большие табачные дела делает), и глазом больше, чем губами, сказал:

— Сейчас резать пойдут.

Спросил Кирилл Михеич:

— Пошто?

Втиснул бороду в сюртук, табаком дыхнул:

— А я знаю?.. Поревут, поревут, да и пойдут резать. Кричать надоест и вырежут. И не однако на сходнях, а и в городе вырежут. Поголовно.

Подвинулся на два шага (один освободился плательщик)—пальцем клюнул к песчаному жаркому яру, тихонько бородой погрозился:

— Обожди... придется и над тобой надсмеяться... посмеемся.

Как-будто на минуту легче Кириллу Михеичу,—повторил и поверил:

— Посмеемся...

Еще на два шага. Ощупал в кармане золото—не украли бы? А кто украдет, люди все рядом именитые—купеческие. Дурной обык карманы щупать...

Золото же в кармане лежало, потому—прошел слух, не принимают контрибуцию бумажными, золото требуют. У всех в одном кармане мокрое от пота золото, а в другом влажные от золотого пота ассигнации—перещупанные...

Еще на два шага.

— Двигается?

— Сейчас быстрее.

— Пронеси ты тучу мороком, Господи...

Под вечер, на другой день косоплечий с длинными запыленными усами подскакал к пароходу казак. Немножко припадая на левую, прошел в каюту. И голос у него был косой, вихлявый и неразборчивый. Глядя напуганно под опрятные искусственные пальмы, полированный коричневый рояль, рассказывал чрезвычайной тройке (был здесь и Запус), что штаб организованного капитаном Артемием Трубычевым восстания против большевиков,—находится в поселке Лебяжьем. В штабе, кроме Трубычева,—поручик Курко,—ротмистр Ян Саулит и еще казаки

из войскового круга. И с недовольствием глядя на опадающую с штанов на чистый ковер желтую широкую пыль, назвал еще восемь фамилий: братья Боровские, Филипп и Спиридон, Алексей Пестряков, Богданов и Морозов, Константин Куприянычев, Афанасий Сизяков и Василий Краюкин. Потом чрезвычайная тройка поочередно крепко пожала казаку руку.

Казак затянул крепче подпругу и поскакал обратно. Через час патруль красногвардейцев нашел его близ города у мельницы Пожиловой. Шея у него была прострелена и собака с рассеченным ухом нюхала его кровь.

Кирилл Михеич увидал Пожилову под вечер. Он бродил поветью и щупал ногой прогнившие жерди. Пожилова, колыхая широкими свисшими грудями в черном длинном платье, бежала сутулясь по двору. Было странно видеть ее в таком платье бегущей, словно бы поп в полном облачении в ризе ехал верхом.

Она, добежав до приставленной к повети лестнице, крепко вцепилась в ступеньки из жердей.

— Убьют... разорят...—с сухим кашлем вытянула она.—Ты как думаешь, Кирилл Михеич?

Кирилл Михеич, ковыряя носком прелую солому, спросил:

— Мне почем знать?

От ворот подвинулись дочери Пожиловой—Лариса и Зоя, обе в мать: широкогрудые, с крестьянским тяжелым и объемистым мясом.

— Я что могу сделать.—Он подумал про сидевшего в мастерской Артюшку и добавил громко:—У меня самого шея сковырена. Ведь не вы убили? Нечего бояться, на то суд.

— Нету суда.

Дочери в голос повторили то же и даже взялись за руки. Пожилова, прижимая щеку к жерди, заплакала. Кирилл Михеичу неловко было смотреть на них вниз с повети, да и отсюда почему-то нужно было их утешать...

— Пройдет.

— Лежит он в десяти саженях и пулей-то ко мне повернут.

— Какой пулей?

— Дырой в шее. Франциск и заметил первый. Толку никакого не было, знать притащили убитого... Говорят: из твоей мельницы стреляли.

Франциск—пленный итальянец—жил на мельнице не то за доверенного, не то за хозяина. Пожилова везде водила его с собой и все оправляла черные напомаженные волосы на его голове. Рассказывали о частых ссорах матери с дочерями из-за итальянца.

— На допросе была. Только что поручителей нашли голяков, отпустили. Заступись.

— Большевик я, что ль?..

— Не большевик, а перед Запусом-то походатайствуй. Некому стрелять. Сожгут еще мельницу. А тут ветер в крыло, робить надо. Скажи ты, ради Бога...

— Ничего я не могу. У меня все тело болит.

Он, чтоб не глядеть на женщин, посмотрел вверх на зеленую крышу флигелька, на новую постройку, на засохшие ямы известки и вдруг до тошноты понял, что это уходит как старая изветшалая одежда.

Кирилл Михеич сел на поветь, прямо в прелое хрупкое сено и больше не слышал, что говорили женщины.

Он, вяло сгибая мускулы, спускался, и на земле как будто стало легче. Мигали сухожилья у пятки, а во всем теле словно там на повети на него опрокинулся и дом, постройка... выдавило...

Фиоза Семеновна, подавая связанного петуха, сказала:

— Заруби. Да крылья не распусти, вырвется... Чего губа-то дрожит, все блажишь?

Кирилл Михеич подтянул бородку.

— Уйди... Топор надо.

Маленький солдатский топорик принесла Олимпиада. Как-то притиснув его одной кистью, вонзила в бревно. Пощупала на бревне смолу, присела рядом с топором. Кирилл Михеич с петухом под мышкой стоял перед ней.

— Казаки восстанье подняли, слышал?—как будто недоумевая, сказала она.

— Ничего не знаю.

Олимпиада кончиками пальцев погладила обух топора:

— Все шерсть бьете. Шерсто-обиты!.. В Лебяжьем восстанье Наших перестреляют.

— В Ле-ебяжьем.

Олимпиада передразнила:

— Бя-я... Бякаете тут. У тебя кирпичные заводы не отняли? Отымут. Портки последни отымут, так и знай.

— Изничтожут их.

— Кто? Уж не ты ли?

— Хоть бы и я?

— Шерсто-биты!.. На бабе верхом. Запус-то тебе глаза пальцем выдавит, смолчишь. Восстанье поедет подавлять. От Лебяжья, говорит, угли останутся.

— Врет.

— Переври лучше. Когда бороду тебе спалят, поверишь. И то скажешь, может не так...

Кирилл Михеич отчаянно взмахнул петухом и крикнул:

— Да я-то при чем? Что вы все на меня навязались? Что у меня голова-то колокольня, каждый приходит и звонит!

Он рухнул перед бревном на колени и, вытирая о петуха вспотевшее лицо, выговорил:

— Давай топор.

Олимпиада, щупая пальцем острие, проговорила словно с неохот

— А ты его топором.

— Ково?

Она наклонилась к самой сапфирно-фиолетовой шее петуха прикрывая пальцем розовое птичье веко, сказала:

— Запуса.

Кирилл Михеич вытолкнул из-под мышки петуха, протягивая є шею к бревну.

— Не болтай глупостев,—сказал он недовольно.

— Вот так!

Она наклонилась к петуху и вдруг разом перекусила ему гор. Сплевывая со смуглых и пушистых губ кровь, пошла и крикнула ч рез открытое окно, в кухню:

— Фиёза, возьми петуха—мужик-то зарубил ведь...

Поликарпыч починил телегу, прибив на переломившуюся грядку дубовую планку; исправил в колодце ворот и съездил на завод узнат работают ли кирпичи. Киргизы, оказалось, работали. Поликарпыч очеі обрадовался.

Кирилл Михеич стоял у мастерской. Пальцы в кармане пиджак шевелились как спрятанные щенята...

— К чему ты все?

— А что?

— Робишь.

— Ну?

— Отымут.

Поликарпыч, не думая, ответил:

— Сгодится.

Запахло смолой откуда-то. У соседей в ограде запиликали н гармошке. Кирилл Михеич поглядел на отца и подумал:

„Сказать разве".

И он сказал:

— Прятать надо.

Поликарпыч, завертывая папироску в прокуренных коричневато-си них пальцах, отозвался:

— Ты и ране говорил.

Кирилл Михеич удивился.

— Не помню.

— Говорил. Только ничего, поди, у них не выдет.

— У кого?

— У этих, у парней-то с пароходу. Матросы пропьются и забудут. А молодой-то, должно, все больше насчет баб, а?

— Ты места подыщи,—сказал Кирилл Михеич тихо.

Поликарпыч клюнулся к земле и вдруг, точно поверив во что, утих, одернул рубаху. Провел сына в мастерскую. Здесь часто под-

носяк его носу пахнущие кислой шерстью ладони, тепло дышал в щеку:

— В сеновале—погреб старый, под сеном. Трухи над ним пол-аршина. Ты его помнишь, я рыл...—Он хихикнул и хлопнул слегка сына по крыльцам.—Вижу у старого память-то лучше. Там песок, на пять саженей. Человека схоронить, тысячу лет пролежит не сгниёт... Туда, парень, все и можно. Хоть магазин.

От его дыханья было теплее. Да он и сам тоже, должно быть, тосковал, потому что говорил потом совсем другое, пустое и глупое. Кирилл Михеич терпеливо слушал.

Сизые тени расцвели на земле. Налился кровью задичавший кирпич. У плах, близ постройки, серая и горькая выползла полынь. Ее здесь раньше не было.

Кирилл Михеич наткнулся на жену у самого порога кабинета. Не успев подобрать рассолодевшее тело, она мелко шла внутренним истомленным шагом. Розовый капот особенно плотно застегнут, а ноги были босые и горячие (от пола отнимались с пенистым шумком).

Кирилл Михеич уперся острым локтем ей в бок, и взмахнув рукой, хотел ударить ее в слоистый подбородок. Но раздумал и вдруг с силой наступил сапогом на розовые пальцы. Фиоза Семеновна вскрикнула. В кабинете скрипнула кровать.

Он намотал завитую прядь волос на руку и, с силой дергая, повел ее в залу. Здесь, стукая затылком о край комода, сказал ей несколько раз:

— Таскаться... таскаться... таскаться...

Выпустил. В сенях, бороздя пальцами по стене, стоял долго. Потом, в ограде, выдернув попавшую занозу, тупо глядя в ворота, кого-то ждал.

В мастерской Поликарпыч катал из поярка шляпу. Увидев сына, сказал весело:

— Я кукиш ему выкатать могу.

Кирилл Михеич лег на кровать и со стоном вытянул ноющие руки.

— Будет тебе!..

Старик с беспокойством обернулся:

— Нездоровится? Може за фершалом сбегать?

— Да ты что смеешься... надо мной?..

Поликарпыч недовольно дмыхнул:

— Еще лучше!

(Продолжение следует.)

Как я строил дом

Из поэмы „Побег".

Мне ведь снилась каждая тесина,
С каждой планкой был я заодно,
Бережней, нежней чем сына
Клал я каждое бревно.
Эх, да что там говорить про бревна!
Лишний сук я тронуть избегал,
Потому что знал я, знал я кровно,
Что не сук, а родинку срубал.
Лишь могла бы потная рубаха
Рассказать про мой рабочий дар,
Как, срубая, радугами размаха
Улыбался мой удар.
Как, срубая, пьяным полыханьем
На дыханье смольное дышал,
Как дыхание с дыханьем
Я взволнованный мешал,
Я дрожал, от счастья задыхался,
Как мой домик крепнул день за днем,
Как мой дом в плечах приподымался,
Как мужал мой новый дом.
И следил, следил ревнивым глазом,
Как сквозь окна брезжил чудный ум,
Брезжил чудный человечный разум,
Чудное броженье вечных дум.

Василий Казин.

Железный хлеб.

Стремлюсь и рвусь душой кричащей,
С озер соломенных, туда,
Где глыбами под синей чащей
Цветет железная руда.

И там над неживыми кущами
Склоню спаленное лицо,
А май ладонями цветущими
Плеснет железною пыльцой.

Слепит глаза ее блистание
И сладко мне до жгучей боли,
Ее глубокое врастание
В мои цветущие мозоли.

Развейтесь, лепестки, сгоревшие
В биеньях сердца и руды.
Как сладко, под рукой созревшие,
Кайлом откалывать плоды.

А после в дымной домне тесной,
Не хмелевыми лепестками,
Чугунное заквасить тесто
Непросыхавшими слезами.

В вагранке, пламенем поющей,
Железные хлебы печь,
Пока ключами сила бьющая,
Сочась, не вытечет из плеч.

Вскиньте над весенней синью
Ресницы к солнцу, кто не слеп,—
Не будет горькою полынью,
Слезами росоленный хлеб.

Мих. Герасимов.

* * *

За рекою—город черной грудой,
Так тревожны за рекой огни...
Под горой зловещим долгим гудом
Беспокойная волна звенит.

Осень... Призрачный и лунный вечер.
Ветер в роще—как пугливый конь...
Вздрогнули настороженно плечи
И доверчивей твоя ладонь.

Ты тревожна, но в тревоге этой,
В трепете взволнованных ресниц,
Я следил пылающего лета
Знойное мерцание зарниц.

Сказано, что день за днем томило;
Листопадом пали листья слов.
Поздней пчелкой сердце льнуло к милой
И без слов звенело и цвело...

С. Обрадович.

Смута.

Бытовые очерки.

Александр Зуев.

I.

„Нечистых творче, злых содетелю, всегубительного мрака поборниче, Власие наш, Тороповский чудотворче предивный, подаждь нам силу нелицемерными усты пети преславная и блаженная дела твоя. Радуйся, Власие, великий чудотворче.

„Радуйся, приявший власть разрушати и пресекати и вся, яже не к созиданию творити, елика аще хощеши. Славим неизочтенная дела твоя и умильно глаголем: радуйся, Власие, предивный чудотворче.

„Радуйся, веры Христовой гонителю; радуйся, церкве отступник; радуйся, закона Божия поносителю; радуйся, богохульства источник; радуйся, зловерия неоскудевающий сосуд; радуйся, бесов радование; радуйся, Власие, великий чудотворче.

„Радуйся, презельной тьмы насадителю; радуйся, слабых умов ловец; радуйся, прибежище и сила злых, верных же поношение и заушение; радуйся, нелепого и несмысленного учения стено; радуйся, сатанинская сеть; радуйся, Власие, предивный чудотворче.

„Воителю беглый, отечество российское предавый, яко Иуда, ныне же на страну свою пришедый, во еже погубити и разорити вся добрая; радуйся, Власие, радуйся!.. Радуйся, собирающий, идеже ни сеял, ни жал; радуйся, чужих имений рачительное обложение; радуйся, содеянных расхищений советник; радуйся, воинства красного, еже от семене антихристова, учредитель; радуйся, Власие, великий чудотворче.

„Радуйся, Власие, лютые времена возродивший; радуйся, междоусобные смуты содетелю; радуйся, антихристова пришествия предтеча.

„Сего ради славим, хвалим, поем и величаем имя твое и непрестанно вопием: радуйся, Власие наш, предивный Тороповский чудотворче".

Председатель Тороповского волостного совета Власий Трошин сложил бумажку вчетверо и спрятал в карман.

Для него теперь сомнений не оставалось, что акафист сочинил поп. Повстречались они сегодня поутру, а поп так и колет глазами:

— Радуйся, радуйся, радуйся!..

Посмотрел так на Власия и отвернулся на сторону.

— Евонных рук дело,—сразу же подумал Власий.

Пока лишь оставалось загадкой, как мог проникнуть акафист деревню. Вдруг списали где-то ребята в тетрадки и разнесли по вс волости. А многие уж и наизусть затвердили. Не раз, идя по дереві Власий слышал вслед себе детские голоса:

— Радуйся, Власие, великий чудотворче!

Слыхал Власий, что мужики и бабы, собираясь по вечерам, люб послушать от ребят акафист.

— Ишь, ведь, што смастачили! Ровно тебе как по маслу. Власі то, поди, не любо? Хо-хо!

И все весело посмеиваются над „воителем". Только старухи, пр слушиваясь к чтению, становятся серьезными, точно в церкви, и н одобрительно взглядывают на смеющихся...

Досадно Власию на попа; до сих пор жизнь в Торопове тек тихо, мирно, без больших потрясений. Советская власть поддерж валась и руководилась солдатской организацией, именуемой попрос „клубом". Мужики этой власти пока верили, видя к ней полное д верие со стороны сыновей, вернувшихся с войны изрядно „обстр гавшимися".

В последнее время, когда клуб провел в председатели сове Власия Трошина, работа пошла еще быстрее. Не обходилось, конечн без недоразумений, без жестоких споров,—доходило однажды дело д свалки,—но тем не менее Тороповская волость считалась теперь одно из самых передовых и революционных в уезде.

Но чем дальше шла работа Власия, тем больше усиливалось с противление. И во главе сопротивляющихся стал тороповский по Не переставая обличал он „безбожных" в каждую обедню и едко вы смеивал при случае в частных беседах с прихожанами. За ним ста подаваться старики и старухи.

Не раз уже поднимался в клубе вопрос о зловредном поведені попа, не раз говорили, что не мешало бы его поучить, но пока вс откладывали. Все знали, что поп не из податливых. Тронь его,—н ведет шуму, не разделаешься скоро. И попа оставляли в покое.

Но сегодня, после утренней встречи, Власий твердо решил п вести борьбу, во что бы то ни стало, и для начала сообщил в горо что „оный поп Симонов являеется главный контр-революционер противник Советской власти и требует замены другим".

— На вот, получай!—сказал Власий, хлопая печатью.—Будешь меня знать воителя. Вот-те и радуйся!

II.

В те самые дни, когда взяли на учет у попа весь хлеб в амбар да, кроме того, за венец определили платить по три рубля без д

ренья, в разных деревнях вдруг накопилось трое покойников. Умер старенький Михей с Ченьги, за ним хворенькая ягодница, Фекола-бобылка и солдат Костя, что грудью с войны от газов болел.

Свезли покойников на погост, поставили гробы на паперти и пошли к попу.

Вышел поп, сердитый такой.

— А-а, тут и к попу! А на сходке так не надо попа! Не стану отпевать. Везите в Кокорино или на Тиманеву, — там попов свои не обижают, может те захоронят. Не пойду, не просите!

Позвали на крестины в Демниху—сказал:

Несите в совет, Власий вам окрестит.

Просили, кланялись, шептались с попадьей,—ничто не помогло.

— Судите сами, — жаловалась матушка, - выжили мы у вас без мала десять годиков, чуть что, — все к попу да к попу: „батюшко, пособи!“ А уж отец-то Никита никому-у не отказывал. Хоть все понеси. А тут, на-ко вот, хлебушко задумали отбирать. Ох, неблагодарные вы какие, не знали мы! Господь вам заплати!..

И попадья утирала обильные слезы платочком.

Так и не могли ничего сделать,—забастовал поп.

Донесли об этом в совет.

— Вот, ведь, окаянный какой,—высказался насчет попа Власий,— то был контр-революционером, а теперь саботажничать сдумал. Поглядим.

И тотчас было решено предложить попу выбираться из дому.

Спохватился-было] поп да поздно: на кухне уж дожидались трое солдат из клуба. Побежала по знакомым попадья, запричитала. И решили подгорянские бабы перевезти к себе попа, пускай живет пока что, а там видно будет. Не на улице же попу оставаться. Выслали подводы, сложили перины, цветы, фисгармонию и прочий скарб и обоз двинулся в Подгорную. Позади шла попадья, неся в правой руке две лампадки и благословенную икону, а левой прижимала к себе старого, тяжелого кота Филю, в сонных глазах которого светились и любопытство и тревога.

— Заплати вам Христос! Как знаете, так и живите!—горько шептала про себя попадья, роняя на дорогу слезинки.

Последним вышел из ворот поп. Молча снял шляпу и покрестился на церковь. Потом, приподняв подрясник, стал догонять возы.

И опустел поповский дом.

— А как же упокойники-то наши? Совсем ведь спортились?

— Сходили бы еще к попу-то.

— Да ходили уж.

— Ну?

— Уж всяко конались, — нет! Одно затвердил: не пойду и не пойду!

— Ат, соскало!

Снова пошли в совет. Потолковали с Власием, — ничего не выходит. Хороните, говорит пока так, поп потом уж отпоет.

Посудили—порядили, поахали и поохали, выругал, кто попа, кто Власия, на чем свет стоит, и решили хоронить без отпева.

Три тесовых гроба вынесли из церкви и поставили на приготовленные телеги.

— Ах, ты оказия какая! — удивленно почесал бороду старый Андреич, запирая церковную дверь на замок.—Без попа ведь и в самом деле?

За все свои двадцать лет службы церковным сторожем, он не был свидетелем таких похорон.

Привык видеть попа в старенькой черной ризе с серебряной звездой назади и в закапанной воском скуфейке на седой голове.

— С выносом, бачко, али так?—спрашивал обычно Андреич, готовясь раздувать кадило.

— Поднесут, так вынесем,—отвечал тот.

И приговаривал шутливо:

— Еще старичка схоронили. Наша очередь, Андреич, приближается. А, как ты думаешь?

— Наш, бачко последний черед. Опосля всех!..

Так с шутками да прибаутками и хоронили. И многих схоронили.

Привык Андреич видеть тесовые гробы, над которыми бачко жиденьким голосом выводит:

— „...яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем"...

Привык Андреич спокойно слышать бабий вой, когда струганая крышка гроба, ярко блестя на солнце, покачивается и исчезает в темной яме. Привык слышать, как гремит земля, дьячек поет „вечную память" и оглушительно чирикают воробьи на кладбищенской ограде. И старые березы шумливо качаются на ветру, и сизые струйки дыма разлетаются из кадила.

На все это привык смотреть Андреич со спокойной думой в глазах.

— Аможе вси человецы пойдем!

Так, значит, должно быть. От века идет так. И все хорошо. Смотрит теперь Андреич на вынесенные гробы и осуждение написано на лице.

— Как же так-то? Без попа! Нельзя так. Нехорошо, кабыть!

Народу сбежалось из деревни с полсотни. Все со страхом смотрят на гробы. Пять баб воют на разные голоса и эхо, чистое и гулкое меж двух церквей, вторит им на разные лады. И чужие бабы трут концами платков глаза и усиленно сморкаются.

Гробы привязывают к телегам. За порядком наблюдают солдаты из клуба.

— Трогай!

Что-то приключилось с передней лошадью: упрямится, не идет.

— Но, пошла! Но-о! Я т-те да-ам!

Сочно чмокают. Хлещут вожжей под живот. Лошаденка вдруг срывается и, круто повернув в сторону, несется на церковь. Упершись в стену, останавливается и нервно поводит ушами. Ее берут под уздцы и тащат в ворота.

— Молода еще, не объезжена, — говорит кто-то извиняющимся тоном.

Но бабы с суеверным страхом переглядываются. Вой и всхлипывания усиливаются. Андреич, покачивая головой, смотрит с высокого рундука и примечает:

— Не к добру это. Помяните мое слово, коли не так.

И, позвякивая церковными ключами, бредет в сторожку.

III.

В семи верстах от Осиновки есть глухое место в лесу. Давно, давно, расказывают старики, был мор на скотину. Почти в каждом дому по скотинке пало. И молебны служили и святой водой кропили, — все без пользы.

Приехал тогда барин из города, снадобья привез и приказал, коли еще у кого падет скотина, — не сдирая шкуры, должен увозить подальше в лес и закопать глубоко в землю. А не так, — приказ дал в тюрьму садить.

Возили мужики свою скотинку палую в одно место и закапывали. А зима пришла, — то ли волк, то ли другой какой зверь, откопал кости и растащил по лесу.

Теперь недоброй славой пользуется это место, — там „пужает" и „блазнит". Многие бабы обходом идут это место, потихоньку шепча молитву. И ребят малых дома пугают:

— Вот, снесу ужо на Кобыльи кости, да и оставлю одного.

„Кобыльи кости"—так называется по-сейчас это место. Стоят там высокие, косматые ели, широко протянули мохнатые лапы, точно не желая выдавать солнцу какой-то ревнивой тайны. А внизу в сумрачной тишине, точно белые камни разных форм, на мягком мшаном ковре лежат разбросанные кости. Омытые снеговыми водами и летним дождем, белеются они там и сям, а над ними грустно склонились такие странно бледные, лесные цветы. Все тихо в этой глуши. Лишь ветер, ровным гулом идущий по вершинам, донесет дальние грустливые зовы кукушки, да невидная птичка „топорок" в высоких вершинах заводит свое: „тюк-тюк-тюк"...

Шли однажды лесными тропками две молодицы, коров своих искали. Подойдут, остановятся и послушают — не бренчит ли где „боркун" коровий,—и дальше идут. Не слыхать. Не в болото ли только загрели коровы? Овода, мухи да жарынь,—как шальные стали коровы,

долго ли попасть в болотину. Все дальше в лес заходят бабы и ра говор промеж собой потихоньку ведут.

— Слыхала, Мань, што Семениха вчерась баяла? Страхи! На Реч у них, грит, пужать больно стало. Истинный Христос, хоть из дому выходи! Намедни вышла Марья-то,- сама знашь—Семенихе-то божатка будет, врать не станет Уж то верно! Это вышла Марья-то на г менник, думает соломы на подстилку взять А мужик от знашь, в сбивал ие: „вот, не нать, и не нать, не ходи"! Нет, не послушала, пошл Ладно, хорошо. Это связала она солому-то, закинула за плечи и домо А тольки идет она домой, как за Михайлов-то овин завернула, гляди а из подовинника-то, один за другим так и вылезают три упокойник что в четверток-от захоронили. Это лезут и кажный свою домовин на себе тащат!..

— Полно, девка, эко молоть-то!

— Право слово Марья та, знашь, бежать да бежать, всю солом дорогой раструсила. Прибежала это домой и здышать не може Теперя, как в себя-то пришла, кажную ночь, знашь, лампаду зажгет давай за упокой молиться. Страхи! Мне чего врать, Семениха сам сказывала. Ей врать тоже не велика корысть!

— Господи Исусе! Ох-ти мне, девка! Погоди, надо быть, наш рычит?

Остановились, послушали. Нет, тихо все. А в лесу уж темнет стало. Закатное солнце розовым светом заливает вершины и от этог темнее кажется внизу. Все засыпает на ночь в тихой умиренност Издали доносится откуда-то зазывное кукованье. Такое мелодическ заунывное. Точно грустит кто-то и тоскует, что день отошел и пог сают розовые светы вечера...

— Надоть не заблудиться,—темень зачинается. И куда это коровы то задевались? Может дома давно, а мы тут колобродим. Что и ест

— Самдел девка, нать не заблудиться. Ты гляди, где тропка-то

Остановились молодицы, осмотрелись. Не то тропка под ногами, н то хвои гладко насыпано. Посмотрели, - белеется что-то по сторонам

— На Кобыльи кости, девка, вышли! Господи Иисусе! Назад на доть! Да не шибко, девка, не поспею я за тобой.

Торопятся молодицы, одна другую обгоняют.

— Надо быть, девка, наши коровы тута рычат? Наш воркун-т бречит! Слушь-ко!..

Чудятся бабам знакомое мычанье, то спереди, то сзади, т совсем рядом, а остановятся, - тихо кругом.

Поблазнило.

И снова торопливо идут. Вдруг тропка свернула и круто пошл вниз. Бабы испугано остановились.

— Болотина там!

---

¹) Крестная мать.

И в глазах друг у дружки прочли одну догадку:

— Леший водит!

И вдруг показалось, что темнота стала гуще, а лес незнакомей и глуше. Страх взял баб.

— Побежим, девка, домой. Тут, надо быть, по леву руку мирощинские полянки пойдут. А там, как через три огорода перелезем...

— Господи Исусе! Што эко?

Треснуло что-то сбоку и гул пошел по всему лесу. Потом зачастило дробным стуком, точно чертил кто то палкой по частоколу. Ветер качнул вершины и заскрипели с разных сторон старые ели. Шумно встрепенулась одинокая осина, тускло серея стволом в сумраке, и долго еще боязливо шелестела листьями, точно страшно ей стало среди темных соседей. И опять все стихло.

— Говорила тебе—домой надоть. Нет, пошла! Лешак тя понеси!

— Соскало бы тебе язык-от! Тьфу ты, прости Господи, дура какая Засуны!

Шопотком побранились молодицы и пошли дальше. И вдруг совсем близко замычала корова.

— Наша телка ходит!

Впереди звякает „воркун". Кинулись туда. Перешли через дорогу.

— Это на мельницу дорога идет. На деревню-то прямо надоть.

— Пеструха, отпрусь, о-тпрусь, о-о-отпрусь!

Послушали, не откликнется ли Пеструха. Нет, только эхо стало перекидывать из конца в конец звонкий бабий крик.

И вдруг загудело снова в лесу. Как горохом посыпало частым стуком.

— Господи, Исусе! Гли-ко, девка!

Посмотрели и обмерли. По дороге на мельницу вскачь неслись три телеги. На телегах белеется что то... гробы! А ямщичают... они! Впереди на белой сидит — ноги свесил, старенький Михей. Вон, как нахлястывает!..

Не помня себя, кинулись бежать молодицы. Сучья больно царапают ноги, цепляются в волосы, хватают за одежду. Липкая паутина залепила глаза. Белеют вокруг кости, как снежные отзимки не стаявшие. И ноги сами бегут,—оглянуться некогда.

— Седатенькой-то за нами!

— Бежи ты, девка, не гляди, ради Христа! Ох, сердечушко-то выскочить хочет! Господи, милостивец!

Гонится кто-то сзади. Шибко так бежит, палочкой постукивает по деревам. А лес шумит и шумит...

Бежали молодицы до тех пор, пока не блеснул перед ними просвет.

IV.

В Осиновке смятение. Из уст в уста переходит рассказ, как неотпетые покойники опять привиделись двум бабам.

Пришли эти бабы вечор поздно и, отирая в кровь исцарапанные ноги, со слезами рассказывали по многу раз, как неотпетые носят свои гробы и не находят своей душеньке спокою, как Михей с Ченьги сердито гнался за ними с палкой.

Бабы стояли тесным кругом и сумрачно вздыхали, изредка вставляя свои замечания.

Ребятишки слушали с раскрытыми ртами, вытягивали шеи и замирали, бледнея. Смотрели в рот рассказывающим, ловя на лету каждое слово.

— Грех-от какой! Да как не с палкой-то? Не так еще нас надо!

— Уж заслужили, то верно!

— Да рази можно без отпеву-то? Што они, рази собаки? Как же?

— Грехи, грехи! Господи, помилуй нас грешных!

Скоро молва о случившемся докатилась до дальних деревень. Многие бабы приходили в Осиновку, чтобы самолично удостовериться, как старый Михей с Ченьги давил на Кобыльих костях молодиц,— такая дошла до них молва.

Осиновка—ближняя от кладбища деревня. Дорога к ней как раз огибает тот угол кладбища, где насыпаны три свежие могилы. И поздним вечером или ночью перестали осиновцы ездить этой дорогой. А объезжая делали с полверсты крюку.

И ребятишки заявили однажды, что на кладбище стало пугать. Ходили они туда за земляникой, смотрят,—под часовню ход прорыт— собаке пролезть — а там, точно кто дерево грызет. И ребята перестали ходить за кладбище по ягоды. Больше всего страшились они старого Михея с Ченьги,—вдруг привидится: как жив был, все бранил их за озорство, да батожком грозил. И с вечера забоялись ребята выходить на двор. Коли нужда случалась, начинали гнусливо тянуть:

— Мамка? Мамо? Пойдем!

— Куды опять?

— На дво-ор.

— На-ко, вот! Што ты, малой?

— Да бою юсь! Михей то как схватит! Ваське вон вчерась приблазнился, с коронами в хлеву ходит.

— Чист я беда с тобой! Ну-ко иди, Господи благослови!

Стали бояться и бабы,— вдруг блазна привидится. Устинье Белоушке как то всю ночь блазнило, что кто-то поколачивает пальцем, то в окно, то в двери. И бабы все согласились меж собой, что это душеньки неотпетых покойников требуют себе отпеву. Стали приставать к мужикам, чтобы попа позвать на кладбище и отпев сделать.

Где этако слыхано? Полноте-ко, Христа ради! Своего ума нет, дураков стали слушать. Не дураки разве? Чисто дураки! Побойтесь Бога то! Нечего тут говорить, нечего!

И мужики под дружным напором баб стали уступать. Собрались как то в одной избе и порешили подать заявление в волостной совет,

что, ежели покойники не будут отпеты, они, осиновские мужики, как ближние от кладбища, выкопают их из земли и бросят в болотину.

— Коли они православные христиане, пущай поп захоронит, а ежели собаки, из кладбища вон надоть.

Чтобы еще более обосновать свое заявление, мужики решили сослаться на баб и малых ребят, которые „пужаются" очень, да из дому боятся выходить.

И, порешив так, все успокоились.

V.

„Гражданам Осиновской деревни, Тороповской волости.

В ответ на ваше заявление об отпеве умерших на прошедшей неделе граждан, извещаем вас, что оный поп Симонов, как контр революционер, саботажник и враг трудового народа, согласно постановления волостного совета, уволен от занимаемой должности, заместитель каковсго не прибыл, но затребован нами через уездисполком. В чем и удостоверяем надлежащим подписом и приложением печати.

Председатель совета Власий Трошин.

Секретарь В. Дючков".

— Экая втора!—рассуждали осиновцы, разобрав полученную бумагу.

Ну, что тут станешь делать, скажи на милость, а?

— Беда! И поп есть, и неотпетые есть, и поделать ничего нельзя. Дело выходит оно... не знашь, ково и ругать надоть! А коли сам вдруг помрешь?

— Дело выходит оно... табак!

Особенно взбудбражились бабы. Тех бумажка за печатью ничуть не удовлетворила.

— И где эко слыхано, любушки!..—нараспев говорила Бегоушка осиновским бабам. Раз поп у нас есть, так и дело свое должен править. Чем он худой поп? Худа он нам не сделал, што зря говорить!

— Пошто худо?—поддакивали бабы.— Не ет!

— Я то и говорю. Вона сватья у меня, Анна то, боле недели, как парня принесла и окстить некому. Ходили к попу, а он и говорит: „не приказано, грит, мне теперя требы справлять". Баба то ревня-ревит, слезами заливается. Известно дело, коли помрет нехрещеный парнек-от кому грех на душу, как не бабе? Беда, вить!

— Ох-хо-хо! Господи, Господи!

Бабы сосредоточенно молчат. Слышатся тяжелые вздохи, кое-кто утирает глаза.

— Не бывало такой беды на веку!

— А хто виноват, как не солдаты?

— Все они!

— Пришли с войны и креста не знают. Бога совсем позабыли. Только смуту наводят, да народ разбивают.

— Все Власко у их, самой-то главной большевик!

— Все он виноват, дурак!

— На послезавтрей-то у нас, любушки, Вознесеньев день будет, а попу то, сказывают, и обедню не дает служить. Вона, до чего дожили!

— Поп-то, сказывают, вечор баял подгорянам, что, грит, вы меня приняли у себя, вам и служить буду. А другие, грит, пускай и так.

— Господи, Господи, до чего люди дожили! Ровно татары какие!

— Да хуже татар-то, ху-же! Татарины-то, сказывают, своего попа держат, не то, что мы,—сразу видать!

— Знамо дело!

И бабий разговор стал клониться к тому, чтобы пойти в совет и потребовать „ослобонить" попа. Пускай, как прежде, службу служит и требы правит.

— Не докуда терпеть-то станем. Чего они там расхаживаются, ничего и знать не хочут! Всема итти надоть. Не уйдем, а своего добьемся!

— Пойдем, девоньки. Всема, гурьбой!

— Добром не хочут,—все одно стеребим с их!

— Зовите баб, стучите под оконьем то!

— Заодно бы из других деревень народ захватить. Ребята, слышьте-ко, побежите, ну-ко, в Подгорную, зовите сюды баб. Да всех заворачивайте!

— Пошли, ну-ко! Господи благослови!

Человек пятнадцать баб двинулись по улице. Ребятишки с веселым криком кинулись вперед. Из всех домов повыскакивали бабы, кто с подоткнутым подолом, кто с ребенком на руках. С удивлением смотрели на возбужденные лица баб и спрашивали:

— Куды вы эк срядились?

— Пойдем—узнашь!

— Попа отбивать!

— Отпеву требовать!

— Клюку захвати!

Смех пошел в толпе. А она все росла и росла. Догоняли и присоединялись, на ходу повязывая голову.

— Ладно, идите!—напутствовали их мужики.—Шуганут вас там, как следует быть! Хо-хо!

А из толпы слышались хвастливые голоса:

— Не уйдем, покуль своего не добьемся. Все за одно! Добром не уйдем!

VI.

Перед большой избой с вывеской на углу „Тороповский Волостной Совет“ толпа остановилась и притихла. Собралось пятьдесят—семьдесят баб. Кой у кого в руках были кочерги, ухваты и палки.

В совете, повидимому, не были предупреждены об этом. Два молодых солдата стояли на крыльце и мирно беседовали, потягивая махорку. Они оторопело смотрели на баб и не находились, что сказать. Из толпы посыпались иронические замечания:

— Ишь, стоят покуривают.

— Дело делают!

— Вы зачем... кого вам надо? – спросил, наконец, один из солдат.

— Зови сюда председателя!

— Власейка подавай!

— Не то рамы бить будем!

В окне, заваленном извнутри бумагами, появилось чье-то недоумевающе встревоженное лицо.

— Пускай сюда выходит.

— Да вам зачем собственно?

— Не твое дело! С им разговаривать станем. Не с тобой!

Толпа настроилась угрожающе. Снова послышались выкрики:

— Власейка подавай сюды! Председателя! Не то в батожье вас.

А когда появилась на крыльце высокая фигура председателя, вдруг все смолкло. Он вышел, позабыв в руках изгрызенную ручку. Повертел ее и заложил за ухо.

— Вот я. Что вам угодно?

— А угодно нам, милой, вот... погодите бабы, не мешайте. Скажу сичас все по порядку. Хошь ты нас арестуй—не арестуй, а тольки нам все едино!..

Так заторопилась-было говорить от лица всех Устинья Белоушка но ее перебили сразу же несколько голосов.

— Зачем от нас попа прогонил?

— Он нам не худой был поп!

— В Бога ты не веруешь!..

— Еретик!

Бабы сдвинулись тесным кольцом вокруг. Председатель видел со всех сторон возбужденные лица, злые глаза, запененные рты кричащих. Видел, что кое-где поднялись палки, и беспомощно оглянулся.

— Гражданки, – крикнул он.—Гражданки, давайте говорить добром. Вас тут с сотню будет, а я один. Где мне вас перекричать? Я и понять-то вас толком не могу. Да скажите там, чтобы палки бросили, а то я и говорить не стану. Бросьте палки! Слышите там?

Окрик подействовал. В задних рядах, где возбуждение, повидимому, все возрастало, сразу затихли и палки опустились.

— Итак, насколько я вас понимаю...

Власий на мгновение остановился, а Белоушка тут же перебила его:

— Да как же не понимать-то, Христос с тобой? Люди померли православные, кабыть, а их как собак зарыли. Неладно, вить! Бабы тоже все ревмя-ревут,—робят окстить некому. И весь народ смутился. А поп в Подгорной без дела живет. Сам понимашь, непорядок!

— Вороти попа, пускай служит!

— Сами лучше уходили бы, еретики!

— Итак, гражданки... дайте мне сказать...

— Постойте, слушайте. Тише там! Чшшш!..

Бабы опять понемногу стихли. Забирали платок за ухо, чтобы лучше слышать, и напирали вперед.

— Погодите... да осади, вам говорят, али нет? Я говорю, не напирайте! Дело, значит, вот какое. Поп Симонов, как про его все знают, служит не Богу, а мамоне, или, как значит, своему брюху. Вот какое отростил пузо-то! Не Христос за им стоит, а сам сатана... с острогой...

Невообразимый шум был ответом на его слова. Замахали руками, полезли вперед.

— Стыда у тебя нет совсем!

— Да чего слушали-то дурака?

— Еретик ты, еретик!

— Ты бы эко никому не сказывал!

— Пузо говорит, а у самого-то!

— Рожа с плеч валится!

В общей неразберихе можно еще было расслышать слова председателя:

— Царя поминает... такого попа не надо...

Но это лишь подлило масла в огонь:

— При царе-то лучше жили, лу-учше!

— Только и спокою-то было. Не живать так!

— Да чего вы слушаете дурака? Заткнули бы хайло-то ему!

Стали напирать сильнее. Среди шума послышался еще раз окрик Власия:

— Не толкаться! Бабы!..

Потом вся его видная фигура вдруг покачнулась и быстро пошла книзу. Радостные голоса баб перешли в сплошной вой. Все полезли вперед, что было мочи.

Пыль поднялась клубами в том месте, где свалили председателя С руганью барахтался он на дороге, но десятка два рук крепко пригнетали его к земле.

И вдруг раздались усовещающие голоса:

— Што ты, парень, што ты! Што ты, христовенькой! Опомнись ты!

Потянулись руки и стали крестить председателя частыми мелкими крестиками. Крестили затылок, спину, даже ноги. И снова приговаривали вразумительно:

— Што ты, Власеюшко, што-о ты! Христос с тобой!

— Спрыснуть бы его надоть,—заботливо сказал чей-то голос.

В толпе протискивалась с ковшиком воды Устинья Белоушка.

— Не богоявленская ли?

— С уголька, Устиньюшка, надо бы!

Несколько ртов поочередно прикладывались к ковшику.

— Ну-ко, благослови Христос!

Стали вспрыскивать. Сразу взмокла спина у председателя. Вода текла по встрепанным волосам, грязноватыми струйками сбегая по налившейся к овью шее. А он дергался всем туловищем, стараясь освободиться, и грубая, злобная ругань разносилась по улице.

Мельчайшие брызги воды носились над ним, радужно отливая на солнце синими и зелеными огоньками.

И все еще чей-то голос убежденно говорил над ним:

— Приди ты в себя-то, христовенькой! На поправку это тебе.. водица святая!

VII.

Летнее утро, тихое и ясное, гляделось в окна, когда Власий Трошин проснулся. С недоумением осмотрелся и не сразу понял, в чем дело. На столе стояла пустая бутылка, две чайных чашки, деревянная солоница и, нарезанный толстыми ломтями, хлеб. На противоположной лавке растянувшись спал секретарь Васька.

Власий вдруг все вспомнил и решительно сел на лавку. Мучительная складка появилась в углу рта. Болела голова, болели бока от спанья на голой лавке.

— Васька, будет спать. Вставай, брат!

Васька не двигался. Власий перевел глаза на хлеб, облепленный мухами, и принялся шарить рукой под лавкой. Достал бутылку, встряхнул и посмотрел на свет. В мутноватой жидкости медленно поднимались пузырьки. Нервно двигая бровями налил в чашку. Прежде, чем выпить, подумал о чем-то. Потом, быстро запрокинув голову, в два глотка выпил, стукнул пустой чашкой по столу, и обильно сплюнул на сторону. Морщась выдохнул воздух, поднес кусок хлеба к носу и не торопясь закусил. В воздухе резко запахло хлебно-сивушным.

Все так же морщась, Власий вышел на крыльцо. Душным запахом цветущей черемухи и рябины ударило ему в нос. Он потянулся всем затекшим телом и полной грудью втянул воздух. Стало как будто легче.

Прямо перед крыльцом разметалась в белом цвету черемуха, в ряд с ней рябины и березы. Ветер ласково волновал ветви, уклончиво играя ими, точно стараясь заплести в косы. Солнышко тепло и ярко

светило, проникая в зеленую гущу листьев и светотенью переливаясь по частоколу. Пчелы жужжащим роем носились над черемухой. На соседней крыше с веселым чириканьем прыгали воробьи. Все жило радостным напряжением солнечного утра.

По дороге, подбирая юбки, шли бабы празднично одетые.

— Вознесеньев день сегодня,—вспомнилось Власию и неприятное снова подступило к сердцу. Он повернулся и пошел в избу.

Там сразу показалось темнее. Васька спал по-прежнему. Власий принялся тормошить его.

— Что? Кого?—сразу сел Васька и недоумело посмотрел на председателя.

— Выпей!

— Мм? А-а... налей! Чорт, как башка трещит! Наготово разломиться хочет.

Он сопя протер красные заспанные веки, почесал взъерошенную голову и потянулся к чашке.

Через полчаса они снова сидели, глядя друг на друга помутневшими глазами.

— В-ська, а Васьк! Выпьем,—ослабевшим голосом говорил Власий.—Вот! Сам знашь, каки порядки тогда были. Из казармы отлучаться и не смей! Р-разговаривать н-не смей! Н-ничего не смей!

— Знаю, брат, знаю, знаю!—слабо улыбается Васька.—Тоже сам солдат.

— Нет, ты не знашь! Раз писарь, значит, не знашь!

И Власий упрямо стукнул кулаком по столу. Васька кисло улыбнулся и замолчал.

— Дали мне тогда одну нашивку,— снова продолжал рассказывать Власий,—поставили на отделение ефрейтором. Придет это бывало на занятие ротный.—„Ты чего брюхо распустил? Кто у тебя отделенный? Ефрейтор Трошин? Поди-ка сюда, ефрейтор Трошин!" — „Чего изволите, ваше благородие?"—„Ты, сукин сын, будешь у меня за солдатами смотреть, а? Смотри у меня,—одну нашивку тебе дал, а сорву. Дождешься у меня!"—„Виноват, ваше благородие".—„Пшел, скэтина-а!." Так вот и растягивал завсегда: „скэтина-а". Ну, перед им м лчишь, да и отделению своему ни слова. А они, брат, видят, как я за их терплю. И вперед уж сами завсегда подтянутся. Лю-убили меня ребята!.. А кто с солдатами дружно жил, тому за это вторую лычку не пришивали, брат.. да!

— Ну, ладно, ладно. Ты не смотри,—пей. На ко, проглони!

— Потом девять месяцов на фронте, под Сморгонью стояли. Сколько народищу ухлопали,—страсть, а я вот жив остался. Не убит, не ранен. А... вот, погоди, покажу тебе...

Власий растегнул ворот гимнастерки и нагнулся.

— Тяни за рукава.

Стянул засаленную нижнюю рубаху, обнажив поросшую волосами грудь. Повернулся к собеседнику.

— Видишь?

На мягкой части предплечья синел глубокий шрам. Вниз от него до самого локтя рука казалась точно высохшей.

— До самой кости. Из пулеметика. Это, брат, в октябре месяце Москва дала знать. Выбили мы на Никитской белогвардейцев из окопа, а они давай по нас из пулемета жарить. Рядом со мной солдатик был.—курлыкнулся, смотрю, а у него кровь из роту льет. А тут и меня рвануло. Кабы на четверть поправее, так и смертушка бы тебе тут!..

— Пей, не гляди!

Пили, закусывали и снова пили, пока не опьянели окончательно.

В таком виде застал их председатель клуба, франтоватый солдат из писарей.

— Здрасте, товарищи. О, да у вас тут пировля идет! Товарищ председатель, я к тебе с делом.

Власий, пошатываясь, поднялся.

— А?.. Што такое?

— Вчера, на общем собрании товарищей солдат обсуждался об вас происшедший инцидент и единогласно вынесена нижеследующая резолюция...

Писарь говорил это нараспев, привычным тоном докладывающего подчиненного. Порылся в записной книжке и стал читать:

— „Мы члены солдатского клуба Тороповской волости, собравшись на экстренном собрании и, обсудив вопрос о происшедшем инциденте с председателем волостного совета товарищем Трошиным, единогласно постановили: во-первых, выразить свое глубокое порицание, вследствие насилия, учиненного с товарищем Трошиным, считая, что в нем оскорблена вся Советская власть, во-вторых, признать действия фанатически настроенной толпы гражданок деревни Осиновской контр-революционными и привлечь зачинщиков на революционный суд и, в-третьих...“

Тут писарь споткнулся и откашлялся. Затем раздельно, неторопясь прочитал:

— „...и в-третьих, выразить глубокоуважаемому председателю совета Власию Андреевичу Трошину наше сочувствие и пожелание успехов в деле укрепления Советской власти. Да здравствует социалистическая революция! Долой контр-революционеров“!

Писарь спрятал книжку за пазуху, сделал шаг вперед и, сменив тон, закончил:

— Разрешите, товарищ председатель, пожать вашу уважаемую руку. Наша организация вас завсегда поддержит, об этом можете быть уверены.

— Вот што, М...миш-ша,—качнулся в сторону писаря Власий.— С-скажи ребятам, штобы шли с...самогонку пить. Все, кто х-хочет!

Миш-ша, друг! Я р-работник хороший... то все г.. говорят, а... а у в
н-не могу. В город меня зовут... на пр...правах коо-птации. Понимаеш

— Напрасно, Власий Андреевич.

— Погоди. Ты ничего н...не знаешь. Я тебе сичас ппок-каж
Тяни з-за рукава! Гляди!

Власий вставил палец в темнокоричневое углубление шрама и чувством ударил себя по груди.

— Во! Видал! Эт-то, брат, все за их! А они р...разве што понимают? А мне это обидно... вот как обидно! И не м-могу я у их больше не м-могу!.. Жгет! Понимаешь?!.

Власий хрипло выкрикнул последние слова и посмотрел на писаря долгим мутным взглядом. Потом опустил голову на руки и сто зашатался от затрясшегося в рыданиях тела.

В раскрытое окно, вместе с душными запахами черемушного цвета, ветер принес радостные волны колокольного звона. Колокола по-прежнему уверенно выговаривали: „и родится—пригодится, и помрет—не уйдет". И чудилась притихшему Власию в этом колокольном говоре злорадная насмешка над всей его работой, точно кричал ему кто-то, показывая язык: „радуйся, радуйся, радуйся!.." И снова затрясся расшатанный стол под тяжестью рыдавшего Власия.

Секретарь Васька, сидевший напротив, долго смотрел на голые плечи председателя, точно обдумывая что-то. Потом перевел взгляд на писаря, стоявшего в сторонке с соболезнующим лицом, и, указывая глазами на свободную чашку, сказал вполголоса:

— Долбани!

VIII.

— Кажись, лучше бы в огонь пошел, чем здесь остался. Право тяжельше нету!

Власию опять вспоминалось, как два десятка рук крепко пригнетали его к земле и увещевающие бабьи голоса раздавались над ним и вода щекотными струйками бежала за воротник. Вспоминалось все ярко, как будто это было вчера. И тяжелое чувство обиды поднималось вновь со дна души и мучило всего.

— Нет, не могу!—решительно выговорил он.

Приехавший из города агитатор настойчиво убеждал его остаться.

— Нельзя так, товарищ Трошин! Коли ты партейный сознательный работник,—что ты должен сделать? Ну, бабы тебя обидели,— верно, так они же и бессознательные. Кроме горшков да ухвата, что они видели? Да они и хорошего-то слова не слыхали на своем веку. Ты на их не гляди. Теперь, скажем, уехал ты отсюда,—что они скажут про тебя?—„А, скажут,— наша взяла!" И над Советской же властью подсмеиваться станут. А теперь, скажем, остался ты в председателях,— какая штука отсюда получается? А?!

Агитатор хлопнул по плечу понуро сидевшего Власия и с увлечением продолжал:

— А вот какая! И бабы, да и весь народ сразу увидят, что не испугался ты, и на ихнюю темноту не изобиделся нисколь. Но нет, наоборот,—стоишь за власть нашу рабоче-крестьянскую еще крепче, и вперед стоять будешь так же, и не свалить тебя никому. Тут-то и смеяться на тебя перестанут, как увидят это. И получается отседа то, что наша опять высока стоит. И вперед уж тебе они завсегда верить будут. Оставайся, друг, сурьезно тебе говорю!

Власий молчал. В глубине души он чувствовал, что прав этот агитатор, простая, ясная речь которого так хорошо ложилась на душу, успокаивая боль. Но все еще сильна была нанесенная обида и воспоминания о ней стояли не тускнея.

— Кажись, легше было, кабы мужики, али - ну, там—свои ребята такое сделали, а то бабы!—пожаловался он еще тихо.

- Понятно, понятно, друг!—все увереннее убеждал Власия агитатор.— Не ты, брат, первый, не ты и последний. А я-то как? Да меня однова на митинге, в Двинске еще дело то было,—так накокали, что я три недели после на перевязку ходил. Да это, брат, что! Бывает и хуже. Такое уж наше дело. Какой ты и большевик, коли тебя еще не били— вот что ты мне скажи!

Агитатор весело и бодро засмеялся и опять крепко похлопал Власия по плечу.

И Власию вдруг стало лучше. Он встряхнул головой и тоже улыбнулся.

— Значит, уговорил?

— Что же... еж ли я партейный...

— Ладно, уговорил! Ну сегодня мы сговорим еще наших ребят, а потом, как я объеду соседние волости,—на обратно и сходку устроим. Идет, что ли?

— Идет!

И Власий крепко пожал протянутую ему руку.

Вечером у солдат в клубе было собрание. Мужиков и баб туда не впускали, а окна в клубе были закрыты. Любопытные льнули к окнам, но ничего разобрать не могли. Видно было, что все говорил приехавший „оратель“, а солдаты слушали и покуривали. Не то бранил он их, не то учил чему то. И долго хлопали они ему под конец и еще долго говорили о чем-то.

А расходились по домам, когда в деревне уже ложились спать. И хвалили очень приехавшего солдаты:

— Хошь и наш брат, рабочий человек с фабрики из Питера, а уж говорит!.. Кого хошь заговорит. С им лучше и не спорь!..

Разнесли солдаты по всем деревням листовки да книжечки тоненькие,—получили от приехавшего питеряка. Показывали всем и важно говорили непонятное слово:

— Нужно всем нам ли-те-ра-ту-ру читать. Эх, хорошие эти книжки!..

Уже под самое утро, проходя мимо клуба, видела одна из баб в окне, как встрепанный агитатор обнимал пошатывающегося Власия и говорил ему долго о чем-то и целовался в губы крепким долгим поцелуем.

IX.

И совсем неожиданно тороповскому попу пришло повышение. В соседнем Тимачевском приходе умер священник.

Приход этот считался завидным, так как там лежали мощи преподобного Варсонофия, на поклонение которому в летний праздник стекались со всех сторон тысячи богомольцев.

К этому дню варились там пива, пеклись пироги. Съезжались на ярмарку торговцы.

У попа в этот день собиралось много гостей из города и окрестных деревень. Весь день в доме звенели чайной посудой. Попадья сбивалась с ног, бегаючи из кухни в кладовую, или на погреб. В маленьком зальце весь день гулко покрякивали дьяконские басы. Разряженные поповны поминутно выскакивали на балкончик, чтобы посмотреть на гуляющих. А вечерами все гости собирались в беседку и пели старинные семинарские песни, вроде „Дубрава шумит", „Дай, добрый товарищ" и др.

Завидное там житье попу. Служи, знай, молебны угоднику. Приход богатый, таких и в губернии мало.

— Ну, попадья, Бог нам милости видно посылает,—сказал поп, узнав об этом из письма своего старого приятеля, соборного ключаря.

Ключарь писал:

„Будучи поставлен в известность из письма твоего, бачко, о многих печалях и скорбях, не щадящих даже седин твоих, я весьма тебе посочувствовал. Что же делать, друже,—гонения эти от властей предержащих сказываются нисколько не менее и здесь. Поистине, от первых времен христианства не упомнит многовековая история столь трудных времен для достояния Божия. Страшно и подумать, что будет дальше. Уста пастырские заграждены, а слова богохульные и антицерковные раздаются беспрепятственно во все дни. Но уповай, друже, памятуя каждодневно и ежечасно, что сказано нам о вратах адовых.

„Спешу поставить тебя в известность, что владыка, узнав о злоключениях твоих и проявленной твердости духа, положил резолюцию о назначении твоем на освободившуюся вакансию в Тиманевское. Владыка при сем присовокупил, что мало у нас истинных пастырей осталось, кои, не опасаясь последствий, пасли бы жезлом железным вверенное им стадо, и пастырей таких необходимо впредь отличать.

„Сообщая тебе о столь лестном мнении владыки, спешу поздравить и заочно облобызать тебя, равно как и матку твою со всеми чадами и домочадцами.

„Остаюсь—присный богомолец твой и друг, смиренный иерей Василий".

— Ну, спасибо, спасибо, друг, за добрую весть!—смущенно бормотал тороповский поп, перечитывая письмо.

Весть о переводе попа Никиты скоро разнеслась и по деревне Власий, узнав об этом, сказал только:

— Пущай съезжает. Там его наши возьмут в работу.

А потом еще добавил между дел:

— Ненавижу я эту породу.

В скором времени поп выехал в Тиманево. А через несколько дней приехал и заместитель.

Это был совсем молодой, еще бездетный попик. Повел он себя сразу же тихо. Служил службу и в проповедях говорил только о небесном, не вмешиваясь в мирские дела. А в свободное время копался на огороде, или гулял с попадьей в лесочке, за церковью. Знакомства заводить в деревне избегал. Вообще, был незаметен и безобиден.

И Власий решил пока что его не трогать. А однажды был очень удивлен, увидев нового попа в совете. Поп пришел попросить газет.

Власий даже в тал от удивления.

— Вам, извините, каких?.. Видите ли, у нас большевицкие одни...

— Все равно, какие есть,—сказал поп и, получив пачку газет, торопливо ушел.

— Чорт!.. А, видали?—обратился Власий к солдатам.—Ну, брат, и и поп! Пускай почитает, как их в „Бедноте" трясут. Хо-хо!..

А поп с этих пор стал каждую среду посылать в совет кухарку за газетами, исправно возвращая прочитанные на другой же день.

X.

Высокий крутой берег. Стройные темные ели наверху, и среди них старинная, почерневшая от времени, церковь.

Далеко уходит в сизые дали Лойма. Была она когда-то глубока и многоводна, а теперь везде желтеют отмели. Только боры сохранились тихие, вековечные. Тянутся вокруг на сотни верст. Да озера лежат в глубоких лесных ямах светлыми зеркалами.

Сюда, в этот дикий богатый край направилась некогдаповольница новгородская. Не сиделось дома непоседливым Васильям Буслаевичам. Некуда было девать силушки молодецкой.

„Напущались" они скуки ради „битися дратися" на весь родной Новгород и жестоко поколотили „мужиков новгородских".

А уж мужики покорилися,
Покорилися, помирилися...

Покорили они и этот край, обложили чудь белоглазую данями да оброками на вечную покорность Господину Великому Новгороду.

Быть может, под этими высокими берегами бороздили воду легкие ушкуи повольников, быть может эту старинную церковку выстроил какой-нибудь богомольный воевода.

Смолоду бито много, граблено,
Под старость надо душу спасти-ть.[1]

Рассказывают, что один из повольников, боярский сын Васька, срубил здесь себе келейку малую в глухом лесу, выкопал колодчик, и жил так до старости, приводя чудь белоглазую в Христову веру. А к кончине его выстроилось еще несколько вокруг для приходивших на „послух". Устроили тут трудники варницы соляные, церковку срубили и украсили иждивением людей торговых. А приумножи ись богатства и другую воздвигли. Прознал еще в то время про монастырь московский царь и пожаловал ради благочестия своего окрестных крестьян-смердов триста душ с женишками и детишками и земли пахотной и поскотины и лесу велел отвести вдоволь. И обо всем этом боярину Василию—в те поры монатейному иноку Варсонофию—собственноручно государь отписывал, а в жалованной грамоте его государевы грехи отмаливать наказал.

И, ради тех грехов государевых,—скоро засиял на высокой горе монастырь золотоглавый. Обнесли тогда себя монахи срубом двойным, высоким, деревянным с бойницами по углам,—далеко на все стороны видать.

Дожил инок Варсонофий до глубокой старости. А как умирать стал, так перед смертью принял схиму, так в ангельском чине и умереть сподобился.

И пошла о нем вскорости слава на всю округу, как о чудотворце великом, и слава та дошла даже до Новгорода Великого. И многие, умирая, стали вклады богатые делать на помин души. Разбогател монастырь в те поры. И, как гласит летопись,—оскудела тогда вера среди монахов. В бездельном житии предавались они пьянству и сваре, ходили в посад к „зерщикам" и жили в кельях с женками и ребятами открыто.

А в смутное время, узнав про монастырские богатства, пришла с Москвы воровская шайка. Весь день гласит предание, бились монахи на стенах, под вечер открыли ворота. Их всех зарубили тогда воровские люди, а монастырь ограбили до тла и сожгли.

Только говорит молва народная, что спрятано все добро монастырское было в землю и воры ушли ни с чем. Годов десять тому назад приезжали из города люди, доискивались, где тут клад зарыт. Посверлили землю щупом в разных местах, а ничего не нашли. Но деньги старинные часто из горы, вместе с мертвыми костями, высыпает,—ребята находят.

---

[1] Новгородская былина „Василий Буслаевич".

Уж после, много лет спустя, выстроил городничий один церковь деревянную высокую в том месте, где мощи преподобного Варсонофия под спудом лежат.

Сказано есть в житии, что по архиерейскому указу приезжали один раз попы поднять честные мощи и в особо устроенную раку положить. Уж докопались и до гроба „гораздо благоукрашенного“, но, коснувшись его заступом, пали все мертвые. И с тех пор почивают мощи под спудом в правом приделе. Поставлена над ними рака серебряная, бородатого старца изображающая. И припадают к ней день и ночь богомольцы, молят о здравии и за упокой, и о плавающих-путешествующих и о изобилии плодов земных.

Сюда-то и перевел архиерей тороповского попа в отличие всем другим.

По переезде вскоре призвал к себе поп Никита дьячка „Аминя Мокрыча“, как называли школьники Вениамина Марковича, и узнать поспешил, сколько тут есть большевиков, и как они себя проявляют, а затем сел писать проповедь на счастливо подсказанную другом ключарем в письме тему:

— Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю.

И в заключение краткое приветственное слово прихожанам с бодрым вызовом к тем из них, кто дерзнул бы на пастыря своего:

— Господь заступник мой,—кого убоюся!

XI.

Первые же шаги попа Никиты в Тиманеве вызвали раскол среди прихожан.

К обедне послушать нового попа собралось народу полная церковь. Молодежь, редко бывавшая в церкви, на этот раз „обтирала косяки“ спинами, как выражались старухи.

Перед причастьем поп вышел на амвон с проповедью. И под конец, сурово глядя поверх очков на толпу посмеивавшейся молодежи, стал он говорить о развращении молодых людей, забывших ныне страх Божий, не почитающих ни родителей, ни старших себя. Кряду рассказал о прочитанном в газете случае, как солдаты, возвращаясь с фронта, вытолкали на ходу из вагона старушку, которая обратилась к ним со словами укоризны, и старуха та попала под колеса...

Поп умел действовать на сердца. Под конец его рассказа почти все бабы плакали навзрыд, а старики и мужики слушали, хмуро и напряженно сдвинув брови.

Не дождавшись конца проповеди, молодежь шумно повалила из церкви.

— Ничего птичка!—высказался веснущатый рыжий парень,—председатель Тиманевского совета.—Хорошо поет, куда сядет!

Он сразу почувствовал в священнике серьезного врага и был несколько смущен. Предстояло повести борьбу. Ведь так этого оставить нельзя. И нужно было показать, что он не трусит.

Уселись под старыми елями и закурили.

— Ну и зловредная попалась нам божья дудка!—снова повторил председатель. Ребята, надо, видно, и нам раскачиваться. Спускать попу не годится. Нынче с ними разговор один: не скыркай, не то по загривку получишь!..

Нехотя посмеялись. Что и говорить, поповские слова всем пришлись не по душе. Но заводить свару никому не хотелось. Может, в самом деле лучше не трогать. Но ведь и поп-то, видать, не из таких, которые бы сами в задор не лезли. Нет, видно, без борьбы дело не обойдется, как не обошлось и в Торопове.

Сидели так, развалясь в тени, и молча покуривали. Затенькали колокола и повалил из церкви народ, а они все так же продолжали лежать в сторонке и даже против обыкновения не отзывались на сердитые замечания старух.

И когда под конец вышел сам поп, никто из них не встал и не вынул цыгарки изо рта. Наоборот, вслед ему было брошено несколько едких словечек. Поп сделал вид, что не заметил, и прошел мимо с высоко поднятой головой в черной старенькой шляпе.

И это настроило молодежь пуще давешней проповеди. Точно прорвало их: шли по дороге и все бранились на попа. Кто-то даже пригрозил выбить стекла.

И действительно, через неделю среди бела дня чей-то увесистый камень выбил стекло в большом „итальянском" окне поповского дома.

XII.

„Протокол общего собрания Тиманевского прихода, состоявшегося после святой литургии под председательством священника местной церкви о. Никиты Симонова, в числе 45 человек.

„Слушали доклад того же священника Симонова о повсеместно развивающемся неверии, последствием коего является упадок доброй нравственности, ведущий в свою очередь к развалу семьи—основы современного общества, всеобщему озлоблению и другим гибельным последствиям.

„В целях ограждения себя и своих домочадцев от вышепоименованной заразы, постановили открыть при церковном совете братство ревнителей веры православной, усвоив сему имя божественного покровителя нашего преподобного Варсонофия и поименовать братство Варсонофиевским. Приурочить открытие названного братства ко дню храмового праздника.

„Цели братства:

„1) Воспитание и укрепление членов братства в духе православной

церкви, путем устройства чтений и собеседований и распространения книг и брошюр духовно-нравственного содержания.

„2) Ограждение и поддержание добрых обычаев и навыков среди членов братства.

„3) Заботы о благоукрашении святынь.

„4) Моральная и материальная поддержка сочленов и вообще дела благотворительности.

„Имея в виду то обстоятельство, что Тиманевский приход, где почивают нетленные мощи преподобного,—справедливо является духовным центром для всего уезда, деятельность Варсонофьевского братства отнюдь не должна ограничиваться пределами Тиманевского прихода. Ввиду чего предложить церковным советам других приходов поддержать сие начинание учреждением местных отделов братства с однообразными целями.

„Членами-учредителями состоят священник церкви Тиманевского прихода Никита Симонов и ктитор той же церкви Лука Егоров, внесшие на необходимые нужды братства единовременно по сту рублей.

„О всем вышеизложенном постановили довести до сведения его преосвященства, через посредство уездного благочинного".

Когда протокол этот попал в руки председателю Тиманевского совета, тот несколько раз под ряд перечитал его. Проникнуть в тайный смысл поповских крючковатых каракуль стоило ему больших усилий Председатель долго шевелил губами, вчитываясь, и морщил веснущатый лоб. Угроза со стороны попа почуялась ему нешуточная.

— Поп шебаршит опять,—сказал он озабоченно вошедшим солдатами.—Смотри, что устраивать стал!

И он перечитал им протокол об учреждении Варсонофиевского братства.

Долго обсуждали солдаты поповскую затею.

И—раз дело касается не одной Тиманевки, а и всего уезда—решено было войти в связь с соседними волостями и в первую очередь с Тороповской.

И неожиданно руководительство в борьбе снова перешло в руки Тороповского клуба с Власием Трошиным во главе.

— Ну, погляди-им! —протянул тот, и в голосе его послышалась угроза.—Поглядим, чья теперь возьмет!

Вечером же в Тороповском клубе состоялось закрытое совещание совместно с Тиманевскими делегатами.

И по предложению Власия решено было брать быка за рога в самый Варсонофьев день, когда там соберутся богомольцы со всего уезда, вскрыть мощи, чтобы показать перед всем народом поповский обман.

План был задуман смелый, времени оставалось мало, а потому рано утром на другой день Власий уехал в город за советом.

(Окончание следует.)

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То наверно был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
— Ничего. Я споткнулся о камень.
Это к завтраму все заживет.

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг,
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
— Ничего. Я споткнулся о камень.
Это к завтраму все заживет.

С. Есенин

* * *

Синь туман в снегах упругих,
От полозьев свист и хруст.
Катит заяц от испуга,
Придорожный бросив куст.

Сзади вьется свиток пышный,
Чаши пенные вина—
Ничего кругом не слышно,
Звоном даль занесена.

Эх, вы кони, вихорь кони,
Колокольцы под дугой,
Утопите сердце в звоне
В этой шири голубой!

Рвите грудью ветер в клочья,
Пой, серебряный песок.
Знать, с тоской, как вечер с ночью,
Подружился паренек.

Иван Ерошин.

* * *

Земная светлая моя отрада
О, птица золотая—песнь,
Мне ничего, уж ничего не надо,
Не надо и того, что есть.

Ах, знаю, знаю, знаю, что обманут
И что обманешь ты еще не раз,
И в сумраке потухших глаз
Черты чужие вспыхнут и завянут.

Мне лишь бы самому любить и верить,
Лелеять в сердце грусть и дрожь,
Что с птицы облетевшие жар-перья
Ты не поднимешь, не найдешь.

И что с тоской ты побредешь к другому
Искать обманчивый удел,
А мне бы лишь на горький след у дома
С полнеба месяц голубел:

Ведь так же будут плыть туманы за ограду,
А яблонные платья цвесть, —
Поверь же, друг, мне ничего не надо,
Не надо и того, что есть...

С. Клычков.

* * *

Опять, опять родная деревенька,
Коса и плуг, скрипун-отец и мать;
Не знаешь сам, пройдет в работе день как,
И рано лень как по-утру вставать.
Гляжу в окно за дымчатые прясла
И глаз от полусонья не протру;
Река дымит, и розовое масло
Поверх воды лоснится по-утру.
Уж младший брат в сарае сани чинит,
За летний зной обсохли переда,
И словно пена в мельничной плотине
Над ним журчит отцова борода:
„Немного седнясь только хлеба снимем,
А надо бы тебя пора женить".
И смотрит вдаль: за садом в синем-синем
С гусиным криком оборвалась нить.
В уме считает, сколько ржи и жита
И загибает пальцы у руки,
А яблони из рукавов расшитых
За изгородку кажут кулаки.
„Дорога, видно, на зиму захрясла,
Как раз Покров-то встретим на снегу".
Гляжу в окно,—за дымчатые прясла
И долго оторваться не могу.

С. Клычков.

и крас-

ına.

Деревня.

Весенний день. Теплом ленивым парит.
Трава на солнцепеке зеленеет.
Работают в деревне. В кузне варят
Колеса под телегу. Дым, белея,

Струится в синь. Приятно в нос ударит
Здоровый запах дегтя. Пламенеет
Раздутый горн, и ароматы гари
Смешались с терпким, резким духом клея.

В пруде плескаются, взмахнув крылами,
Гусыни-гоготуньи с гусаками.
На выгон видно ясно и далеко:

Там бабы белый холст кладут рядами,
А на лугу, как вихрь, несутся скоком
Два стригуна с пушистыми хвостами.

П. Радимов.

Недавние дни.

А. Аросев.

(Окончание.)

Глава VII.

Ленин.

Из аппаратной, где хрипели Юзы и Морзе, Ленин прошел в свой маленький кабинет. Сел в кресло и мелким бисером на квадратике бумаги написал:

> Феликс Эдмундович, я согласен. Договоритесь окончательно с Яковом Михайловичем. Необходимо: 1) проделать всю операцию в кратчайший срок, 2) о деталях условиться с военными властями, 3) провести это завтра на Полит-бюро.
>
> С коммунистическим приветом Ленин.

Нажал кнопку. Вошел секретарь—молодой рабочий с простым и строгим лицом. Ленин сам запечатал записочку и передал ее секретарю. Потом, через другую дверь, вышел к телефонной будке. Говорил с Арзамасом. Слышалось только: „А что? Allo! Центр города еще в наших руках? Что в наших? Там Розегольц? Слышу, слышу. Центр еще держится? Рабочие вооружены? Allo! С какой стороны? Лаишева? Хорошо. Звоните еще часа через два. До свиданья".

И опять через свой кабинет прошел в аппаратную, где хрипели Юзы и Морзе...

А в Лаишеве уже вешали „за большевизм", расстреливали, топили, пороли, отрубали уши...

А в Казани в номерах бывших Щетинкина по коридорам подходили друг к другу, советовались, как быть со штабом и золотом. Одни терялись. Другие ободряли.

А с Порохового, Алафузовского и Крестовникова заводов двигались темно-синие колонны рабочих к Казанской крепости.

И в Нижнем-Новгороде собирали огромные „Ильи Муромцы" для полетов над Казанью и Самарой.

А у Московского Совета на площади стоял полк рабочих и красармейцев, готовых к отправке на фронт и ждущих Ленина.

Звонили ему по телефону, он обещал „сейчас“ и не ехал. Андронников, который отправлялся на фронт во главе этого отряда, взял автомобиль во дворе Московского Совета и переулками, чтоб не расстроить ряды полка, выехал в Кремль.

При самом въезде в Кутафью башню он чуть не столкнулся с автомобилем, в котором на правой стороне, привалясь немного к боку, в угол, сидел Ленин в помятой черной шляпе. Увидев Андронникова, Ленин в момент перекинулся на другую сторону автомобиля и крикнул:

— Вы за мной? Я еду, еду.

Автомобили разминовались, но Ленин задержал свой, и Андронников, догнав его, пересел к Ленину.

Андронникову нравилось это песчаного цвета лицо, эти морщины, расходящиеся от носа, словно высеченные по камню, эти зрачки и черные и огненные.

В общем, лицо такое простое. Если бы не глаза, то даже скучное. А в глазах есть противоречие: они и добрые и строгие, но под добротою и под строгостью где-то глубоко таится смех. Такой веселый, солнечный, как у пана. Впрочем, этого Андронников не сознавал и сейчас особенно был далек от того, чтобы ощущать что-либо подобное. Но это самое: и доброта, и строгость, и смех, и ум, сливаясь вместе во что-то особенное и вместе с тем простое человеческое, кружилось, навевалось вокруг Андронникова. Этим особенным и простым человеческим Ленин словно обнимал Андронникова.

Вот отчего Андронников всегда становился втупик, когда его спрашивали: „А каков Ленин сам по себе?“

Помятую шляпу свою Ленин прихлопнул на самые уши, чтоб не сдуло и опять погрузился в правый угол автомобиля.

— Как по-вашему, возьмут Казань или нет?—спросил он Андронникова.

— Едва ли, удержим,—ответил Андронников.

— А как настроение?

— Да у нас хорошее настроение. Ребята понимают опасность.

Ленин сразу насторожился: прищурил немного левый глаз и приподнял правую бровь. Немного вбок, подставляя правое ухо, наклонился к Андронникову: если Ленин слушал, то всегда весь без остатка.

— Понимают,—говорил Андронников,—особенно рабочие. Впрочем, теперь и красноармейцы.

— А как относятся к созданию большой армии, настоящей?

— Хорошо, ведь без этого не обойтись.

Автомобиль с переулка въехал во двор Совета.

Ленин из автомобиля, по привычке своей, словно вырвался: вбежал по лестнице и промелькнул в комнату президиума. Андронников не поспевал за ним.

Потом они оба вышли на балкон. Андронников был торжественен. Голубые глаза его блестели, все черты лица, слегка потемневшего от

бессонных ночей и голодовки, стали более определенными и напряженными. Новая кожаная куртка „на рыбьем меху"—военная обнова,—облегала его непривычно, неуклюже, но так блестела! Так хорошо, по-новому охватывала плечи, руки, грудь! И в душе Андронникова было большое обновление. Все вещи и люди пред ним были уже другими: свежими и новыми.

Рядом с ним стоял весь горячий „Ильич" и, перегибаясь через перила балкона, поворачиваясь немного вправо и влево, произносил речь. Говорил, исторгая слова из самой глубины своей сущности, отчего и звук голоса был сочным, налитым той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные. А попадет это слово в сердце, раскусишь его, в нем ядрышко. И от этого горячего Ленина, от его изборожденного песчаного лица, от простых глаз, не то огненных, не то коричневых, от всей его плотной фигуры, на Андронникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческому, по родному. Будто это старший брат его.

Среди речи Ленина, Андронникову ударило вдруг в уши: „Дьявольски трудное дело управлять страной"... Неужели мы с ним и еще такие же управляем страной?—подумал Андронников. И вот такой, коричневый пиджачок на Ленине, помятая шляпа. А—власть! Все этакое родное, свое—и власть! Вспомнил Андронников, что металл так плавится: сначала горячий, мягкий, послушный ударам, согласный руке. А выплавится—станет холодный, режущий, всегда мощный, непобедимый. Вот и власть так родилась из огня, из горяча. Потом охлаждается, чтобы быть непобедимой.

Ленин давно уже кончил. Говорил кто-то из полка, а в голове Андронникова все вертелось: „непобедимы, мы, мы, мы—непобедимы".

Тем временем на площади уже скомандовали строиться и уходить. Андронников, немного растроганный, взволнованный, сел в свой автомобиль.

— Товарищ, спросил его шоффер,—а что, как Владимир Ильич, вообще, так вообще, человек какой?

— Как и все: обыкновенный.

— Нет.

— Почему же „нет"?

— Да потому что нет!

Вечером у приятелей гор. района были проводы Андронникова.

За грязным медным самоваром, пыхтящим посредине двух сдвинутых ломберных столов, сидело человек восемь. Был тут и Голубин, простой русский рабочий, был сам хозяин квартиры, типограф, сгорбленный, бледный, с клочковатой растительностью в разных местах исхудалого лица и его жена, бледная женщина с черными глазами как уголья, всегда веселыми, дразнящими. Тут же сидел Резников. На кушетке развалились двое: один неопределенного возраста, еврейского

типа, немного раскосый, немного грязный и поддергивающий брюки обоими локтями рук, рядом с ним латыш с грустными глазами и с правильно скучным лицом, как большие камни мостовой. Это тот самый, который освобождал генерала Самсониевского. Первый, грязноватый, держал латыша за обе пуговицы пиджака и, казалось, для вящшего доказательства собирался нырнуть головой ему за пазуху. Немного боком к ним сидела стриженая девица в синем платье и синем пенснэ, Несмелинская. В отдалении, хихикая неизвестно от чего жались друг к другу две блондинки, почти девочки, работницы; у обеих подвязанные веревками мягкие туфельки, выкроенные из старой юбки.

Посреди комнаты прохаживался Бабаев в черной рубашке, одна рука за поясом, другая в глубине косматого затылка. Поодаль от стола, ближе к окну, молча и сосредоточенно возился Бертеньев; он старался извлечь из угла, заваленного старыми книгами, сапогами, двумя винтовками и еще какими-то ремнями,—похороненное там пианино.

Когда Андронников вошел, Бабаев говорил: „Все это так, но зачем же опять протекция, волокита... А-а!.. Михаил Иванович. Наше вам! Вместе видно поедем?"—обратился Бабаев, увидя Андронникова.

— Нет, брат,—опять начал Бабаев, обращаясь к хозяину квартиры, типографу, - суть в том, что мужичок не дурак и понял, кто против него, и понял большевиков.

— И видать, что здорово понял,—возражал бледный типограф,— коли на Сухаревку с мешками едет, да еще какой?—самый беднейший.

— Не в том суть! это по нужде, а не по душе. По душе он с нами, а по нужде мы сами не с ним и неумело подошли к нему.

— Все „неумело". В семнадцатом году слезные прокламации ему писали, подвозите мол к станциям хлеб, умираем, а он к нам спиной. „Неумело", скажешь?.. Потом стали собирать—прячет, опять должно быть „неумело". Что не делай ему, все „неумело" будет. Бледноликий типограф махнул рукой, не желая дальше спорить—„себя расстраивать". С малых лет он в городе, в типографии. И отец его тоже не выходил из московских подвалов. Поэтому типограф не долюбливал крестьян. Бабаев же, бобыль и бродяга, в жизни своей сталкивался беспрерывно с мужичком, находил в нем отзвук и братское отношение, поэтому загорелся весь:

— Неосмысленности ты говоришь. Как буржуй рассуждаешь или помещик. Ну, разве это коммунизм в таком рассуждении? Мы с тобой без крестьян ничто... Понял?!

А от дивана, где сидели двое, слышен был запальчивый голос, в котором было много задорных ноток:

— Совнарком, конечно, не что иное, как пролетарский совет министров.

— Тогда Ц И. К.—парламент,- отвечал латыш.

— И парламент и не парламент, надо мыслить диалектически. Мы марксисты...

Между тем, Бертеньев, Андронников да еще присоединившийся к ним Резников выволокли пианино из под всякого хлама, обтерли пыль, от которой чихнули поочередно две жавшиеся друг к другу девушки.

— Я верю только в Ильича! После Брестского мира я приобрела к нему необычайную веру, - проговорила девушка в синем пенснэ, Несмелинская, сидевшая на ручке дивана.

— Ильич?! Никто не говорит про это,—отозвался Андронников.

— Да уж и защитника крестьян нельзя отыскать большего, как он,—вставил Бабаев.

— Вот именно,—согласилась Несмелинская.

- Да только он их защищает особенно, с рабочей стороны он к ним подходит,—заметил Андронников, который пыхтел на четвереньках, поправляя педаль пианино.

— И совершенно верно... Вот что я могу рассказать вам, ребята,— Бабаев почему-то перетянул пояс потуже, разгладил пятерней лохматую бороду, колупнул еще раз в своем затылке, крякнул.—Ммда!.. Вот написал я раз к Ленину письмо. Не так, мол, надо подходить к крестьянину. И все, значит, по порядку ему изобразил. И то и это, и то и это, и все такое. Неправильно, мол, ты немного, Ильич, и так и далее, и так и далее. Прошло уже много времени. Перед самой моей поездкой на фронт, пошел я к Ленину. Тем наипаче, что мне было дано ответственное задание по части полковника Муравьева. Ммда! Пришел я к нему. Говорит он со мной о том, о сем, а о письме не напоминает. Что, думаю, за оказия! А у меня на конверте и расписка его есть Неужто, думаю, не читал?—Нет, наверно, мол, забыл, делов много. Неловко это мне маленько. Тем наипаче, что я там подробно о продовольственном деле писал. Выбрал я минутку среди разговора да и спросил: „А что, Владимир Ильич, получили вы мое письмо?"—Он за столом посредине, я немного сбоку. Как он это сразу повернулся ко мне всем корпусом, кулаки в боки упер, а лицом-то ко мне близко-близко перекинулся через кресло, перекосился, знаете, как всегда на один глаз.—„Получил", говорит.—И откинулся опять назад, про другое ведет разговоры. А про письмо ни гугу. „Постой", думаю. Опять я выбрал минутку, и осторожно:—„А вы... того, мол, читали?" Опять одним глазом прищурился, другим как стрельнет.—„Читал", говорит, а сам опять о другом. Ничего, видно, не поделаешь. Не хочет говорить. Потом стал прощаться. И все: „товарищ Бабаев", да „товарищ Бабаев".—Видать, что-то еще хочет. А я ничего. Схватился уже за ручку двери, хочу отворить. Он меня за руку—„Знаете,—говорит,—товарищ Бабаев; если вздумаете, что написать буду рад. Ваши письма мне передадут прямо. Пишите обязательно. Распрощались по-хорошему. Вот ведь какой он. Значит понял, что я ему дело писал.

Бертеньев опытной рукой попробовал клавиши на пианино и заиграл. Вся комната осветилась сразу, словно двойным светом.

„Управлять" значит—„Рука с рукою, мысль одна",—подумал Андронников под звуки волнующей его музыки. „Все выше, все выше", твердил он сам себе неизвестно о чем.

А звуки лились, словно радовались своему воскресению из хаоса.

„Все смелее, смелее", твердил про себя Андронников неизвестно почему.

А за окном, не закрытым занавесками, притаилась тихая, черная московская улица. Тихая, черная, как лихая изменщица.

— Трррр, трр...—как бешеный ворвался телефонный звонок во все уши.

Андронников сидел близко к телефону.

— Слушаю,—сказал он.

— Где, в Басманном?—спросил он, встрепенувшись и побледнел.— А-а. В Замоскворечье, у Михельсона?.. Сейчас еду.

Оборвались звуки музыки, звуки слов. Оборвались мысли и чувства.

Андронников, нахлобучив фуражку, впопыхах успел только сказать:

— Ленина... стреляли...

Глава VIII.

Борьба.

„Как проклятая оглушает,—рассуждал Фаддеич, лежа на Услонской горе вниз лицом, головой к Волге.—И откуда она плюется,—рассуждал он про пушку. — Должно быть за дров. ми спрятана. На Устьи-то дрова шпалерами лежат. В аккурат для артиллерии".

И видит своим одним глазом Фаддеич, как с верху Волги идет маленький буксирный пароход. Медные перильца его палубы блестят на утреннем солнце, как венки икон. И на буксире за собой тащит он баржу, которая купается в волнах Волги, как сыр в масле.

„Это баржа Сережа,—подумал Фаддеич,—должно быть, ахнет сейчас".

Баржа Сережа, действительно, окуталась дымом.

Фаддеич подумал: „Как это гора-то не разломится".

И тишина с безоблачного неба спустилась на Волгу. Золотое торжественное солнце блистало в небе, как бриллиант в синей оправе.

А Фаддеич все лежал, давя тощим брюхом сочную траву, и устремлял свой глаз вниз на капризную, блестящую синеватой чешуей Волгу.

„А трава-то, трава-то—аромат зеленый. И откуда это земля произрастает все?" проносилось в голове Фаддеича, пока солнце ласкало его лысину мягким едва ощутимым теплом. Фаддеич помаргивал своим

одним глазом похожим на непотухший огонек в поле. Два берега. Здесь — красные, там — белые. А Волга их . деляет, и Фаддеич один между Волгой и солнцем высоким в синей порфире. Волга бурлацкая, кулацкая, сизая, пьяная. Солнце — ясное, тихое, Фаддеич одинокий одноглазый, непонимающий и растерянный. „С народом надо быть", думал он „А где народ?" „И там и тут народ. Надвое он сейчас. Непонятный, смутный народ. Только небо ясное, как порфира синяя. И земля—аромат зеленый".

Встать хотел Фаддеич и не мог. Только мял сочную траву тощим животом своим. Глянул-было на солнце одним глазом своим, да опять лбом к земле приложился. Лысину и шею его целовало теплыми губами золотое солнце. „До чего аромат". „Вот кабы все так: лоб, брюхо, да земля, а более бы ничего. Не надо бы город с башней Сумбеки и село Услон с церковью, как навозной кучей, прикрытой зеленым колпаком. Небо — бесконечно синий Бог и все. Просто, а понять людям трудно. Потому, как истуканы. Им поклонялись, от них и научились истуканству".

Фаддеич перевернулся на спину. Итти ему было некуда, не к чему да и опасно, потому что всякий встречный спросит:—ты чей? От Услон-горы или от Казань-города? Белый или красный?

Солнышко идет по небу, как дозорный с золотым щитом по синему ковру. В ушах только от полноты воздуха „ж-ж-ж" да кое-где кузнечик побалует травинкой и аромат зеленый—кругом, кругом.

Эх, ты Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Разгуляй-ка ты, родная,
Думы парня дурака.

Издалека услышал эту песню Фаддеич. И только что услышал, как песня оборвалась. Это из окраинной избы Услонского села вышли двое солдат. Они ночевали в избе. Там пахло чем-то прелым и сырым. Такой запах всегда бывает ближе к осени, тогда изба—похожа бывает на внутренность гриба.

— Не ори, душегуб!..—добродушно заметил высокий белый, борода лопатой, солдат Бакин своему приятелю Клопину, маленькому и кряжистому, любившему петь.

И оборвалась песня.

— Ах, со стариком-то не попрощались! Занятный старик. Вернемся в избу!—заметил низенький, кряжистый.

И оба вернулись в избу проститься со стариком крестьянином, приютившим их на ночь.

Когда они снова входили в избу, старик, спустивший с печи тонкие как жерди ноги, обвертывал их в онучи. И опять чем-то прелым ударило в нос вошедшим.

Две бабы - одна старая, другая молодая—ставили на стол деревянное блюдо, чашки, самовар. Возились и что-то мяли в корчаге за

печкой. Когда окна избенки содрогались от снарядов, молодая приговаривала:—„Ахти Господи“, а старая—„пресвятая заступница“!.. Старик же осенял себя крестом и говорил: „не бойсь, не бойсь, бабы“.

— Проститься, дедушка, пришли к тебе.

— Ну, ну, сынки, спасибо. И старик, не обув еще лаптей, спрыгнул с печки.

И Бакину и Клопину старик этот очень нравился своими рассуждениями, которые они вели „вечор до-поздна“. Кроме того Бакин был не прочь еще раз „зыркнуть“ жадными глазами на молодуху-вдовицу с которой он перед рассветом успел улучить минуту во дворе, под навесом, где блеяли овцы и пахло сеном и тишина ночная, легким теплом отрываясь от земли, прощалась со всем земным, и с Бакиным, и с молодой бабой. А в свежем предутреннем ветерке дышал на них бог Ярило пьянящим дыханием.

Поэтому не смел теперь Бакин долго смотреть на вдовицу, а только изредка метал глазами.

— Добровольно служишъ?—спросил старик Бакина.

— По воле,—ответил тот.

— Мы по воле,—прибавил кряжистый.

— Вот оно что.. И хорошо. У меня тоже сынок добровольно... Да под Пензой, чехи да словаки долго жить ему приказали.

— Не ча, не ча, старина, тужить,—поспешно ответил кряжистый, боясь, чтобы старик, как вчера, не впал в очень длинные, чувствительные рассказы.

— И не тужу, оттого, что за землю. Ежели поближе подойдут да в нашу деревню придут, я, хотя и старик, да и много нас, стариков-то, прямо чем попало царевых детей бить будем.

Ударил снаряд.

„Ахти Господи!“—шепнула молодая. „Пресвятая заступница!“—прошамкала старуха. „Не бойсь, не бойсь, бабы, по-делом ему, басурману, не отымай землю“.

— Правильно, отец,—сказал Бакин.—Одначе, прощай.

— Почеломкаемся, старина!—и кряжистый обнял старика и троекратно ткнулся с разных сторон ему в бороду.

Бакин же почувствовал большое смущение и как бы стыд и поэтому ткнулся в бороду старика торопливо и повернулся к выходу. Простились и с бабами

Старик проводил их до дверей.

— А вот ты,—обратился старик к Бакину.—Ты, видать, в Москве будешь апосля войны. Скажи там Ленину, мы, мол, всем народом, т. е. услонские мужики крестьяне, мы его в поминальну книжку записали. Поп те не знает.

— Э, что там поминанье твое,—ответил Бакин. — Сам плох—не поможет и бог. А мы вот помянули его вот этим,— и он показал на винтовку.

В словах этих у Бакина потонуло все его смущение, потому что ему самому слова эти понравились.

Во дворе оседлали они своих лошадей и поскакали в гору.

Фаддеич слышал, как по горе проскакали на лошадях. Не видно их. Только земля задрожала под затылком Фаддеича. Фаддеич привстал и увидал, как заклубилась легкая пыль, пропадая в кустах.

Загудела артиллерия с той и с другой стороны. Над Волгой опять скрестились параболы снарядов.

А на Услонском взгорье стоял лысый, седой Фаддеич, глядя одним глазом в ту сторону, где исчезли всадники, а другим—дырой иссохшей—в самого себя—внутрь. В правой руке его съежилась шапчонка, а в левой, как свеча перед Богом, покоилась сосновая палочка.

В селе, где стоял штаб, Андронников узнал, что дела складывались неважно.

Штаб занимал большой помещичий дом. Во всех комнатах шла лихорадочная работа. А на верху, в антресолях дома совещались, спорили и перекорялись. Мимо дома проходили толпы красноармейцев, побросавших позиции у берега Волги, под ураганным, неприятельским огнем. И тут же в штабе, как раз где спорили, на антресолях, Андронников заметил молодую женщину, но лица ее видать не мог, ибо она как будто нарочно отварачивалась от Андронникова. Одета она была по-боевому:—солдатская гимнастерка, защитная юбка, желтые сапоги и фуражка с поднятым козырьком. Курила махорку по-мужски. Волосы ее были стрижены клочками, видно на-спех. А глаза... не разберешь: уж больно вертит своим лицом. Однако, для Андронникова было в ней что-то знакомое, например, манера курить и эта вольная размашистость.

Вечером при свете свечей, эта самая женщина стала угощать всех чаем и булками.

— Молодец Маруся,—сказал про нее кто-то.—И когда это она все успевает сорганизовать.

— Хорошо вам расхваливать меня, когда сами завтра покинете нас...—ответила Маруся.

— Тсс. Тише. Не вслух.

— Пустяки, здесь штаб.

— Стены. И стены с ушами. Это ведь фронт.

И от этого разговора что-то неприятно опасливое прокралось в душу Андронникова, как вор ночной. Андронников наклонился к уху соседа:

— А что, разве она здесь остается?

— Да, для разведки в глубоком тылу противника.

Ночью Андронников ушел на позицию. С рассветом началась легкая перестрелка. Часам к десяти чехо-словаки и офицеры, осыпая

позиции красных частым огнем, готовы были броситься в атаку. Андронников знал о решении штаба сдать эти позиции, но увлекся боем, загорелся вместе со всеми жаждой победы и бился. Бился вместе со всеми до 3-4 часов дня, когда сверх ожидания неприятель отхлынул и красным нужно было подтянуть небольшие резервы, чтобы перейти в контр-атаку и, может быть, даже смять противника. Не теряя времени, Андронников поскакал в штаб, пользуясь наступившим временным затишьем на позициях.

К вечеру Андронников прискакал в село, где помещался штаб, но штаба уже не было. В штабе никак не предполагали, что натиск неприятеля будет сдержан.

Утомленный, словно пьяный, Андронников проходил комнату за комнатой в том доме, где был штаб.

Спускаясь с антресолей, он встретился с Марусей, и опять она отвернула лицо свое.

— Воды... Нет ли испить у вас?—просипел Андронников.

— Есть, есть, как же Может, и закусить хотите?

Не успел Андронников ответить, как вбежали еще двое красноармейцев, один маленький, кряжистый из тех, которые во всех артелях слывут запевалами, другой высокий, здоровый, бородатый с голубыми грустными глазами.

Последний, увидав Андронникова, подбежал к нему:

— И вы... И ты... Вот где... Вместе...

Тем временем Маруся принесла чаю, блинов и деревенского пива.

— Вы... Ты.. ты... вместе,—бормотал опять бородатый мужик, хватая Андронникова за плечи и руки.

Между тем низенький коренастый красноармеец, не обращая ни на что внимания, усевшись за стол, стал глотать блины.

Голубые грустные глаза бородатого сияли радостью. И на мгновенье, которое было и которого не было, Андронников почуял себя будто во сне: все что то знакомое и что-то страшное, чужое.

— Я эс-эр из отряда Попова...—говорил бородатый...—Помните, вы меня арестовали на Мясницкой.

Да. Теперь Андронников вспомнил его: это тот самый, который и на улице и на допросе ратовал „за вольные советы" против коммунистов.

— Вон что: теперь видно союз,—сказал Андронников.

— Теперь я за вас. Ведь я крестьянин. Ежели союза промеж нами не будет, генералы одолеют нас... Ты, видно, из того отряда, что от Волги до перелеска. Та-ак. Ну, а мы рядом с тобой, шабры [1]). Я сюда для связи в ваш штаб и прискакал.

— Да, а штаб-то от нас ускакал. Давай, двинем вместе в деревушку N,—может, он там.

---

[1]) Шабры—значит соседи.

— Валим. Только дай малость подкрепиться: все время в боях и все голодные.

— Ну, ладно. Только моментом, моментом и на лошадей.

С жадностью и торопливостью стал мужик уписывать блины, а Андронников обжигался чаем.

Маруся же приносила еще и еще стопы блинов.

И всякий раз Андронников пытался заглянуть ей в глаза, а сам все думал: там бой—тут блины. Вчера здесь штаб—сегодня Маруся. И раз, когда Маруся ставила на стол блины, Андронникову удалось заглянуть ей в глаза. А глаза-то у нее раскосые...

И неестественная, адская тревога запала в душу Андронникова.

Улучив минутку, отозвал он в сторону бородатого красноармейца:

— Знаешь что, товарищ... товарищ...

— Бакин—моя фамилия,—подсказал Андронникову бородатый.

— Товарищ Бакин, ты помнишь Мясницкую?

— Ну, да.

— Так вот, сейчас придет девица, „Маруся" ее зовут. Гляди на нее в оба. Потом скажи мне.

— А что?

— Ничего. Только гляди, а потом скажи мне.

Но не пришла больше Маруся. Низенький, коренастый красноармеец пошел уже седлать лошадей, а Бакин с Андронниковым пошли по комнатам искать Марусю.

Дом был „господский" и много в нем было разных комнат и переходов. В огромном зале высокие зеркала и белые колонны, уже затертые солдатскими локтями и спинами. На некоторых стенах надписи углем или карандашом неприличного свойства. В одном углу на короткой колонке маленький амур, которому кто-то подрисовал усы. Отсюда через открытые двери соседней комнаты была видна кухня. Там Маруся и еще каких то три женщины, видимо прислуги, были заняты печеньем блинов. Маруся, раскрасневшаяся, с размашистыми манерами безрассудно решительного человека месившая в корчаге тесто, была похожа на молодую ведьму, готовящую зелье.

— Видишь?—спросил Андронников.

— Кажись, та... Она...—ответил Бакин и двинулся было по направлению в кухню.

— Ты молчи. Если ты теперь с нами, молчи,—сказал Андронников, схватив Бакина за рукав его грязной гимнастерки и быстрыми шагами входя с ним в кухню.

— Вы остаетесь здесь, товарищ Маруся?—сказал Андронников.— Это хорошо. А мы уходим.

— Э...а...Э...—что-то хотел сказать Бакин.

Андронников наступил ему на ногу до боли. Бакин прикусил язык.

Маруся скользнула из кухни.

Андронников, держа все время Бакина за рукав, последовал за ней. Второпях шепнул Бакину:

— Точно, узнал!—Это она?

— Что-то сумление напало, как будто и она... а при таком случае, сумление...

— Ты понимай: ведь при штабе была. А теперь в тылу врагов остается. Если же она та, из правых эс-эров, то враг ведь наш. Понимай. Израсходуем, что ли?

Бакин последнего слова не понял и спросил:

— Чего?

— Ну, хоть один патрон...

— А как не та?

— А если та?

В окно, которое выходило во двор, мелькнуло круглое лицо Маруси.

Андронников и Бакин теперь уже оба держали друг друга за руки, как бы этим физическим способом старались один другого удержать от колебаний. Так, оба сомневаясь, они выбежали за Марусей во двор. И тут один из них уже решился...

— Маруся...—крикнул Андронников,—испить на дорогу-то... Испить дайте.

Маруся быстро обернулась и пошла к ним.

Едва она переступила на крыльце три ступеньки, как Андронников, оттолкнувшись от Бакина, быстрым движением вынул Маузер и пустил одну пулю в спину Маруси прямо против сердца.

Марусе показалось, что сначала ее кто-то легонько ущипнул сзади, а потом толкнул сильно сразу и в грудь, и в живот, и в голову. И упала она навзничь в разверстую черную пасть русской печки, глянувшей на нее из-за спины годов, из того времени, когда русская печь хотела ее поглотить, да волки помешали. Вот теперь шлепнулась она в эту пасть на кучу мягких, горячих как кровь, блинов, разбрызгавшихся под ней.

Кряжистый красноармеец бросился на выстрел.

Бакин подошел, заглянул в лицо убитой и с легкой дрожью в голосе сказал:

— А ведь это она. Она самая. Вижу теперь...

— Кто она?—спросил его низенький товарищ, Клопин.

— Да ты не знаешь. Настасья Палина. Вроде, значит, за шпионство...

Андронников, Бакин и третий спутник разыскали поздно вечером штаб.

А под утро, туда, где лежала еще не убранная убитая, пришли офицеры. Бравый полковник низенького роста распорядился:

— Выбросить эту красноармейскую бабу куда-нибудь.

Прапорщик, служивший раньше старшим околоточным, желая выслужиться, осмелился предложить:

— Господин полковник, разрешите тщательно обыскать убитую.

И обыскал. Ничего не нашел. Впрочем, воротник у гимнастерки показался ему немного твердоватым на ощупь, как будто там бумага шуршала. Распороли. Оказалось коротенькое письмо одного эс-эра, который уведомляет Палину, что Савинков предполагает быть в Казани, что с делом, которое взяла на себя Ройд-Каплан [1]), торопиться не следует, так как Савинков по прибытии в Казань предпримет против штаба Троцкого не менее значительный шаг, чем то, что поручено Ройд-Каплан, и что оба эти акта должны быть совершены приблизительно одновременно.

Поспешный и услужливый прапорщик уже писал рапорт—как раз на том столе, где еще вчера сидели Андронников и Бакин. Рапорт гласил, между прочим, следующее:

„...при этом мною обнаружено, что труп видимо принадлежит нашему элементу, а не к большевикам, что вполне ясно из прилагаемого при сем письма в размере одной четверти листа, из которого вытекает, что означенный труп есть эс-эрка и секретный агент этой партии, а также и господина Савинкова, способствовавшая нашему делу борьбы с большевиками и в частности по убийству Ленина...“ и проч.

Основание: распоряжение полковника N.

Приложение: одно письмо в размере четверти листа.

Подпись: Прапорщик Бултышкин.

Бумага эта, помеченная боевым лозунгом: „Совершенно секретно“, восходила от начальства к начальству. А пока что: „белые“ газеты уже печатали:

Дикие расправы большевиков.

„Большевики расстреливают всех, кто не хочет с ними уходить от народной армии. Так, недавно (число и год) во дворе, где стоял большевистский штаб, была зверски заколота солдатами неизвестная девушка, которая по темноте своей была вовлечена в большевизм, но прозрев, наконец, не захотела дольше с ними оставаться. За это палачи штыками изуродовали ее“.

Настасья Палина была схоронена на красивом взгорье и даже отмечена крестом—шест с покривившейся поперечиной.

Одинокий, одноглазый Фаддеич проходил этим местом через несколько дней. Солнце угасало и была тишина. Он остановился. Перекрестился. Перевязал травинкой покривившуюся поперечину креста и сел возле могилы.

[1]) Ройд-Каплан стреляла в Ленина.

Был такой тихий вечер, когда душа ничего не просит. Ничем не волнуется, как озеро лесное, в котором отражаются поникшие белые березы. Когда не знаешь, живешь ты или нет.

Сделал Фаддеич маленький венчик из желтых цветочков. Повесил на крест. Постоял, моргая одним глазом, как одинокая первая звезда в небе. И ждал: не выкатится ли слеза из окаменевшей дыры—засохшего глаза. Но не выкатилась. Сухая душа: вспыхивать еще может, а исторгнуть слезу—бессильна.

Поклонился Фаддеич в пояс кресту. И тихим шагом побрел дальше, пробираясь в Сибирь, к бегунам: не разыщет ли он там опять своего брата во Христе, Парфена.

Глава IX.

Вчера и завтра. Снова борьба.

Андронников сидел в своем кабинете.

Весеннее солнце смотрело в огромное окно и любовалось обстановкой кабинета. Все было в нем в стиле Людовика XIV, если не считать стоящего в углу американского стола тов. Несмелинской—личного секретаря комиссара,—которая находилась сейчас внизу в кладовой, чтобы следить за раздачей селедок, каменнообразного мыла и незажигающихся спичек. Правда, в кабинете был и еще один дефект: кресло, может быть от стыда, повернутое спинкой к публике и загруженное папками с надписью „Дело“, при помощи чьего-то перочинного ножа было лишено узорной шелковой обивки. Может быть, это „обрезание“ кресла произошло до того, как его перевернули и загрузили бумагами, а может быть—оно последовало уже после, когда кресло было загружено бумагами и, следовательно, исчезновение обивки могло пройти незаметным. По этому делу работала сначала правомочная комиссия, потом полномочная комиссия. Ни та, ни другая виновных не обнаружила. Дело было передано в бюро ячейки, которая в свою очередь передала в участок, участок в район, район в М. К., М. К. в Ч. К., Ч. К. в Уголовный розыск, который также виновных не обнаружил.

И кресло стояло, как сфинкс, затаив в своей материальной душе этот роковой секрет.

Андронников рылся в портфеле, туго набитом бумагами. Но та пустота, которую он ощущал в желудке, мешала работать. Словно он со дня рождения не ел. Насколько был полон портфель, настолько пуст желудок. Он взял вчерашние „Известия“, ибо сегодняшние получались только после 12 час. дня. В отделе „Извещения“ прочел имена товарищей, „мобилизованных М. К. для сегодняшних митингов в районах Москвы“. Там он нашел имя т. Резникова и свое. „Опять. Ну, что я буду говорить?“—подумал он. И вспомнил, как вчера был по пору-

чению М. К. на собрании рабочих электрической станции около Большого Каменного моста.

Электротрест постановил слить правления Электрической Станции 1886 г. (что у Чугунного моста) с электрической станцией у Большого Каменного моста. Рабочие заволновались. Рабочие как дети, у которых хотят отнять их собственную дорогую игрушку, говорили: „Кто же спас нашу станцию, когда кругом все расхищали". „Я вот, например,—говорил изъеденный оспой рабочий,—вместе с Макар Иванычем, да с Федюшкой перекатили трубы от ворот в сарай и заперли. Опять же оборудование на станции. Нешто не мы все вместях за этим глядели? Кабы не доглядели, так теперь может и станции бы не было. И вдруг отдай ее в чужие руки. Нет, это братцы никакая не централизация, а просто охмурение рабочего. Не согласны мы".

Андронников глубоко вздохнул. Собрал силы. Старался вспомнить все, что надо и стал говорить. Не вязалась речь. Побойчее из числа покорных задавали вопросы простые и практические. Например: „а если новое правление потребует наши трубы туды передать, что же, значит отдавать им?"—„Отдавать или не отдавать?"—мучительно бился этот вопрос в голове Андронникова. Это кровное, родственное отношение рабочих к орудиям их труда было глубоко понятно Андронникову, но Электротрест...

— Нет,—решил он,—не пойду сегодня на митинг.

А апрельское лучистое солнце смеялось в окно и дразнило соблазном.

Нажал кнопку Андронников. Вошел курьер, ободранный малый в засаленных, зеленых обмотках и ботинках. Лицо у малого было в веснушках и истощенное. Выражение глаз безразличное.

— Секретаря Управления,—бросил Андронников. Малый повернулся и вышел, хлюпая отстававшей подошвой от правого ботинка.

Слышно было, как, выходя из двери, малый столкнулся с каким-то просителем, рвущимся к Андронникову. Произошел короткий, но крепкий разговор. Уборщица Лукерья загородила собою дорогу к комиссару, а малый пошел за секретарем.

Потом слышал Андронников, как малый возвратился и опять сел у двери на табуретку. А секретарь все не шел. На столе тикали покривившиеся часы, которые и могли ходить только, когда криво висели. А секретарь все не шел. Опять нажал кнопку Андронников. Опять вплыл в комнату малый в своих ботинках-лодках.

— Что же секретарь?—спросил Андронников.

— Они продукты получают в кладовой.

— Так сбегай в кладовую.

— Бегал.

— Ну, и что же?

— Их там нет.

— Так ведь ты же говоришь, что он продукты получает?

— Здесь в нашей кладовой только селедку да мыло дают, а соль и фасоль, как ответственным, выдают на складе № 2. Через три квартала отсюда. Может, сбегать?

— Нет, не надо. Зови помощника.

Опять пропал малый. Кривые часы все тикали. А солнце шло к веселому весеннему полдню. „Наверное, жаворонки прилетели",—подумал Андронников.

Вошел помощник секретаря. Причесанный и приглаженный, как фигура, сорвавшаяся с вывески парикмахерской. На ногах „галифе", какие не снились, вероятно, самому генералу Галифе. И высокие до колен желтые ботинки на шнурках.

— Дайте телефонограмму.

— Хорошо.

Раздался телефонный звонок.

— Алло... Кто его спрашивает?—говорил пом-секретаря. Потом закрыл разговорный рожок:—Какой-то Бабаев, вас спрашивает.

— Хорошо. Алло, Андронников у телефона. Тов. Бабаев, здравствуйте!

И слышит, как Бабаев ему говорит:

— Слушай, Андронников, как бы мне тебя повидать. С полчаса тому назад был у тебя, да твои церберы не пустили.

— А в чем дело?

— В чем дело?.. Да... ни в чем. Понимаешь, на душе накипело... Обо всем бы поговорить... О положении. Я недавно приехал с фронта.

— Та-ак... Хорошо... значит о положении?!

— Ну да,—вообще, знаешь, душой поделиться, душой. Больно уж много новых кругом... Не понимают... Удели часок...

— Ча-сок. Да ведь я очень занят.

— А вечером-то.

— Срочное заседание в ПУР'е.

— После ПУР'а.

— После? ну ладно, приходи 2-й Дом Советов. Да, знаешь что, окажи товарищескую помощь; ты свежий человек. Съезди сегодня на митинг в Сокольники. Я там должен быть,—да понимаешь ли, Пур этот самый. Согласен? Ну, вот хорошо. Я сообщу в М. К., что ты будешь вместо меня. Спасибо. Ну, пока.

И оттого, что согласился Бабаев, Андронникову стало приятно и стыдно. И к стоящему перед ним вылощенному пом-секретарю он почувствовал мучительное отвращение.

Вечером этого дня, когда замерцали огни в домах, Резников в хорошей закрытой машине подъехал к красивому особняку в отдельной части Москвы.

Что-то мягкое и тающее переливалось в сердце Резникова, когда он ступал по мягким коврам роскошного особняка.

Тяжелые драпри дверей, мягкие табуретки, кресла, кушетки, угловые диваны—все это трогало в душе струны каких-то далеких воспоминаний прошедшего детства. Легкости хотелось и беззаботности. И удовольствия, удовольствия.

Фабрикант Копылов, Бернгэм, какой-то толстяк и дамы—все знакомились с ним. Копылов потирал свои мягкие как резиновые руки. И в этот момент приложения своей руки к нежным, выхоленным ладоням, по сердцу Резникова скользнуло что-то похожее на забвение прошлого и небрежение к будущему.

Видел он впереди себя только вымытые до блеска лбы и выбритые до ослепления подбородки. Чего же больше? Может быть, это и есть самое главное в жизни?

Зал, колонны, большой стол, закуски, цветы—все это прошло, неужели стало настоящим? По стенам к спинкам диванов теснились нарядные дамы, а около них егозили остротою своих ботинок и округлостью подбородков напудренные кавалеры.

Резников почувствовал, как ноги его будто отекли, а руки болтались неуместно, как на шалнерах. „Так тебе и надо,—подумал Резников,—ну, зачем, зачем пришел?"

Со всех сторон Резников чувствовал на себе любопытные взоры барышень, дам, кавалеров. Ведь, вероятно, все были предупреждены, что придет большевик, комиссар.

В углу зала, где сидело трое румын, долженствовавших впоследствии быть оркестром, стоял Копылов и нашептывал низенькому толстяку с апоплексической шеей и безобразным лицом:

— Ну, полноте, что вы, теперь они не такие. Это три года тому назад... А теперь не то. Только слава, что большевики. Я всегда это предсказывал.

— Да хорошо вам говорить, коли вы около своей фабрики остались, а у меня все имение разграблено, да и сейф почистили.

— О, уважаемый Максимилиан Флегонтович, сами, голубок мой, виноваты. Вы все с норовом. А тут надо было неспеша, да помягче. Вот, например, вы говорите—сейфы. Я вот так раз-то,—в начале это было,—прихожу насчет сейфа. Сидит в холодной комнате какой-то солдат и грудь у него декольтирована, а морозище такой, что я шубу не решался расстегнуть. Ну, думаю, уж больно свирепый. Однако, подошел. „Скажите,—говорю,—товарищ, вы относительно сейфов"? „Нет,—говорит,—на это есть другой, этажем повыше". Я к тому. Народа у него видимо-невидимо, словно из углов кабинета вырастают, как поганки после дождя. Сам он, бедняга, сидит, всклоченный, бледный, будто, перевернув вниз головой, его только что недавно употребляли вместо швабры. Разумеется, нам-то начихать, что с него 77-й пот сходит. Его корявые пальцы даже ручку не умеют держать... Но все-таки не надо грубить. Я ему два ласковых слова. Он мне что-то ругательное. Я будто не расслышал, опять беру лаской, гляжу: морщит

лоб, чешет его перстами. Значит—гнев на милость идет. Ну, и в конце концов сошлись: он в дураках, а я в барышах. Нет, Максимилиан Флегонтович, на них грех сердиться. Вот, например, этот Резников. Советую, сойдитесь с ним покороче, он пригодится.

— А берет?—и толстяк перед носом Копылова потер большим пальцем об указательный, что означало: не берет ли взяток.

— Нет! что вы? Это бесплатный пассажир. Честнейший малый. Вот именно тем-то он и ценен.

— А не чекист секретный?

— Господь с вами! Разве я позволил бы себе вас с чекистом знакомить. Я его знаю.

Толстяк и Копылов подошли к Резникову.

— Позвольте вас познакомить...

— Очень, очень приятно.

Резников был совсем, как в плену.

— Вы не беспокойтесь... Не стесняйтесь,—подбадривал его Копылов, похлопывая по спине,—здесь есть один и от Р.-К. И. (Рабоче-Крестьянск. Инспекции)... Славный малый, юрист, образованный, дельный... Вы не стесняйтесь... Вон он сидит в том углу.

Резников посмотрел и увидел кошачье лицо с кошачьими усами, с кошачьими мягкими движениями. И даже руки мягкие, как лапки кота

Между тем кругом щелкали орехи и подсаживались к столу-Радость долженствовала быть по случаю возвращения стариков Копыловых и его младшего брата, которые все время были в Крыму.

„Да я-то к чему здесь?"—спрашивал самого себя Резников. Сейчас он должен был бы быть около Бутырок, в рабочем клубе, тесном и грязном. Там при входе направо на засаленной двери надпись: „Месная комячейка Р. К. П.". А налево зал, скамейки, невыметенные кожуры семян. Прямо сцена. На ее правой стороне портрет Маркса с лицом замоскворецкого купца; на левой Ленин, из серии тех портретов, про которые на IX съезде еще Радек сказал, что ими можно „пугать людей". А вверху Троцкий—бледная фигура. Туда сейчас, вероятно, сходятся рабочие—темные, тяжело-думные, голодные...

Резникова больно кольнуло в сердце... Что же это? Угрызение совести? Стыд?—Разве стыдно раз в три года отдохнуть?

Там, в темном клубе уже, вероятно, собрались рабочие. Сначала говорят: „докладчик-то из центра опаздывает". Потом: „всегда так бывает" и наконец: „митинг не состоялся". И расходятся обратно рабочие—темные, тяжело-думные, но глубокие душой...

— Брат-то его,—говорил, наклонившись к Резникову, человек с лицом кота,—вовсе не из Крыма, а из Ч. К. выпущен.

— Как?

— То-есть, пожалуй, даже из Крыма. Но только он приехал еще раньше от генерала Врангеля для переговоров с Советской властью.

Поэтому и сидел в Ч. К., оттуда и переговоры вел. А теперь его выпустили. Едет в Ростов.

Резников посмотрел в ту сторону, где сидел брат Копылова. Это был высокий, здоровый человек, с умным и простым лицом. Наклонившись к толстяку, он с искренним жаром говорил ему:

— Старого не вернуть, Максимилиан Флегонтович, не вернуть. Кончено. Советская власть—вы понимаете, как я могу к ней относиться, но она крепка. Ее никто не свалит, если она сама себя не свалит. Посудите сами: ведь мужик получил от нее землю. Если бы мы, дураки, при походе на Москву объявили, что земля остается за мужиками, мы бы с вами сидели здесь при других обстоятельствах. А теперь наше дело проиграно в-чистую. Знаете, что нам осталось? Нам осталось сказать: была Русь дворянская, теперь она мужицкая. Да здравствует мужицкая, Советская Русь!

— Ерунда! Я не смею здесь говорить, но я бы вам доказал!

— Кончено! Кончено! Все доказано. Я военный человек и знаю, что для того, чтобы признать себя побежденным, надо иметь не меньшую силу души, чем итти на штурм неприступной крепости.

— Не верю! Ложь!—Толстяк горячился, подскакивая на стуле.— Я вам...—Он зашептал в ухо Копылову.

— Что? Ошибаетесь. Для нас нет больше Англии и Франции...

В 6 часов утра Резников ехал на автомобиле домой по заснувшему Китай-Городу. Рдеющий восход румянил шпиц Спасской башни и зубцы Кремля.

Резников оглянулся назад: там, в особняке, вчерашний день. Здесь, над Кремлем, завтрашний. А он, Резников, на пути от вчера к завтра. Но тому, кто не спал, трудно отличить вчера от завтра, ибо и то и другое сливается в сегодня. И сегодня это только мнимое, ибо между вчера и завтра нет сегодня. И есть, и нет...

А в это время Бабаев неистощимо, воодушевленно доказывал Андронникову во Втором Доме Советов (номерок в пятом этаже с окнами под стеклянный колпак):

— Ленин на Съезде шутками отделывался, а не возражал. На всякий случай, на случай, что, дескать, при другом повороте дел, он возьмет под руку ту же самую оппозицию. И тогда она будет настоящей, а ты и все вы такие окажетесь оппозицией.

Жесткие волосы бороды Бабаева были продолжением его нервных морщин. Серые глаза его сливались с синими кругами утомления под глазами и в лохматых волосах головы выглядывала преждевременная седина. И все лицо сливалось с грязной занавеской окна.

— Это потому,—возражал Андронников замогильным голосом от усталости,—что ваша оппозиция много-сердитая, да мало-деловая.

— Ой, смотри, ребяты, бросьте эту тактику „хи-хи“ да „ха-ха“ к рабочему.

— Не тычь рабочим!—внезапно раздражился Андронников,—и я такой же „профессор", как ты.

С этими словами Андронников бросился на грязную кушетку. Кушетка жалобно пискнула.

На лице Бабаева сменились три цвета: красный, бледный и его обыкновенный серо-желтый.

— Но ведь ты с головой ушел в бюрократию,—сробевшим тоном, как младший перед старшим, говорил он,—сидишь в управлении, над штатами пыхтишь, какие-нибудь там схемы разрабатываешь. А рабочий? Что такое рабочий теперь?—Наймит. Да, наймит только не у Ивана Иваныча, а у государства. Наймит, а не власть.

Странно болезненно и спутанно чувствовал себя от этих слов Андронников. С языка рвались возражения, но то, что говорил Бабаев, было такое, как болото в тундре: чем больше его мнешь, тем оно больше засасывает. Андронников томился, глядел усталыми лихорадочными глазами в желтизну лица Бабаева, в его жесткую и нервную бороду, в его мерцающие болезненным блеском глаза, понимал и в то же время не понимал его.

— А партия?—жег безжалостно Бабаев сердце своего старого товарища.—Вот сегодня мне Голубин, из Замоскворечья, говорил, что бо̀льший процент уходящих из партии падает на рабочих. Интеллигент не уйдет из партии. К чему ему? Он благодаря своему развитию может получить хорошую вакансию и так и далее. А наш брат рабочий? Какую он вакансию может получить? Только так себе, комиссаришка какого-нибудь, вроде стражника над рабочими. И должен будет своего же брата все за бока, да за бока и тут же агитировать: объединяйтесь-мол, идите в наш лагерь. Это еще хорошо, а то пошлют коммуниста-рабочего в учреждение, там его курьером поставят, а спец сидит себе на семи совнаркомовских пайках, понукает...

Андронников метнулся из одного угла комнаты в другой, потом подошел вплотную к Бабаеву и спросил:

— А ты выйдешь из партии?

Бабаев ответил без колебания.

— Нет, но имей в виду...

— Нет?

— Нет.

— Хорошо, продолжай дальше.

— Да... но имей в виду, что не все рабочие, уходящие из партии, уходят от революции.

И опять заговорил неугомонный, мятущийся Бабаев. Андронников же шагал по комнате.

Потом не выдержал. Стал возражать. Усталый ночной спор, где слова вылезали сами собой, без разбора и контроля, свернулся на узкую колею перебирания товарищей. Вспоминали кого попало. Вот, например, юноша Бертеньев. Его не любил Бабаев за то, что на лице

своем он носит все 50 лет. Практичен, спокоен, деловит... Резников — тоже. Был когда-то террорист, а что теперь? Бюрократ. Впрочем, тоже толковый работник.

Так, топчась на именах и фамилиях, Андронников и Бабаев не могли уже вернуться к широким вопросам. Будто в словах была своя сила, и они обрушились мутным потоком в узкую канаву полусплетен.

Такое явление за последнее время Андронников не раз замечал. О чем бы среди товарищей ни зашел спор—вдруг с одного пункта спор делал крутой поворот и упирался в перечисление имен и фамилий. При этом никто о другом не отзывался хорошо. Словно все были ненавистны каждому и каждый всем.

— Будет, погоди, будет,—возмутился, наконец, Андронников,— нельзя же так! Устали. И ты устал.

— И от усталого слышу.

— Так создавай же силу! Чорт тебя возьми, а не кричи „караул". Перед тобой пень, а не разбойник. Сломай пень, и иди дальше.

— А мужик?—спросил Бабаев, словно подкараулив.

— И мужик наша сила.

— Смотри, как бы она не скосила.

Головы спорящих все более и более тяжелели. И вскоре приятели захрапели кошмарным, нездоровым сном.

Андронникову снился Бабаев, у которого было птичье лицо, и он каркал, словно ворон к ненастью. И потом чувствовалось Андронникову, что под спиной его, под ногами, под руками, под затылком все с треском рушится. „Перевернуться надо, перевернуться",—шептал он себе. А сверху на него смотрели два больших глаза. Два глаза без лица. Просто. В пространстве. Два глаза и больше ничего. Оба глаза без слов мутным светом своим говорили: „нельзя повернуться, нельзя повернуться". А под затылком, под спиной все трещало, проваливалось. Два глаза без лица то приближались, то удалялись. Мутные, серые. Они смотрят на него, на Андронникова. И он ждал, мучительно ждал, скроются ли эти глаза. А под затылком все ломалось и трещало. Того и гляди полетит он весь сейчас в пространство, в черноту. Он оперся локтями, приблизил свое лицо к страшным глазам и увидал, что они раскосые. Андронников отстранился, но напрасно: два глаза без лица смотрели на него не переставая. Теперь они косили все больше и больше, пока наконец не взглянули один на другой, отвернувшись от лица Андронникова. Взглянули эти глаза один в другой, превратились в точку и, как снежинка маленькая, полетели в темное пространство. От этого что-то жужжало в ушах Андронникова. А под затылком все ломалось и трещало. „Повернуться надо"—прошептал Андронников.

Перевернулся и проснулся.

Было уже поздно.

С тяжелой головой час спустя сидел Андронников в своем кабинете. Приходила разная публика, был между прочим фабрикант Копылов, защищавший свой проект.

Андронников был невнимателен. Независимо от воли ум его напрягался в одну сторону: победить Бабаева. Противопоставить усталости силу. Переживал моментами нечто странное: хотелось стулья, столы перевернуть, хотелось отворить двери, окна и призывать. Призывать! Как раньше призывал он. Три года призывал и сам шел, и бился, и уставал, и упорство росло. Набегали и пробегали недели, дни и годы, а упорство росло. Не уйти ли опять в пекло мастерской? Эх, кабы это было пекло! Все равно, все равно, туда надо итти.

„Пойду на завод!—решил Андронников.—А здесь? Оставить фабриканта Копылова?..“

Телефонные звонки, доклады, предложения о штатах, о смете, о схемах перебивали его мысли и вертелись, как карусели на базаре, то конь, то лев, то лодочка..

Но мысль билась и боролась, стараясь разорвать мутную паутину вертящихся дней и лиц.

Фабрикант Копылов! Вот в чем дело!

А Бабаев не туда метит, стреляет по воробьям.

Между тем в окна стали хмуриться розовые апрельские сумерки. Барышни с каким-то остервенением, словно гонимые вихрем, бросали свои машинки и сиденья, поспешно пудрились, прятали в большие ридикюли листы чистой бумаги, карандаши и перья, останавливались около уборной, чтобы поправить шляпку и бежали по лестнице вниз на улицу. Все комнаты учреждения делались похожими на покинутый дом обезлюдевшего города. И только одна уборщица Лукерья шарила по столам, не оставил ли кто нибудь случайно кусочек сахара.

Андронников поспешно, сбивчиво, зачеркивая и перечеркивая, выводил на бумаге:

„Без создания известной техники невозможно создать коммунизма. Те навыки, которые были приобретены раньше... те навыки...“

„Футы чорт!—подумал он.—Не клеится мысль, совсем не клеится!“

Зачеркнул все написанное.

И опять стал писать, выражая по-другому все одну и ту же мысль. Выбивался из сил, чтобы обосновать ее. Насиловал свой мозг. И каждый раз написанное ему не нравилось.

Совсем вечером ушел он из Управления.

И странно: ноги сами понесли его куда-то. В ногах была своя воля „Куда я иду?“—смутно спрашивал он себя. „В Сокольники, на окраину Москвы,“ — отвечали ноги. И несли его, как паруса челн. Вспомнил Андронников, что бывал он здесь на заводах. Вспомнил автомобильный завод и трамвайный парк.

„Туда, туда“,—толкали его ноги. „Зачем? К кому?“ – возражал его разум.—„Туда, туда“,—упрямились ноги. И несли его, как колеса под гору.

Долго крутился Андронников среди низеньких домиков, у которых стены были пропитаны потом, где каждое окно кричало в улицу о борьбе за хлеб, где каждое ветхое перильце цеплялось за жизнь. Тут, словно ища исхода, как источник в каменистой почве, Андронников ходил, кружился.

Домой вернулся поздно. Пропустил сразу три заседания. И спал без снов в своем номере под стеклянным колпаком.

К нему что-то вернулось от прежнего. И это что-то заполняло разрыв между прежним и настоящим. Создавалась связь между прежней борьбой и теперешней судьбой.

И опять как прежде—хотя еще смутно виднелся, мелькая, тернистый путь борьбы, борьбы.

А в двух шагах от него, тут же вокруг 2-го Дома Советов шумела, кишела совсем по своему многолюдная, разноцветная Москва.

Генерал Самсониевский, истощенный голодом до сухаря, гордый и непреклонный, в генеральской накидке и хлюпающих галошах (с разрезами сзади для шпор) выходил погулять в театральный садик и шамкал губами „Отче наш". Фабрикант Копылов мелькал на автомобиле: то осматривать склад, то к Бернгэму спекулировать бриллиантами.

И проститутки выходили на улицу каждый вечер. И старый еврей, бродячий музыкант, стоя среди Театральной площади, плакал на окарине тонкими, переливчатыми звуками.

— О чем это он играет, няня?—спросила однажды проходившая мимо девочка свою няню.

— Видно кушать хочет, о хлебушке поет, о хлебушке.

Поэту.

Да, стиснуть зубы, губы сжать, как шпагу
Перо в тугие пальцы вплавить, сердце
Взнуздать и мысль рассечь ланцетом,—вот
Поэта полуночный подвиг.

Да, только в молнийной игре, во вздохах
Насоса нагнетательного, в звонах
Дрожащих исступленных рычагов,
В порхании, в свистящем лете поршней,
Отмеривающих стихи и строфы,
Ты золото из глубины подымешь
И вверх его по жолобу косому
Тяжелой песней устремишь. А там—
Пусть сыплется густым золотопадом,
Расплескиваясь оземь, в дробь зернится.
В мельчайший бисер. Ах, не все ль равно:
Ветр дует в парус и подолы крутит,
Но мчится, мчится, мчится. Будь и ты
Подобен ветру. Но стреми не воздух,
А вескую, а золотую жидкость,—
Настой давно угаснувшего солнца.

Шенгели.

IV Интернационал.

Владимир Маяковский.

Открытое письмо Маяковского Ц. К. Р. К. П., объясняющее некоторые его, Маяковского, поступки [1]).

I.

Были белые булки
Более
Звезд.
Маленькие,
И то по фунту.
А вы
Уходили в подполье,
Готовясь к голодному бунту.
Жили, жря и ржа.
Мир
В небо отелями вылез,
Лифт франтих винтил по этажам спокойным.
А вы
В подпольи таились,
Готовясь к грядущим войнам.
В креслах времен
Незыблем
Капитализма зад.
Жизнь
Стынет чаем на блюдце.
А вы—
Уже!—
Смотрели в глаза
Атакующим дням революций.
Вывернувшись с изнанки,
Выкрасив бороду,

---

[1]) Дальнейшие части показывают безотносительность моего Интернационала немецкому. Второй год делаю эту вещь. Выделывая дальнейшее, должно быть буду не раз перерабатывать и „открытое".

Гоняли изгнанники
От города к городу.

В колизеи душ,
В стадионы головы,
Еле-еле взнеся их в парижский чердак,
Собирали в цифры,
Строили голь вы
Так—
Притекшие человечьей кашей
С плантаций,
С заводов —
Обратно
Шагали в марше
Стройных рабочих взводов.
Фарами фирмы марксовой
Авто диалектики врезалось в года.
Будущее рассеивало мрак свой.
И когда
Октябрь
Пришел и залил,
Огневой галоп,
Казалось,
Не взнуздает даже дым,
Вы
В свои
Железоруки
Взяли
Революции огнедымые бразды.
Скакали и прямо,
И в бок,
И криво!
Кронштадтом конь
На дыбы
Над Невою
Бедой Ярославля горит огнегривый.
Царицын сковал в кольцо огневое.

Гора.
Махнул через гору—
И к новой.
Бездна.
Взвился над бездной—
И к бездне.
До крови с под ногтя

В загривок коневый
Вцепившийся
Мчался и мчался наездник.
Восторжен до крика
Тревожен до боли,
Я то же
В бешеном темпе галопа
По меди слов языком колоколил
Ладонями рифм торжествующе хлопал.

Доскакиваем.
Огонь попритушен.
Чадит мещанство.
Дымится покамест.
Но крепко
На загнанной конской туше
Сидим
В колени зажата боками.

Сменили.
Битюг трудовой.
И не мешкая
Мимо развалин
Пожарищ мимо мы.
Головешку за головешкою
Притушим,
Иными развеясь дымами.

Во тьме
Без пути
По развалинам лазая,
Твой конь дрожит
Спотыкается тычась твой.
Но будет
Шадурское
Тысячеглазое
Пути сияньем прозрит электричество.
Пойди,
Битюгом Россию промеряй-ка!
Но будет миг,
Верую,
Скоро
У нас
Паровозная встанет Америка.
Высверлит пулей поля и горы.

Въезжаем в Поволжье,
Корежит вид его.
Костями устелен.
Выжжен.
Чахл.
Но будет час
Жития сытого
В булках,
В калачах.

И тут-то вот
Над земною точкою
Загнулся огромнейший знак вопроса.
В грядущее
Тыкаюсь
Пальцем строчкой.
В грядущее
Глазом образа вросся.
Коммуна!
Кто будет пить молоко из реки ее?
Кто берег кисель расхлебает опоен?
Какие их мысли?
Любови какие?
Какое чувство?
Желанье какое?
Сейчас же
Вздымая культурнейший вой
Патент старье коммуне выдало:
„Что будет?
Будет спаньем
Едой
Себя развлекать человечье быдло.
Что будет?
Асфальтом зальются улицы
Совдепы вычинят в пару лет
И в праздник
Будут играть
Пролеткультцы
В сквере
Перед совдепом
В крокет.
Свистит любой афиши плеть.—
Капут октябрю!
Октябрь не выгорел!—
Коммунисты

Толпами
Лезут млеть
В „Онегине“,
В „Сильве“,
В „Игоре“.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
В монархию
В малину ль мещанина выселим мы.
И в городе-саде ваших дач
Он будет одинаково
Работать мыслью
Только над счетом кухаркиных сдач.
Уже настало.
Смотрите—
Вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний
кафàх,
ажравшись пироженью рвотной,
Коммуну славя, расселись мещане.
Любовью
Какой обеспечить Собес?!
Семашко ль поможет душ калекам?!

Довольно!
Мы возьмемся,
Если без
Нас
Об этом подумать некому.

Каждый омолаживайся!

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Во имя этого
Награждайте Академиком
Или домом—
Ни так
И ни даром—
Я не стану
Ни замом,
Ни предом,
Ни помом,
Ни даже продкомиссаром.
Бегу.
Растет
За мной,
Эмигрантом,
Людей и мест изгонявших черта.
Знаю:
Придет
Взбарабаню
И грянет там...
Нынче ж
Своей голове,
На чердак
Загнанный,
Грядущие бунты славлю.
В марксову диалектику
Стосильные
Поэтические моторы ставлю,
Смотрите—
Ряды грядущих лет текут.
Взрывами мысли головы содрогая,
Артиллерией сердец ухая,
Встает из времен
Революция другая
Третья революция
Духа —.

Штык язык остри и три!
Глаза на прицел!
На перевес уши!
Смотри!
Слушай!
Чтоб душу врасплох не смяли,
Чтоб мозг не опрокинули твой —
Эй-ка!—

Смирно!
Ряды вздвой
Мысль красногвардейка.
Идите все
От Маркса до Ильича вы
Все
От кого в века лучи.
Вами выученный,
Миры величавые
Вижу—
Любой приходи и учись!

Тайга.

I.

Выстрелом дважды и трижды
Воздух разодран на клочья...
Пули ответной не выждав,
Скрылся стрелявший за ночью.

И,—опираясь об угол,
Раны темнея обновкой,
Жалко смеясь от испуга,
Падал убитый неловко.

Он опускался, опускался—
И небо хлынуло в зрачки...
Чего он, глупый, испугался?
Вон звезд веселые значки.

А вот земля совсем сырая,
Чуть-чуть покалывает бок;
Но землю с небом,—умирая,
Он все никак связать не смог!

II.

Ах, еще и еще и еще нам
Надо видеть, как камни красны,
Чтобы взорам, тоской не крещенным,
Переснились бы страшные сны.

Чтобы губы, не знавшие крика,
Превратились бы в гулкую медь,
Чтоб—от мала бы всем до велика
Ни о чем не осталось жалеть.

Этот зов—не упрек, не обида;
Это—волк завывает во тьме,
Под кошмою кошмаром завидя
По снегам зашагавшую смерть.

Он всю жизнь, по безлюдью кочуя,
Изучал издалека врагов,
И теперь—из-под ветра почуял
Приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,
Немы сосны и звезды молчат,

Как же мне, одинокому волку,
Не окликнуть далеких волчат?

III.

Тебя расстреляли—меня расстреляли...
И выстрелом трели ударились в дали,
И даль растерялась: расстреляна даль;
Но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли—меня расстреляли:
Мы вместе любили, мы вместе дышали,
В одном наши щеки горели бреду.
Уходишь?—и я за тобою иду.

На пасмурном небе затихнувший вечер
Как мертвое тело висит изувечен,
И голубь, летящий изломом, как кречет,
И зверь, изрыгающий скверные речи.

Тебя расстреляли—меня расстреляли,
Мы сердце о сердце как время сверяли,
И как же я встану—с тобою расстрелян—
Пред будущим звонким и свежим апрелем?

IV.

Если мир еще нами не занят—
Нас судьба не случайно свела:
Ведь у самых сердец партизанят
Наши мысли и наши дела.

Если кровь напоенной рубахи
Превратилась в заржавленный лед,
Верь, восставший! Размерены взмахи,
Продолжается ярый полет.

Пусть таежные тропы кривые
Накаляются нашим огнем,
Верь! Бычачью вселенскую выю
На колене своем перегнем.

Верь! Поэтово слово не сгинет.
Он с тобой—тот же загнанный зверь.
Той же служит единой богине—
Бесконечных побед и потерь.

Ник. Асеев.

Владивосток.
1921 г.

* * *

Он мчался беззаботный, качая мягкий дым
Походкой неисчетной по рельсам голубым,

И ветер накаленный о плечи рычагов
Носился упоенный от масла и цветов,

И мелкий, пылкий, жаркий, несносный и сквозной,
Песок вметался в яркий вагонный душный зной;

В прохладную клеенку проход свой завернув,
Впивался в эту жженку вагонный пышный пуф,

Но гладил желтый ворс ты и с ветром вел ты торг,
Ты, кушающий версты и полдень, и восторг.—

Ты мчался беззаботный, высокий великан,
Походкой неисчетной в полдневный океан.

Сергей Бобров.

„Дело было в Испании".

По записной книжке [1]).

Л. Троцкий.

Два полицейских инспектора дожидались у меня на квартире. Один небольшого роста, почти старик, с плоским русским носом, Акимыч, только повежливее и потоньше; другой — огромный, лысый, лет 45, черный, как смоль. Штатское платье сидело на обоих нескладно, и когда они отвечали, то брали рукою под невидимый козырек.

Чрезвычайная вкрадчивая вежливость старца. „Vous nous faciliterez la tache—вы нам облегчите задачу" (то-есть не будете оказывать сопротивления). А в обмен за это: „мы не передадим вас испанской полиции". Поворачиваясь к жене: „Madame может завтра же явиться к префекту" (чтоб получить возможность ехать вслед).

Когда я прощался с друзьями и семьей, полицейские архи-вежливо спрятались за дверь. Внизу у автомобиля два сыщика, все те же. Инспектора взяли вещи и понесли. Выходя, старший несколько раз снимал шляпу: „Excusez, madame".

Шпик, неутомимо и злобно преследовавший меня в течение двух месяцев, дружелюбно на этот раз поправил плед, закрыл дверцы автомобиля, и мы поехали.

Скорый поезд. Купэ третьего класса. Устроились и познакомились поближе. Старший инспектор—географ. Томск, Иркутск, Казань, Новгород, нижегородская ярмарка... Говорит по-испански, знает страну. Второй, черный и высокий, долго молчал и сидел в стороне. Но потом развернулся. „Латинская раса топчется на месте, другие ее обходят,— заявил он неожиданно, строгая ножом кусок свинины, которую держал в не очень чистой волосатой руке с тяжелыми перстнями. — Что вы имеете в литературе? Упадок во всем. В философии то же самое. Со времени Декарта и Паскаля нет движения... Латинская раса топчется на месте". Я изумленно ждал продолжения. Но он замолчал и стал жевать сало с булкой.—„У вас был недавно Толстой, но Ибсен нам понятнее Толстого". И опять замолчал.

---

[1]) Рукопись относится к осени 1916 г., когда автор был выслан из Франции в Испанию. Редакция.

Старик, уязвленный этим взрывом учености, стал выяснять значение Сибирской железной дороги. Затем, дополняя и в то же время смягчая пессимистическое заключение своего коллеги, прибавил: „Да, у нас есть недостаток инициативы. Все стремятся в чиновники. Это печально, но отрицать нельзя". Я слушал обоих покорно и не без интереса.

За окном стояла ночь, глядеть было некуда, спать от возбуждения еще не хотелось, и это питало беседу. Она свернула на мою высылку и на слежку за мной в Париже. Оба инспектора знали о ней подробно от моих шпиков. Эта тема их зажгла.

Слежка? О, теперь это невозможная вещь! Слежка тогда действительна, когда ее не видно, не правда ли? Но с нынешними путями сообщения это недостижимо. Нужно сказать прямо: метро убивает слежку. Тем, за кем следят, следовало бы предписать: не садитесь в метро,—тогда только слежка возможна. И черный мрачно засмеялся. Старик, смягчая: „Часто мы следим—увы!—сами не зная, почему".

— Мы, полицейские, скептики,—снова неожиданно заявил черный.—Вы имеете свои идеи. Мы же охраняем то, что существует. Возьмите Великую Революцию. Какое движение идей! Энциклопедисты, Жан-Жак, Вольтер. Через четырнадцать лет после Революции народ был несчастнее, чем когда-либо. Прочитайте Тэна. Жорес упрекал Жюля Ферри в том, что его правительство не шло вперед. Ферри ответил: „правительства никогда не бывают трубачами революции". И это верно. Мы, полицейские, консерваторы по должности. Скептицизм есть единственная философия, которая отвечает нашей профессии. В конце концов никто свободно не выбирает своего пути. Свободы воли не существует. Ни свободы выбора. Все предопределено ходом вещей...

И он стал скептически пить красное вино прямо из горлышка бутылки. Потом, затыкая пробкой: „Ренан сказал, что новые идеи всегда приходят еще слишком рано. И это верно!"

При этом черный бросил подозрительный взгляд на мою руку, которую я случайно положил на рукоятку двери. Чтобы успокоить его, я сунул руку в карман. Мы проезжаем через Бордо. Столица красного вина и вчерашняя временная столица Франции, когда враг подошел слишком близко к Парижу. Лозунг буржуазной Франции: „Граница по Рейну или—столица в Бордо!" Едем ландами. Пески. Здесь бонапартисты второго призыва: для укрепления песков Наполеон III насаждал сосновые леса. Много кукурузы. Холмисто. Здесь не боятся цеппелинов. Тем временем старик брал реванш: он говорил о басках, их языке, женщинах, их головных уборах. Мы приближались к границе.

— Я возил по этой же дороге господина Пабло Иглезиас, вождя испанских социалистов, когда его выслали из Франции, очень хорошо ехали, приятно беседовали, прекрасный господин...

— Для нас, полицейских, как и для лакеев,—заявил черный,—нет великих людей. И в то же время мы всегда нужны. Режимы меняются, но мы остаемся.

Мы подъезжали к последней французской станции Hendaye.

— Здесь жил Дерулед, наш национальный романтик. Ему достаточно было видеть горы Франции. Дон-Кихот в своем испанском уголку!—Черный улыбнулся с твердой снисходительностью.

— А я здесь всегда бы жил,—подхватил старик,—в маленьком домике, и не уставал бы целый день глядеть на море... Ah!.. Пожалуйте, м-сье, за мной в комиссариат вокзала.

На вокзале в Ируне французский жандарм обратился ко мне с запросом, но мой спутник сделал ему франк-масонский знак.—А, понял, понял,—отвечал тот и отвернувшись стал мыть под краном загорелые руки, чтобы показать полное свое безразличие. Но не удержался, посмотрел на меня снова и спросил скептика:—А где же другой?—Там, у специального комиссара,—ответил черный.—Ему нужно все знать,—прибавил он вполголоса в мою сторону и торопливо повел меня какими-то вокзальными проходами.—C'est fait avec discretion? n'est ce pas? (проделано незаметно, не правда ли?)—спросил меня черный.—Вы сможете проехать в трамвае из Ируна в Сан-Себастьян. Вы должны иметь вид туриста, чтоб не вызывать подозрения испанской полиции, которая очень мнительна. И далее я вас не знаю, не так ли?—Простились мы холодно...

Черный сел одновременно со мной, но отдельно от меня, в вагон трамвая, который ведет из Ируна в Сан-Себастьян, долго колебался между чувством долга и аппетитом. Ему не хотелось ехать в Сан-Себастьян. Аппетит победил, и полицейский скептик соскочил с трамвая, что-то ворча себе под усы. Я свободен.

Сан-Себастьян—столица басков. Море, грозное без угроз, чайки, пена, брызги, воздух, простор. Неотразимым видом своим море говорит, что человек по природе своей предназначен быть контрабандистом, но что этому мешают побочные обстоятельства.

Испанцы в беретах, женщины в легких вязаньях („мантильях“) вместо шляп, больше пестроты и крика, чем по ту сторону Пиренеев. Улица, площадь и опять море. Хорошо, и нет шпиков. Море здесь и в Ницце... Здесь меньше слащавости в природе, больше перцу и соли. Здесь лучше. Но лени много. В магазинах подолгу торгуются, и купцы с „психологией“. Банки закрыты, когда ни подойдешь. Набожность. Над моей постелью в отеле поучительная картина: La muerte del pecador—смерть грешника: двуглавый чорт забирает добычу у опечаленного ангела, несмотря на все усилия доброго аббата. Засыпая и просыпаясь, я размышляю о спасении души. В кинематографе любовники, прежде чем обнять друг друга, обмениваются кольцами при звуках Ave Maria. На перекрестках крайне невоинственные горо-

довые с палками. Формы военные, какие-то надуманные, затейливые, но не серьезные.

Счет в отеле мне написали на неведомом (будто бы французском) языке: „Par habitation, pour dormir deux jours et par une bain“, что, примерно, означает: „Через поселение, чтобы спать два дня, и через баню“. Сумма была, однако, проставлена арабскими цифрами и не оставляла—увы!—никакого места сомнениям. Сан-Себастьян—курорт и цены курортные. Надо спасаться.

В вагоне по пути в Мадрид.

Продвигаемся вглубь Пиренейского полуострова. Это не Франция: южнее, примитивнее, провинциальнее, грубее. Общительность. Пьют из меха вино. Много и громко болтают. Женщины хохочут. Три монаха читают в книжке, потом благочестиво глядят в крашеный потолок вагона и шепчут. Много декоративности. Испанцы, завернутые в плащи с красными отворотами или в клетчатые яркие одеяла и шарфы до носов, сидят на скамьях, как нахохлившиеся индюки или попугаи. Кажутся неприступными. Оказываются болтунами.

В другом купэ поют народные песни.

Испанка—прислуга, которая работала в Париже и вернулась в начале войны в Испанию, едет теперь на работу в Мадрид. Хорошее сумрачное лицо. Испанцев не мало в Париже, в частности шоферами.

Конфликт из-за окон. Те держат одно окно открытым, эти из протеста открывают все. Но без ссоры.

Испанцы все зябли, кутались в плащи и шарфы.

Каменистая степь, холмистая с чахлыми кустарниками и слабосильными деревцами.

Серый рассвет. Дома каменные без украшений. Тоскливый вид! Телеграф—столбы низенькие, как нигде, нет лесов. Ослы с вьюками по дороге: Испания! Но я-то зачем здесь?

* * *

Мадрид. Вокзал. Дерут на части. Множество проблематических существований. Разносчики, продавцы газет, чистильщики сапог, гиды, комиссионеры неизвестно чего и всего, попрошайки, нищие и нищия (по-старому правописанию),—словом, та толпа, которою так богаты три южных полуострова Европы: Пиренейский, Апеннинский и Балканский.

Когда, при въезде в новый город, толпа людей рвет из рук ваш чемодан и вам одновременно предлагают почистить сапоги—по чистильщику на каждую ногу,—купить газеты, крабов, орехи и пр., вы можете быть уверены, что в городе дурная ассенизация, много фальшивой монеты в обращении, безбожно запрашивают в магазинах и много клопов в отелях. Несмотря на то, что мне довелось немало пространствовать

в моей жизни, я так и не сумел развить в себе на этот счет необходимые органы сопротивления. Оттого в Бухаресте или Белграде я ходил с начищенными, как зеркало, сапогами и с коллекцией фальшивых монет в кармане.

Hôtel de Paris,—очень скромная гостиница провинциального типа. Никто не говорит по-французски. Я объясняюсь посредством самой первобытной мимики. Испанка Эмилия не знает также языка эсперанто, которого, впрочем, не знаю и я (увы, она, как оказалось, не читает даже и по-испански), но при помощи своих десяти пальцев удовлетворительно объясняет мне цены, которые оказываются выше всяких предположений. Когда я пытаюсь выразить ей эту простую мысль изображением ужаса на своем лице, она скалит крепкие зубы, после чего я вынужден все же платить.

Возле королевского дворца мною принудительно овладевает гид (проводник). Он показывает мне церемонию смены караула, которую я вижу и без него. Церемония не лишена красочности со всеми своими декоративными условностями и со своей хорошей военной музыкой. Но все это длится слишком долго, особенно сегодня, так как ко двору должен прибыть в 12 час. 30 мин. новый аргентинский посол Маркос Аввелланеза. Много народу в войлочных туфлях тихо мокнет под дождем. Высоко нагруженные двухколесные повозки с мулами или ослами в запряжке медленно ползут мимо. Мальчишки выкрикивают газеты, а затем играют в пуговицы на мокром песке. Показываются пышные придворные коляски. Мчатся верховые придворные чины с развевающимися фалдами. Посол в треуголке с плюмажем и седой бородой поворачивается направо и налево. Из окон дворца глядит генералитет с лентами через плечо, а гид пытается в угловом окне различить короля. Но это уж, очевидно, для того, чтобы терроризировать меня при расплате.

Потом я осматриваю с ним, опять-таки в порядке принуждения, коллекцию старого оружия, при чем он на ужасном французском языке дает мне объяснения, которые я мог бы тут же прочитать на карточках и без него.

В строящемся соборе гид, овладевший мною окончательно, показывает мне гробницы испанских грандов, откупивших часть собора для себя и членов своей семьи. Они уже занимаются сами отделкой своих вечных квартир, и тут царит чудовищная роскошь. На некоторых из этих мраморных ниш—плакаты о сдаче в наем. Одна из них снята недавно королем под королеву Мерседес, как сообщает почтительно проводник. Затем он проводит нас по самому высокому в Мадриде мосту и хвалит его преимущества для самоубийств.

За завтраком в отеле voyageur de commerce, странствующий голубоглазый коммерсант, француз и даже парижанин, жалуется на леность и непредприимчивость испанцев.—Работают во Франции, в Англии и, к несчастью, в Германии. Но не здесь. На чьей они стороне?

Скорее на немецкой. Здесь и сейчас 35.000 немцев, которые работают и пользуются влиянием. В Барселоне иначе, там французский дух, но здесь—все германофилы. В Мадриде у людей даже не хватает инициативы наживаться на войне.

Отзывы коммерсанта обо всех вопросах и, в частности, о немецкой музыке отличаются твердостью и определенностью. Вагнера он, разумеется, презирает. Вот итальянская музыка, это—другое дело. Я уволен, — объясняет он всем и каждому, боясь, чтоб его не приняли за дезертира, и слегка показывает сухую левую руку. Это не мешает ему играть на стареньком инструменте сладчайшие романсы.

Кафе Universel полным - полно. Лица более разнообразны, чем за Пиренеями, от цыгана-конокрада до профиля Юлия Цезаря. Уже при входе поражает страшный крик. Все разговаривают полным голосом чрезвычайно жестикулируют, хлопают друг друга по плечу, хохочут пьют кофе и курят.

Два рода монументальных зданий выделяются в Мадриде: церкви и банки.

Старая Испания вкладывает свои капиталы в церкви. Маркизы и графы тратят еще и ныне миллионы на свои фамильные гробницы и заказывают на вечные времена молебны за упокой своих душ. Их мраморные ящики с золотом на виду у всех, как неопровержимое свидетельство их прочных отношений с небом. Но главную массу своих денег Испания несет не в церкви, а в банки. И в борьбе за душу Испании банки сооружают здания—храмы подавляющей пышности. Их много. Они чередуются с церквами и с огромными кафе.

Вот строящийся храм банка Rio de la Plata...

Было бы, однако, неправильно представлять себе взаимоотношения между этими двумя устоями, церковью и банком, в виде ожесточенной борьбы. Те миллионы, которые уплачиваются благочестивыми графами за привилегированные гробницы, вносятся святыми отцами в банки. А банки, в свою очередь, финансируют все, в том числе и построение соборов.

Первый раз я в городе, где я никого не знаю и меня никто не знает: никто в буквальном смысле слова. Кроме того, я не знаю языка, и когда сижу в кафе и слышу быструю разговорную речь, я не понимаю ни слова. Идеальные условия для изучения страны. Впрочем, я к этому и не готовился.

Мадрид вполне большой город, особенно вечером при электричестве и газе. После Парижа с его потушенными (из-за цеппелинов) фонарями, завешенными окнами, ночной Мадрид в центре города прямо ослепил меня. Здесь живут поздно—до часу, до двух. После полуночи кафе еще полны, улицы ярко освещены. В Париже ночная жизнь очень развита в мирное время, но только в определенных частях города. Большинство же улиц трудящегося и вообще делового Парижа затихает к 10-ти часам. Театры заканчивают свои представления к 11—11½

часам. На улице и в кафе остается только гулящая, кутящаа публика, в собственном смысле слова, в подавляющем большинстве иностранцы, с высоким процентом русских. В Мадриде же ужинают в 9—10 час. Театры начинают открываться только в это время (10—11 час.) и заканчиваются к часу ночи. Ритм жизни ленивый. Несмотря на свое электричество и пышные банки, Мадрид провинциален. Суетлив без деловитости. Нет промышленного темпа. Много лицемерного благочестия, декорум добрых нравов соблюдается строже. На улицах проституция не бьет в глаза, как в городах Франции. В кафе очень мало женщин: это, очевидно, не принято. Пьют больше кофе, мало—абсент. Сидят и разговаривают, как люди, у которых много времени. Газет в кафе нет, нужно приносить свои. Зато сами кафе огромны—не как в Париже.

На лицах видна старая раса, но и запущенность; в мускулах лица, как и тела, нет делового напряжения, как в глазах нет сосредоточенности. „Время у испанца ни по чем,—жаловался снова француз-коммерсант.—С ним нужно несколько часов поговорить обо всем и потом немножко о деле. А затем он скажет: приходите ко мне еще. При этом он угостит вас обедом, поведет на бой быков, заплатит за вас, но дело сделает не скоро“...

Испания, поскольку я ее видал (почти не видал), похожа на Румынию, или вернее: Румыния, это—Испания без прошлого.

Новая почта с колонками, башенками и вышками. Архитектура храма господствует и здесь. Почту иронически называют: Notre Dame de Poste—Храм Пресвятыя Почты.

Но вот подлинный храм искусства—Мадридский музей. „Насчет здания, освещения, это—ничто, у вас есть Лувр, Люксембург, Версаль (испанцы принимают своего собеседника за француза). Но картины у нас лучше“... Лучше ли, чем в Лувре, не знаю, но прекрасен музей Мадрида. После сутолки мадридских улиц, где осязал себя безусловно лишним, смотрел с радостью на неоценимые сокровища Мадридского музея и чувствовал по-прежнему элемент „вечного“ в этом искусстве. Рембрандт... Рибейра... Картины Боса (ван-Акен), прекрасные по своей гениальной наивности и жизнерадостности... Старик сторож дал мне лупу, чтоб рассмотреть маленькие фигуры крестьян, осликов и собак на картинах Миеля.

Но в то же время чувствовалось, что мы отошли от старого большого искусства на огромную историческую дистанцию. Между нами и этими стариками—отнюдь не заслоняя и не умаляя их—стало до войны „новое“ искусство, более интимное, более индивидуалистическое, нюансированное, субъективно более напряженное... Война, вероятно, надолго смоет эти настроения и эту манеру — массовыми страстями и страданиями, — но в то же время это никак не может означать простого возврата к старой форме, хотя бы и прекрасной, к анатомической и ботанической законченности, к рубенсовским бедрам (хотя бедра, веро-

ятно, будут играть в новом, повоенном, жадном к жизни искусстве большую роль). Трудно гадать, но из тех небывалых переживаний, какими захвачено непосредственно почти все культурное человечество, должно же родиться новое искусство.

Молодые художники, да и старые, обходят войну, боятся, не зная, с какой стороны подойти (разумеется, речь не о тех, у которых штандарт скачет). В этом уклонении от страшнейшего и величайшего события человеческой истории выражается сознание того, что старые настроения и приемы не подходят к новым формам и масштабам жизни. Необходимы какие-то новые углы зрения, подходы, манеры, необходима трансформация художнической психики. Это происходит где-то и у кого-то, и это скажется. А пока...

В неприветливых полутемных залах музея идет непрерывная работа: стоят в разных местах десятка два мольбертов; художники, художницы, молодые и старые, прилежно копируют Веласкеца, Мурильо, Грека. Признаться, я не заметил ни одной сколько-нибудь сносной копии. О современной испанской живописи не имею никакого понятия, но если судить по этим копиям...

Когда мы выходим из музея, оказывается, что дождь за это время шел нещадный, все омыл, освежил и преобразил. Перед музеем сидит, как бы на страже артистического прошлого своей родины, на монументальном кресле последний великий художник Испании, старик Гойа. Его всего облило водой, и под мясистым носом у него сверкает на солнце большая прозрачная капля.

Сегодня получил из Парижа посланное в догонку письмо с адресом французского социалиста-интернационалиста Депре. Он здесь директором страхового общества. Я разыскал его. Несмотря на свое „буржуазное“ общественное положение, он против патриотической политики своей партии, за Циммервальд и Кинталь. Познакомил меня с политикой испанской социалистической партии: целиком под влиянием французского социал-патриотизма. Серьезная оппозиция в Барселоне, у синдикалистов.

— В национально-расовом смысле нет большой разницы между испанцем и французом,— говорил Депре.— Испанец, это—необразованный француз. Конечно, у них есть бой быков, но это в конце концов частность. Леность? Это преувеличение. У меня в бюро 15 испанцев. Я получаю от них ту же сумму труда, какую получал бы от 15 французов. Нужно только уметь подходить к ним и просить о работе, как об услуге.

Французский язык не знает ударений. А испанцам ударение необходимо. Стремление к внешней изобразительности. У них вопросительный знак ставится в начале фразы, а не в конце, чтобы подготовить и выражение лица и интонацию. Испанцы очень синематографичны. Противопоставление испанской грации парижскому шику здесь очень в ходу. Не знаю, как обстоит дело на этот счет в Севильи и

Гренаде, словом, в настоящей Испании, но здесь, в Мадриде, испанская грация остается все же в значительной мере лишь провинциальным отражением парижского „шика“.

Совершенно очевидно, что нужно посмотреть бой быков: Испания нейтральна, и потому во время всесветного боя людей не согласна лишать себя боя быков. Почему, впрочем, бой быков? Между быками нет боя. Есть бой между быком и человеком. Едем на трамвае за город. Осень, дождик. Последний в сезоне бой быков отменен. Желающим предлагается посмотреть скачки, которые происходят тут же. Возвращаться,— но куда? Посмотрим скачки. Несколько жадных банд (народу немного). Все друг друга знают. „Отпрыски“ в цилиндрах. Все кланяются. Дама пожилая, с тройным подбородком. Все приседают перед нею. Гусары королевские. Дождь. Ставки. Пари. Один жокей убился до полусмерти (лошадь слишком близко шла к барьеру). Его вынесли в бессознательном состоянии. Конюха вели лошадь с окровавленной ногой. „Он ее раздавил своим весом“, кричит какой-то толстяк в цилиндре на полумертвого жокея. Безобразная картина.

* * *

Под отели переделывают старые здания с бесконечными коридорами, закоулками, уступчатыми переходами и проч. В то же время строятся огромные новые отели—Palace Hôtel с необъятным кафе, одним из самых колоссальных во всей Европе. Чуть не весь Мадрид может одновременно играть на бильярдах этого кафе. На публику обрушивают бесконечные синематографические представления, музыку, пение... Целая стена отведена для чистки сапог со всеми необходимыми аппаратами. Тут же автоматическая гадалка—с чучелом цыганки—за десять сантимов выкидывает вам листок вашей судьбы. Но сейчас Palace Hôtel почти пустует: война! Чистка сапог—limpia botas—это культ. На Puerta del Sol существует целая „фабрика“ чистки сапог. Десятки мужчин и женщин сидят в два ряда. Внизу на коленях два ряда чистильщиков.

Старый Мадрид мрачен, здания ужасны по неприспособленности и запущенности. На окраине встречаются такие же заброшенные типы, как у нас в Николаеве или Кишиневе. Многие спят под заборами днем, на сырой земле, в поле. По улицам движется множество ослов, с большими корзинами по бокам и с восседающей сверху корзины крестьянкой. Это осталось совсем таким, как было во времена Дульцинеи Тобозской и даже во времена ее отдаленной прабабки.

По ночам крики на улице. Вы просыпаетесь иногда в ужасе, думая, что пожар (буквально). Оказывается: разговаривают под окном. Не ссорятся, а именно беседуют. Несмотря на испанское благочестие, попы открыто курят на улицах.

Я хотел посетить секретаря социалистической партии. Но оказалось, что он посажен в тюрьму дней на пятнадцать за непочти-

тельный отзыв о каком-то католическом святом или учреждении. Пятнадцать дней—пустяки! Во дни оны Ангиано в этой самой Испании просто-на-просто сожгли бы на ауто-да-фе. Пусть скептики отрицают после этого благодетельность демократического прогресса.

Тюрьма.

10 ноября 1916 г.

Вчера, в четверг 9 ноября, горничная скромного маленького пансиона, где устроил меня Депре, вызвала меня таинственными жестами в коридор. Там стояли два очень определенной интернациональной внешности господина, которые без большого дружелюбия стали объяснять мне что-то по-испански. Я понял, что за мной явились полицейские и то, что пришло два, а не один (третий, как потом оказалось, ожидал на улице), означало, что речь идет отнюдь не о простой справке о моих документах. Нужно сказать, что раз или два я наполовину замечал слежку за собой на улице, но, утомленный ею в Париже, не обращал внимания. Тем более, что и выбора-то особенного у меня не оставалось. Я пригласил посетителей в комнату, где один предъявил мне свою агентскую карточку. Это был высокого роста субъект с искалеченным глазом и крайне противным видом. „Parlez-vous français?" (говорите ли вы по-французски?),—спросил он вдруг, как бы найдя что-то, после тщетных попыток объясниться по-испански „Oui, je parle français",—спешно ответил я с облегчением. Но он-то, оказалось, не знал ни слова. Этот диалог повторялся со мной в Испании не раз. „Parlez vous français?"—спрашивает вас собеседник после напрасных усилий объясниться с вами на языке Сервантеса. А затем оказывается, что, кроме этой фразы, он по-французски не знает ни слова. Но эта единственная фраза служит испанцам как бы отдушиной.

Пришлось за ними следовать. В помещении префектуры вышел на лестницу какой-то средне-полицейского вида господин, справился о моей фамилии и в ответ сказал: „Très bien, très bien..."—покачивая головой, с видом укоризны. Потом отдал приказ моим провожатым куда-то отвести меня.—Значит, я арестован?—спросил я.—„Да, por una hora, dos horas (на час—на два),—ответил он,—нам нужно только разузнать про вас..." Меня свели в какую-то канцелярию, где я уселся на кожаном диване в позе человека, которому нужно подождать четверть часа—в пальто, с палкой в руках, с шляпой на коленях. Так, почти не меняя позы, я просидел до 9 часов вечера, т.-е. около 7 часов под-ряд. Это было мучительно. Ни один из чиновников полиции не понимал ничего на иностранных языках, как я ничего не понимал по-испански. Пребывание на глазах людей в течение почти трети суток утомило чрезвычайно. Я получил, правда, за это возможность наблюдать испанскую полицию в действии—или, чтобы быть более точным,—в бездействии. Чиновник сменял чиновника, но никто ничего не делал. Один присел за пишущую машину, пощелкал минуту, потом раздумал.

и бросил. Остальные даже не пробовали. Разговаривали, показывали друг другу фотографические карточки, даже боролись в соседней комнате. Приходило за это время десятка два человек с улицы, то в сопровождении полицейских, то самостоятельно, за справками или с жалобами. Все больше убогая, рваная публика. Нельзя сказать, чтоб полицейские обращались грубо. Наоборот, не без южного добродушия и спокойствия. Всегда ли дело так обстоит, или сдерживало отчасти присутствие иностранца, не знаю, но думаю, что испанцы вообще не свирепы, то-есть не утруждают себя профессиональной свирепостью.

В 9 часов вечера меня повели наверх, в какой-то священный кабинет, где уже был в сборе весь полицейский синклит. Спросили, кто я и откуда, ожидая, повидимому, уклончивых ответов и готовясь меня тут же изобличить. Посредником был переводчик, который очень плохо говорил по-французски, еще хуже по-немецки, но который заявил, когда узнал, что я не говорю по-английски, что он владеет этим языком, как испанским.

Я объяснил, что выслан из Франции, где защищал „пацифистские" идеи (да простят мне ригористы это злоупотребление терминологией, допущенное в интересах упрощения беседы с испанской полицией). —А не были ли вы в Циммервальде?—Был. Об этом было напечатано в разных газетах.—А какое предложение вы там внесли?—Речь шла, очевидно, о проекте манифеста. Я ответил, что выступал и там, разумеется, в духе „пацифистских" взглядов.—Почему не возвращаетесь в Россию?—Я и это объяснил.—Вы русский? Я хотел показать удостоверение моего подданства, выданное мне русским консулом в Женеве в начале войны. Но они совершенно не поинтересовались бумагой, переглянувшись со словами: „Это бумага 1914 года". Они видимо кокетничали своей осведомленностью. Для меня стало совершенно ясно, что они получили подробные сведения обо мне от парижской полиции и русской агентуры.

В результате всех разговоров, шеф, маленький лысенький человек со слащавой физиономией, заявил через переводчика, что испанское правительство не считает возможным терпеть меня на своей территории, что мне предлагается немедленно покинуть Испанию, а впредь до этого моя свобода будет подвергнута „некоторым ограничениям". —А нельзя ли знать причину?—Ваши идеи—слишком передовые (trop avancées) для Испании,—ответили мне чистосердечно через переводчика. После этого „шеф" в моем присутствии объяснил кривоглазому агенту (он присутствовал тут же, почтительно вытянувшись), что со мной необходимо обращаться как с „кабальеро", что я человек книжный, что дело идет о моих „идеях", и потребовал, чтоб он это передал каким-то инспекторам.

Тем временем полицейский переводчик откровенничал со мной. —Вы поймите, мы не можем, мы очень жалеем,—говорил он самым чувствительным голосом.—Сколько уж было у нас покушений на короля.

Вы себе представить не можете, сколько мы тратим денег на пресл дование анархистов. И потом Россия делает такие затруднения наші испанцам, которые туда направляются, что ужас!

Таким образом, я отвечал одновременно и за испанских анарх стов, и за русскую полицию...

Во время допроса какой-то шикарнейший полицейский субъе (все они в штатском), в пестром жилете и цилиндре, надушенный, сигарой, влетел в комнату и очень довольный собой и всем миро покровительственно поздоровался со мной и потом неожиданно: „Со ment vous portez-vous?" (Как поживаете?). Хотел ли он хвастнуть фра цузской фразой или иронизировал, или, наоборот, проявлял любе ность, не знаю. Не без удивления я ответил почти автоматическ „Merci. Et vous?" (Спасибо. А вы?). Он упорхнул.

Меня снова свели в ту же комнату внизу. Здесь я обедал (пр несли из соседнего ресторана) и оставался еще до двенадцати час ночи.

Туда же вызвали ко мне, по моему требованию, Депре, которь решил немедленно же предпринять некоторые шаги.

В 12 часов агент на извозчике отвез меня... по дороге я пон куда—в тюрьму.

Мой провожатый, все тот же кривоглазый сыщик, оказался у изрядно пьян. Шеф ему при мне выдал за что-то 5 песет (франко он благодарно поклонился, сломившись вдвое, и через два часа явил за мною в состоянии полного блаженства. Так как ему приказано бы быть вежливее со мною, как с „кавалером", и так как он был силы пьян, то он положительно не давал мне покоя. Хлопал по плечу, ра говаривал без конца, разумеется, по-испански, перебивая себя сл вами:—„Parlez-vous français, monsieur?" В экипаже он совсем расчу ствовался, объяснялся в любви русским, англичанам, французам и бел гийцам...—Кто я такой?—говорил он,—солдат. Я выполняю, что м приказано. У вас идеи,—он указал на мой лоб.—Дети у вас есть? спросил он неожиданно. Я ответил.—У меня пятеро: мал-мала меньш Он это говорил по-испански, но выходило в конце концов то же с мое, особенно, когда он показывал, что самого маленького мать ко мит грудью. Потом он вдруг зажег спичку в закрытом экипаже, по нял ее к своему лицу и стал показывать, как его изуродовала амер канская пуля: вошла выше правого глаза, прошла через нос и изур довала левый глаз. После этого он вернулся и, когда оправился, п ступил в сыщики. Американцы, это—проклятый народ. Но русские... и он снова стал говорить о своей любви к русским и к союзник вообще. Он пробовал меня угощать папиросой, почти тыча ее мне рот, потом решил меня во что бы то ни стало угостить пивом, cervez остановился перед пивной, стал требовать пива—и хотя ему поруче было перевести меня в полночь именно для избежания посторонн глаз, он умудрился собрать вокруг экипажа порядочную толпу. I

всей этой сцене было нечто чрезвычайно русское, особенно если прибавить, что этот самый чувствительный шпик, прежде чем ему приказали обнаружить вежливость, был со мной крайне нагл, и в отеле при аресте даже подталкивал в спину, приговаривая: pasade. Он очень огорчился, когда я отказался, предложил кофе, показывал, что платить будет он, вообще был назойлив и жалок до последней степени. Кончил тем, что выпил пива с извозчиком, выпил еще,—и мы поехали дальше.

Тюрьма, старая знакомая, в общем и целом всегда одна и та же.

Солдат со штыком стоит под фонарем и, закинув ногу за ногу, читает газету.

Сторож пропускает нас внутрь. И стены, и коридоры, и запах тюремный,—вот уж почти десять лет, как я не видел и не обонял этого изнутри. Дежурный помощник начальника с расстегнутым воротом уже ждал нас. Сыщик и ему рассказал, что я caballero, но тот и так уже знал, что со мной полагается „тонкое обращение“.

Осмотр вещей в центре тюремной „звезды“, в пересечении пяти корпусов, в четыре этажа каждый. Лестницы железные висячие. Тишина, особая, тюремная, ночная, насыщенная тяжелыми испарениями и кошмарами. Скудные лампочки электрические в коридорах. Все знакомое, все то же. Я взошел на центральную площадку и оглядывал корпуса. Из окошечка контрольной будки высунулся не то помощник, не то старший надзиратель и вежливо предложил мне знаками снять шляпу.—No es iglesia (не церковь),—ответил я ему на приблизительном испанском языке. Подбежал к нему сыщик и стал уговаривать, чтобы он меня не трогал. Тот не настаивал.

Вещи просматривали (карманов из вежливости не обыскивали!), отобрали нож и ножницы (в некоторых отечественных тюрьмах отбирают также подтяжки,—тут оставили), деньги отобрали. Одноглазый сыщик всячески вокруг меня увивался, хлопал дружески по спине и на прощание протянул руку. Я потянулся за надзирателем по коридорам и лестницам. Грохот отворяемой железом окованной двери. Вхожу. Большая комната, полутьма, ковер на полу, скверный тюремный запах, жалкая кровать, внушающая недоверие... Надзиратель указал мне, где что (электрическую лампочку забыли вставить), дал две спички и ушел, громыхая дверью. Я остался один. Было около часу ночи. Чувствовалась усталость после богатого событиями дня. Однако, прежде чем ложиться в кровать, я решил снарядиться (в Николаевской тюрьме или в Херсонской, 18 лет тому назад, я не был так осторожен): застегнул все пуговицы, завязал, где нужно, и укрылся своим пальто. Открыл форточку. Веяло прохладой. Тут только мне стала ясна вся несуразность случившегося: каким это образом я оказался в Мадриде в тюрьме? Вот уж не ожидал. Правда, меня выслали из Франции. Но я жил в Мадриде, как на железнодорожной станции, дожидаясь своего поезда, списывался с Гриммом и Серрати о переезде

в Швейцарию через Италию, ходил в музей, глядел Гойю и Грека, был за тысячу верст от испанской полиции и юстиции. Если принять во внимание, что я в первый раз в Испании, прожил всего какую-нибудь неделю в Мадриде, не знаю испанского языка, ни с кем не виделся, кроме Депре, не посещал никаких собраний, то арест мой предстанет во всей своей нелепости. Я лежал в постели мадридской „образцовой тюрьмы" и смеялся. Смеялся, пока не заснул.

Спал крепко. Утро. В камере два окна, завешанные ситцевыми наволочками. На кровати подозрительная, но все же простыня. В углу вежливо заставлено подобием ширмы. Два угловых шкапика, вделанных в стену, со стеклом. Деревянное кресло. Столик. Умывальный столик под водопроводным краном. Над столом распятие на стене. На полу ковер. Все грязно и проплевано, но, во-первых, не так все же, как могло бы быть, а, во-вторых, коврик, и занавески, и шкапчики, и два полотенца у умывальника,—совсем не по тюремному штату. Позже, на прогулке, мне объяснили, что в этой тюрьме есть камеры платные и бесплатные: буквально. Платные, в свою очередь, делятся на два класса: первый—цена номера 1 песета 50 сант. в сутки, и второй—по 75 сант. в сутки. Всякий арестант вправе занять платное помещение, хотя и не вправе отказываться от бесплатного. Моя камера—платная, первого класса. Занавески на окнах, как оказывается, это чтобы не видно было решеток, и чтобы комната походила по возможности на отдельную.

Я нигде не слыхал о тюрьме из трех классов и о платных камерах. Но в конце концов приходится признать, что испанские буржуа только последовательны. Почему должно быть равенство пред тюрьмой в обществе, которое целиком построено на неравенстве и расчленяется на три класса: имущий, неимущий и промежуточный?

На прогулке же я узнал, что обитатели платных камер пользуются еще одной важной привилегией: они гуляют два раза в день по часу, тогда как остальные—всего раз. Это опять-таки правильно. Легкие арестанта, который платит ежедневно полтора франка, имеют право на большую порцию чистого воздуха, чем легкие, которые дышат бесплатно.

Моими товарищами по прогулке были сплошь интересные персонажи. Худощавый кособокий немец с шарфом и в суконных башмаках. Говорит бегло на четырех языках. Бросил изучать русский только потому, что очень трудно. „Вам хорошо,—объясняет он мне,—русский язык так труден, что все остальные вам даются легко". Он сразу овладевает мною и знакомит меня с остальными. Бритый, в черном, с гладко причесанными блестящими волосами, это—кубанский испанец или испано-американец. Ничего особенного: не то убил, не то ранил свою жену.

Вон тот, в синей паре с безукоризненной складкой, в желтых башмаках и берете, это—известный, выдающийся, виднейший вор. Его даже в газетах называют королем воров...—Впрочем, может быть это и преувеличено,—говорит немец тоном зависти.

Третий—лохматый, толстый, черный, в бархатном костюме—прибыл только сегодня. Кто он, неизвестно. Кубанец сразу прозвал его—очевидно, за внешний вид—Санхо-Пансой.

Король воров оказался очень любезным, хотя и сдержанным собеседником.

— Проклятая война! Из Парижа? А как теперь в Париже полиция? Вена—прекрасный город. Ринг, Кертнерштрассе... Вы были в Лондоне? Он имеет свои преимущества.—Все это мимоходом.

— Вы, повидимому, хорошо знаете Европу?

— Да, недурно. И обе Америки тоже.

— Но в России вы не были?

— Был. Во время войны. Раньше в Лодзи, а когда немцы туда пришли, я переехал в Варшаву. Там было одно хорошее предприятие, на восемьдесят тысяч франков...

Тут он оборвал себя и не стал продолжать. Я тоже не смущал его профессиональной скромности. Помолчали.

— А с русской полицией у вас не было неприятностей?—спросил я осторожно.

— О, нет. Только паспорта у вас спрашивают слишком часто.

Из России он перебрался каким-то образом в Венгрию, из Венгрии—в Италию, оттуда в Испанию. Здесь его забрала полиция—„без всякого смысла". Газеты, видите ли, слишком много писали о нем после его возвращения, делали ему нелепую рекламу,—и вот результат. Проклятая война расстраивает все планы.

— А какого вы мнения о Канаде?—спрашивает он меня неожиданно,—я думаю туда съездить.

— Канада?—отвечаю я нерешительно.—Там, знаете, много фермеров и молодой буржуазии, у которой должен быть культ собственности, как, например, в Швейцарии.

— Гм... Да, это возможно,—говорит он с раздражением,—весьма возможно.

Вечером приехал в тюрьму одноглазый шпик и заявил мне—точно о совершенно новом факте,—что правительство меня высылает из Испании и предлагает выбрать страну. Как будто вчера ничего не было говорено! Но на сей раз он от мадридского градоначальника. Отвечаю: пока держите в тюрьме, не предприму никаких мер к переселению в другую страну. Если ваше правительство хочет, чтобы я выехал, пусть мне даст срок и свободу. Обещал ответ завтра или послезавтра.

Переводчиком между мною и шпиком (с ним—помощник начальника тюрьмы) служил кособокий немец. Он очень робел и переводил мои слова смягчая.

Суббота.

Сегодня утром опять принесли грязную жижу под видом кофе. Не пил и не ел в течение 30 часов. Слабость во всем теле, но голова

работает ясно. Решил написать письмо министру внутренних дел (по-французски).

Господину министру внутренних дел.

Господин министр! Имею честь предъявить Вам самый энергичный и торжественный протест против действий мадридской полиции в отношении меня. Меня арестовали третьего дня в 2 часа пополудни и заключили в тюрьму—не только против всяких прав, но и против здравого смысла. Я выслан из Франции за свою так называемую пацифистскую деятельность. Здесь нет надобности расследовать, в какой мере эта высылка была основательна или же объяснялась влиянием военной нервозности на французскую полицию. Но во Франции меня не арестовывали. Меня письменно пригласили в префектуру и дали мне срок, который, вместе с отсрочками, предоставил в мое распоряжение 2 месяца для устройства моих дел.

Здесь, в Мадриде, меня арестовали без каких бы то ни было объяснений, кроме следующей, почти классической, фразы: „Ваши идеи слишком передовые для Испании".

Я не знаю, достаточно ли и каким путем мадридская полиция осведомлена о моих идеях. Я их выражал в течение моей двадцатилетней сознательной жизни в книгах, брошюрах и статьях, русских немецких и французских, но никогда—по-испански... В префектуре Мадрида я имел случай констатировать, что там не имеют никакой идеи о моих идеях. Но я вообще не думаю, что можно заключить в тюрьму за „идеи", которые данное лицо не только не применяло, но и не выражало в соответственной стране, тем более, что это лицо не имеет и материальной возможности выражать свои идеи. Я в первый раз в Испании. Всего 10 дней, как я приехал в эту страну. Я не владею испанским языком. У меня нет никаких знакомств во всей Испании. Согласитесь, что это идеальные условия для исключения какой бы то ни было возможности угрожать безопасности чего бы то ни было. Почему меня арестовали?—вот вопрос, который осмеливаюсь Вам поставить, господин министр.

Вчера прислали ко мне в тюрьму агента охраны, который мне повторил, что я должен покинуть Испанию и немедленно указать, в какую страну я хочу направиться. Но сейчас я не имею возможности свободно выехать куда бы то ни было: предварительно нужно получить согласие соответственного правительства и особенно после ареста в Мадриде, ибо, господин министр, ни один человек в Европе и во всем мире не захочет поверить, что я был арестован в Мадриде без всякой, не только осязаемой, но и умо-постигаемой причины. Своими мероприятиями мадридская полиция создает вокруг меня легенду, которая материально мешает мне покинуть страну, несмотря на мою готовность. Не дожидаясь постановления о моей высылке из Испании, еще накануне моего ареста я предпринял необходимые шаги, чтобы выехать в

Швейцарию. Ныне шаги прерваны. В тюрьме я не могу ничего сделать для того, чтобы получить—на-ряду с полицейским приказом о выезде—также и материальную возможность выполнить этот приказ. Мне не остается ничего другого, как пассивно дожидаться дальнейших мероприятий испанской полиции и протестовать против ее, поистине, средневековых методов.

Примите, господин министр, выражение моих изысканнейших чувств.

Из-за писания письма да еще из-за слабости не пошел на прогулку. Но не успел кончить, как позвали куда-то. Оказывается, для антропометрических измерений. Обширная часть тюрьмы отведена под это учреждение. Целая стена занята ящиками, которые заполнены карточками в алфавитном порядке. Есть, стало быть, область, где Испания идет вполне в ногу с „передовыми идеями“. Мне предложили испачкать свои пальцы в типографскую краску и дать их оттиск на карточках. Я запротестовал.—Но это обязательно!—повторял изумленно чиновник, заведующий антропометрией.—Всякий проходящий через нашу тюрьму подвергается дактилоскопии.

— Но я протестую именно против того, что меня заставили пройти через вашу тюрьму.

— Но мы тут не при чем.

— Но я только вас и вижу перед собой.

И т. д., и т. д. Известный диалог.

— Но мы обязаны будем применить силу.

— Что ж? Надзиратель может мазать мои пальцы и печатать их, я лично не „пошевелю пальцем“,—на этот раз в буквальном смысле слов.

Так и было. Я глядел в окно, а надзиратель вежливо пачкал мою руку, палец за пальцем, и накладывал раз десять на всякие карточки и листы,—сперва правую руку, потом левую. Дальше мне предложили сесть и снять обувь. Я отказался. Тот же диалог, но в несколько более повышенном тоне, по крайней мере, с моей стороны. Пригласили старшего помощника, вежливого, как и все. „Parlez-vous français?“—говорит он мне. „Oui, monsieur“,—отвечаю я ему с облегчением, ибо разговор с остальными происходил на импровизированном эсперанто. Но повторилось то же: новопришедший кроме фразы „говорите ли вы по-французски“ ничего по-французски не знал. Позвали переводчика-арестанта. Я объяснил, что ничего против них лично не имею, ценю их вежливость, но что не желаю подвергаться добровольно унизительной процедуре, пока мне не скажут, в чем я обвиняюсь. В конце концов меня неожиданно отпустили на свидание, найдя в этом выход из положения.

Пришли ко мне Депре с одним из членов Центрального Комитета Испанской соц. партии. Оказывается, что Депре уже предпринял некоторые шаги. Кто-то отправился к министру внутренних дел, кто-то к Романонесу. Началась маленькая кампания в прессе. „El socialista“,

весьма франкофильский, напечатал статью по поводу моего ареста; какой-то газете („скорее германофильской") появилась о том же заметка. Еще важнее показалось мне то, что Депре прислал консервов и даже... варенья. Я набросился на все это после долгого поста с великой жадностью...

...Тюремные надзиратели, как и более высокое тюремное начальство, производят впечатление добродушия и южной мягкости Не видно натасканного зверства, ни внутренней угрюмости. При противодействии теряются.

Столкнулся с тюремным священником. Большинство попов здесь на стороне центральных империй и потому ведут пацифистскую линию из опасения, чтоб Антанта не втянула Испанию в войну на своей стороне. Поп выразил свои католические симпатии моему пацифизму. Но в то же время прибавил в утешение: „Pacienzia, pacienzia" (Терпение!).

6 часов вечера. Тихо. Надзиратель приходил в последний раз с арестантом, заведующим хозяйством. Принесли мне 3 яйца. Спросил, не холодно ли с открытыми окнами. Этот вопрос надзиратель задает каждый раз, когда входит. Я успокоил его, объяснив, что у меня окна открыты и зимою всю ночь.—Вы очень крепки,—говорит надзиратель, небольшого роста, худощавый человек и показывает мне, как он дрожит ночью на дежурстве. А уголовный эконом, добродушнейший и глупейший парень, который обкрадывает меня в соответствии со своим двойным званием, уголовного и эконома, ободряюще хлопает меня по плечу. Потом прощаемся, надзиратель медленно закрывает дверь, запирает ее на ночь, и я один. Теперь уже ничто не станет беспокоить меня. Это самое лучшее время во всех тюрьмах. Как хорошо было бы сидеть так до двенадцати часов; если бы свет и чай. Но для чаю нужен чайник (машинку мне прислал Депре), а электричество у меня роведут только завтра, по особому заказу. Чтоб пользоваться электричеством до часу ночи, нужно платить два с половиной франка в месяц. Она прямо-таки удивительна, эта мадридская тюрьма! Здесь все можно иметь: хорошую комнату, пиво, вино, табак, свет до поздней ночи,—нужно только платить. Этот тюремный либерализм имеет под собою несомненные фискальные мотивы. Сдавая эти „номера" в наем более зажиточным из своих невольных постояльцев, государство аводит экономию на тюремных расходах. А при вечно дефицитном испанском бюджете этот вопрос не маловажен...

Кашляющий кособокий немец оказывается, на поверку, не немец, а испанец или, может быть, испанский еврей. Жалкий хвастунишка. У него дядя, по его словам,—председатель окружного суда в Мадриде. Сам он был торговым агентом, но со времени войны связи оборвались, он стал учительствовать, отец двух его учеников дал ему сто песет для уплаты куда-то за экзамены, а у него случилось экстренное семейное обстоятельство и пр.

Про короля воров он сообщил любопытные подробности. Тот вернулся из заграничных гастролей во время войны, имея 50.000 франков в кармане: не остаток ли от варшавской операции, о которой сам король мне глухо упоминал? В Мадриде он сейчас же вошел в общество кутящей молодежи, проводил очень весело время со своими молодыми, нередко весьма аристократическими друзьями, от которых он ничем не отличался, и меньше всего—манерами. Многих из этой молодежи он подбивал на кражи у своих родных. Те усваивали приемы отмычки так же легко, как их наставник—аристократические манеры. В конце концов о нем заговорили, газеты называли его „графчиком“, полиция заинтересовалась им, произвела обыск и нашла воровские инструменты. Вот почему он и сидит теперь.

Сам король мне сегодня рассказал мимоходом при случайной встрече в зале свиданий (разделенном, как и везде, двумя решетками), что раньше он был анархистом и имел на этой почве в Барселоне столкновения с полицией.—„Но я давно покончил с моими идеями“.—прибавил он сухо. Король вообще говорит твердо, кратко, без хвастовства, по крайней мере явного, как и полагается к
производит впечатление серьезного, выдержанного вора и притом, действительно, высокого полета.

Плотный испанец с черной, как смоль, бородой, прозванный Санхо-Панса, оказывается довольно крупный углеторговец. Он кого-то обманул на 1.000 песет, вот и все. Вчера он был как-то неуверен и молчалив, но сегодня, на второй день своего пребывания в тюрьме, чувствует себя, как дома, шутит с независимым видом и знаками спрашивает меня, хорошо ли я спал.

Кубанец пел сегодня из „Риголетто“ из и „Аиды“. У него недурной баритон и выразительное лицо. Он готовился к оперной карьере, но „погиб“ из-за какой-то женщины, которая донесла на него, будто он покушался на ее жизнь. Приговорен он к $2^1/_2$ годам. Но кособокий испанец, которого я принимал за немца и который все знает, говорит будто у кубанца была какая-то история еще на Кубе, где он зарезал негра и был за это приговорен к $8^1/_2$ годам каторжных работ. Ко мне кубанец относится с явной симпатией, утверждает, что хотя и не может со мной объясниться, но видит по лицу, что я хороший товарищ, и папироску, которую я ему дал, пошлет своей жене—my lady,—говорит он из своего небогатого английского словаря. И тут же уверяет, что его лэди замечательная красавица. Не на нее ли он покушался с ножом? Он, несомненно, ненормален, ко всем пристает, поет, свистит, но иногда злобно огрызнется, если его затронут, и превосходно подражает лаю собаки.

* * *

Но все-таки: чего от меня хотят испанские власти? Почему арестовали? Почему держат в тюрьме? Каковы дальнейшие их виды?

Мой арест не есть во всяком случае случайный арест проезжего русского эмигранта, у которого бумаги не в порядке, арест подозрительного человека, которого они не знают. Наоборот, они не заглянули в бумаги. Они меня арестовали, именно потому, что знали. Следовательно, это—арест подготовленный и рассчитанный. Какая же его цель? Для чего они держат меня?

Попробуем свести воедино.

1. Французское правительство непременно хотело выслать меня в Испанию, а не в какую-либо другую страну.

2. Испанское правительство вынесло постановление о моем аресте и заключении в тюрьму до моего допроса,—стало быть исключительно на основании французских сообщений (NB: разумеется, за всем этим стоит царская дипломатия).

3. Но какой интерес у Испании?

а) обще-полицейский;

б) „маленькие подарочки поддерживают дружбу" (французская пословица), а испанское правительство находится сейчас фактически в услужении у Антанты.

Но зачем меня держат в тюрьме? Что-то, очевидно, готовят. Но что именно? Не отправят ли в один из средиземных портов, чтобы оттуда „нечаянно", „по недоразумению" выбросить меня на корабль, с которого я попаду на русское военное или транспортное судно? Организовать это вовсе не так трудно—под закулисным руководством русского посольства в Париже и его здешней агентуры. Ведь крови-то мы им нашей ежедневной газетой испортили не мало. А в Средиземном море есть русские суда. Меня и держат в тюрьме до надлежащего момента.

Вывод: немедленно написать обо всем этом Депре, чтобы поднять надлежащую кампанию в прессе.

Сделано!

Воскресенье, 12 ноября.

Освобождение из тюрьмы. Комиссар: Вы останетесь на несколько дней здесь, потом будете высланы.—Куда?—Не знаю. Шпик (через час): Вы уедете сегодня вечером в Кадикс.—Кадикс? Так и есть! Южный порт. Сон в руку!

Меня провожают по коридору „товарищи" по заключению.

„Немец"-воришка: Вы, наверно, останетесь в Испании. А когда я выйду, я вас поселю у себя в доме, и я скажу, что я ручаюсь за этого человека!

Таким образом у меня есть в Испании влиятельный покровитель. Жаль только, что он в тюрьме...

Надушенный полицейский комиссар, явившись за мною в тюрьму, первым делом: Bonjour, monsieur, comment vous portez-vous? (Здрав-

ствуйте, как поживаете?) Избыток южного добродушия или издевательство?

— А вы?—спросил я его.

Он (смущенно): Мерси, очень хорошо.

Я: Я также, мерси.

После этого он заговорил менее фамильярным тоном. Одноглазый шпик привез меня из тюрьмы в мой пансион. Там меня, смущенного, встретили, к великому моему изумлению, очень хорошо. Чему приписать их необыкновенное сочувствие? Потом я понял: сюда приходил Депре, не простой смертный, а директор мадридского отделения страхового общества, и разъяснил, что я не фальшивомонетчик и не немецкий шпион, а „пацифист“, стою за мир (как в Испании!) и, кроме того, аккуратно уплачу по счету.

С Депре условились насчет необходимых шагов в печати и в парламенте по поводу высылки в Кадикс. Шпик дежурил у ворот пансиона, провожал меня, когда я выходил, и так как я не знал дороги, то он проявлял величайшую догадливость: „Не нужен ли вам рабочий дом?“ и показывал мне направление.

Он же спросил меня, желаю ли я сам платить за свой билет до Кадикса. Я твердо отказался. Достаточно платы за номер в образцовой тюрьме. В конце концов мне нет нужды ехать в Кадикс.

Вечером меня увезли — за счет испанского государственного бюджета.

Правда ли, что в России абсолютизм «существовал наперекор общественному развитию»?

(По поводу вступительной главы последней книги тов. Троцкого: „1905".)

М. Н. Покровский.

Тов. Л. Д. Троцкий очень хорошо сделал, что переиздал свои очерки, посвященные истории первой рабочей революции в России. Не говоря уже о том, что у нас для эпохи 1905—1907 годов нет пока никакого своего руководства (есть два, изданных меньшевиками,— но для нас они могут иметь значение лишь сборников материала), и основные главы книги т. Троцкого помогают до некоторой степени пополнить этот пробел,—книга великолепна, как книга, сама по себе Она писалась по свежим следам событий (кое-что еще в 1905, самое позднее в 1908—1909 г.г.) и сохранила весь аромат нашей революционной весны. Теперь так не напишешь, какие источники под руками ни имей. Позднейшие руководства будут полнее с фактической стороны сумеют сообщить такие детали, которых т. Троцкий в свое время не мог знать, следя за перипетиями борьбы лишь с одной стороны баррикады, но такой поэмы в прозе о 1905 годе они не дадут.

Если прибавить, что в книге там и сям разбросаны ценнейшие детали чисто-мемуарного характера (чего стоит хотя бы картинка салонной революции, в гостиной баронессы Икскуль, набросанная на стр. 169—170 книги!), мы поймем, что не только изучающим она, пока что, заменит руководство—но и тем, кто будет писать такие руководства, без помощи „1905" не обойтись.

Идейное содержание книги так значительно, что оно, конечно будет еще предметом долгих дебатов в партийной прессе. Не отказывая себе в удовольствии принять участие в этих дебатах, сейчас пишущий эти строки хотел бы коснуться вопроса, с точки зрения основной задачи книги, может быть, и второстепенного, но отнюдь не лишенного крупного практического, точнее говоря педагогического, значения. Повторим еще раз, рискуя надоесть читателю: книга пока что, заменяет несуществующее руководство. Ее будут изучать И так как речь идет об авторе, каждое слово которого имеет исключительный вес, каждое положение книги отпечатлеет[illegible] в тысячах юных мозгов. А, благодаря лапидарно-художественному стилю, каким книга написана, этот отпечаток может оказаться настолько прочным, что потом уже десятки книг, менее талантливых литературно и подписанных менее авторитетными именами, его не сотрут.

И тут приходится сказать прямо: хорошо что тов. Троцкий переиздал свои очерки; нехорошо, что он их переиздал целиком, без пропусков. То, что было полезно и даже необходимо в 1908—1909 г.г. заграничной публике, с ее безграничным невежеством в русском прошлом,—совсем не нужно теперешней молодежи, кое-чему уже научившейся. И есть опасность, что теперь начнут переучиваться: ведь, легкое дело—Троцкий сказал!

Это относится, главным образом, к вступительным главам, а в особенности к первой главе: „Социальное развитие России и царизм". Главы эти—и особенно первая—имеют дать схему русского исторического развития до начала революции. Как всякая схема, ясная и отчетливая, схема тов. Троцкого легко запоминается и усваивается. И это очень жаль. Ибо схема эта, во-первых, не наша; а во-вторых, объективно не верна.

Постараемся доказать то и другое.

„Русское государство, возникшее на примитивной экономической основе, столкнулось на своем пути с государственными организациями, которые сложились на более высоком экономическом базисе. Здесь открывались две возможности: русское государство должно было либо пасть в борьбе с ними, как пала Золотая Орда в борьбе с московским царством, либо оно должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений, поглощая под давлением извне несоразмерно большую часть жизненных соков нации..." „...Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику, нанимать военных специалистов, государственных фальшивомонетчиков и пороховщиков, доставать учебники по фортификации, вводить навигационные школы, фабрики, тайных и действительных тайных советников..." „В результате этого давления Западной Европы самодержавное государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, т.-е. жило за счет формировавшихся привилегированных классов и тем задерживало их и без того медленное развитие..." „В своем стремлении к созданию централизованного государственного аппарата царизму приходилось не столько тягаться с притязаниями привилегированных сословий, сколько бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью. Не равновесие экономически-господствующих классов, как на Западе, а их социальная слабость и политическое ничтожество создали из бюрократического самодержавия самодовлеющую организацию..." „Чем централизованнее государство и чем независимее от господствующих классов, тем скорее оно превращается в самодовлеющую организацию, стоящую над обществом..."[1])

Что это такое, как не теория внеклассового государства, которую развивал Милюков без помощи марксистской терминологии и Струве с помощью последней? Пусть тов. Троцкий отмежевывается от Милюкова на стр. 19 (характерно, что он почувствовал эту потребность!): все же, стоя на своей позиции, он не может сказать о кадетском историке больше, чем, что схема того есть „страшное преувеличение". Преувеличение чего? Ошибки или правильного

---

[1]) „1905", стр. 16—21, passim. Разрядка везде наша. *М. П.*

основе понимания русского исторического процесса? Ясно, что последнего...

В самом деле, какой же класс или классы представляло в русской истории самодержавие? Не „привилегированные"—это ясно из приведенных цитат: самодержавие стояло над ними. Тогда, может быть, не привилегированные? Но это вопрос чисто-риторический: не может же тов. Троцкий стоять на точке зрения „социальной монархии". Значит, никаких классов самодержавие не представляло, стояло над классами—что, впрочем, на стр. 21 и сказано всеми словами („самодовлеющая организация, стоящая над обществом").

Понятно, зачем кадетским историкам нужно было поддерживать иллюзию внеклассового русского самодержавия. Внеклассовая верхушка русского государства предполагала и возможность внеклассовой перестройки этой верхушки. Самодержавие должно было быть заменено конституционной монархией: но при чем тут классы? При чем тут пролетариат и крестьянство? От них можно отделаться уступками в „социальной" области (8-часовой рабочий день „по возможности", наделение крестьян землею за выкуп). А политическая власть должна остаться „внеклассовой"—то-есть буржуазной.

Повторяем, с кадетской политикой все это великолепно вяжется. Но как это связать с нашими призывами к пролетариату—бороться с буржуазией за власть? Как это отнимать у буржуазии то, чего она сама не имела? Зачем вообще осложнять борьбу с „внеклассовым" самодержавием классовыми мотивами? Надо бороться с бюрократией, с армией, с полицией—а за что припутывать тут буржуазию? Ведь самодержавие жило и на ее счет („жило за счет формировавшихся привилегированных классов и тем задерживало их развитие", стр. 18). Это самое и говорили кадеты против большевиков: осложняют борьбу, направляют энергию не по надлежащему руслу, тратят ее зря,—словом, косвенно, по неразумию, помогают абсолютизму. Это самое и говорили кадеты, вполне последовательно применяя к текущей политике свою историческую теорию—внеклассового самодержавия.

Нет, это не наша теория—и нехорошо прикрывать ее одним из авторитетнейших партийных имен. Тем более, что в прошлом она уже имеет за собою одно—имя Плеханова, который попал на ту же дорогу (и затем пошел гораздо дальше): сначала, в 1905—1907 годах, стал применять кадетскую теорию на практике, а потом, в 1913—1914, истолковал при ее помощи русскую историю (для читавших введение к „Истории русской общественной мысли" вводные главы книги тов. Троцкого уже прозвучали, конечно, очень знакомо). С этой теорией необходимо бороться самым решительным образом, не менее энергично, нежели мы боремся теперь с религиозными предрассудками. Я даже скажу больше: не так важно доказать, что Иисус Христос, исторически, не существовал, как то, что в России никогда не существовало внеклассового государства.

По отношению к новейшему времени дело, впрочем, обстоит и сейчас гораздо благополучнее, чем может показаться читателю „1905". Оспаривать классовый характер буржуазных реформ Александра II, анти-буржуазный, т.-е. тоже классовый, характер контрреформ Александра III, классовое значение закона 9 ноября 1906 года или цензовой системы выборов в Государственную Думу не решился бы теперь и ни один из кадетских историков. Во всяком случае, крупнейший народнический авторитет в области русской истории,

покойный В. И. Семевский, до конца жизни негодовавший на попытки дать классовую характеристику декабристов, охотно соглашался, что главы о крестьянской реформе в „Истории России XIX в." (гранатовское издание) есть „лучший сжатый очерк" по этому вопросу, какой существует в русской литературе: а эти главы выдержаны с самой определенной классовой точки зрения. Теперь даже и Милюков, в последнем фазисе своей эволюции, соглашается признать стержнем всего революционного движения в России борьбу крестьян за землю: т.-е. чисто классовый момент (см. введение ко 2-му изданию его „Истории русской революции"). А классовому напору снизу соответствовал, само собою разумеется, и классовый же отпор сверху: если суть революции была в стремлении крестьян захватить помещичью землю, то суть реакции, очевидно, выражалась в стремлении защитить помещичью собственность. И орган этой реакции, самодержавие, было, стало быть, классовым дворянским правительством.

Мы боимся продолжать эти трюизмы—боимся услыхать негодующий голос тов. Троцкого, заявляющего, что он сам все это отлично знает. Конечно, знает: нельзя себе представить ни одного марксистского агитатора, не то что Троцкого, который бы этого не знал. Но написалось-то у т. Троцкого как раз противоположное: и есть серьезные основания опасаться, что, прочитав „новую" теорию, рядовые-то агитаторы начнут переучиваться...

Но если с временами новейшими дело обстоит благополучно, не так просто стоит вопрос о возникновении русского самодержавия. Этот вопрос, о возникновении русского абсолютизма, и оказался тем крючком, на который буржуазные историки поймали двух чрезвычайно крупных марксистских рыб. Поймали потому так легко, что марксисты тут, в этом вопросе, были перед ними совершенно беззащитны: ибо существующие буржуазные книжки для материалистического объяснения факта, разумеется, ничего не дают. И не дают даже не потому, что сознательно хотят втереть очки, замазать истину, а просто потому, что сами смотрят совсем в другую сторону; не питая ни малейшего сомнения насчет догмата внеклассового государства, буржуазные историки и не ищут, конечно, экономической базы самодержавия. Им нужно объяснение политическое: его они находят, вполне удовлетворительное, с их точки зрения, в интересах военной обороны от внешнего врага. Почему Русь сплотилась около Москвы? Нужно было защищаться от татар. Ясно и просто.

К чести исторического вкуса тов. Троцкого, его это банальное объяснение не удовлетворило. „Борьба с крымскими и ногайскими татарами вызывала большое напряжение сил. Но, разумеется, не большее, чем вековая борьба Франции с Англией. Не татары вынудили Русь ввести огнестрельное оружие и создать постоянные стрелецкие полки; не татары заставили впоследствии создать рейтарскую конницу и солдатскую пехоту" (стр. 16). Казалось, тут-то бы и сказать: не военные, т.-е. не политические интересы лежали в основе, а экономические; московское самодержавие отвечало чьим-то классовым интересам. Но так как ни одного факта, ведущего в этом направлении, у т. Троцкого в 1909 году не было (у Плеханова в 1913 уже были—но на том так крепко сидели тогда кадетские шоры, что он их не пожелал видеть), то он был перед Милюковым—его несомненным источником в данном вопросе—совершенно беспомощен. Он попробовал только среди фактов, какие он мог найти в кадетской

историографии, найти более приличные, с точки зрения марксист
И попытался несколько утончить „военную“ гипотезу: не примитивны
потребности борьбы с татарскими грабежами, а борьба с запа
пыми странами выковала военную диктатуру московского царя. „Ту
было давление Литвы, Польши и Швеции“.

Но где тонко, там и рвется. Объяснение „от татар“ было, к
нечно, очень плоское и банальное—зато окончательное. Иб
татары приходили Русь грабить—и только: тут был, действительн
вопрос самосохранения: буржуазным историкам оставалось тольк
раздуть до беспредельности этот, сам по себе несомненный, тольк
вовсе не очень значительный, факт. А вот из-за чего же с „Литво
Польшей и Швецией“ началась драка? Это же, ведь, не просто сте
ные разбойники? У них-то были какие-то экономические побуждени
нападать на Русь (допустим на минуту, что нападали, действительн
они: сейчас мы увидим, что было наоборот)? Какие же? Стремлени
заполучить в свои руки ценное русское сырье—каменный уголь, нефт
железную руду? Но позвольте—ведь это было за двести лет до изобр
тения машин, и о пользе каменного угля и нефти тогда никто и н
думал; равномерно никто не подозревал, что в пределах России имеетс
хорошая железная руда—она была открыта, на Урале, гораздо позж
Чего же им было нужно?

Заставим, по возможности, говорить современников. Вот один и
врагов московской России XVI в.—Польша. Польский король Сиги
мунд объясняет английской королеве Елизавете, почему Польш
должна была заблокироварь Нарву (дело происходит в разгаре Ливон
ской войны между московским царством и польско-литовским,
1568 году): „...Как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашем
вел-ву, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свобод
под небесами, московит, ежедневно усиливается по мере большог
подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда доставляются ем
не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера,
художники: благодаря этому он укрепляется для победы над всем
прочими государями. Этому нельзя положить предела, пока будут со
вершаться эти плавания в Нарву“ [1]).

Из-за чего же шла война между Польшей и Россией? Из-за мор
ского порта, из-за Нарвы. Общее говоря, из-за торговых путей
Король Сигизмунд пытался уверить Елизавету, что если открыть это
торговый путь москвитянам, оттого будет непоправимый вред „всем
христианству“ (тогда какую бы пакость дипломаты ни замышляли, он
всегда ссылались на интересы „всего христианства“: совершенно так
как теперь говорят об „интересах человечества и цивилизации“). Цар
Иван смотрел, конечно, на дело с противоположной точки зрения (
Елизавета была на его стороне). Почему же он затеял драку за тор
говые пути?

Дадим слово другому современнику. Лет за пятьдесят до Ливон
ской войны был в России, послом от германского императора, баро
Герберштейн. Он очень заинтересовался этой страной, тогда столь ж
новой для западных европейцев, как в XIX веке Китай или Япония
и оставил весьма добросовестное описание всего, что видел. Так ка
дело происходило около 1520 года, казалось бы, Герберштейн долже
был найти у москвитян такое „натуральное“ хозяйство, что хоть оранг

[1]) „Первые сорок лет сношений между Россией и Англией, 1553—1593. Грамоты собранные и изданные Ю. Толстым“, стр. 32—33.

утангам впору: ведь, Милюков уверял своих читателей, что еще в конце XVIII века русский помещичий дом представлял собою вполне самодовлеющее хозяйственное целое. Но за триста почти лет до этого немецкий барон имел случай испытать на собственной шкуре всю несостоятельность кадетской историографии. „Ростовщичество—жалуется он—чрезвычайно распространено: и хотя они (московиты) и называют его большим грехом, тем не менее никто от этого греха не воздерживается. Размеров оно достигает невыносимых: нередко один с пяти, то есть 20%. Не столь жестоки, кажется, церкви: они, как говорят, берут и десять со ста".

Не только на-лицо развитой денежный оборот, но уже успели выказаться явные преимущества крупного капитала: „церкви"—т.-е. собственно монастыри,—оперирующие более крупными суммами, берут вдвое меньше мелких ростовщиков. Совершенно, как у нас в конце XIX века: помещик в банке получал деньги под залог имения из 6—7%, а крестьянин кредитовался у мелкого сельского кулака из 40%.

Но позвольте, скажет читатель: ростовщичество, ведь, это еще не Бог весть что, в смысле развития товарного хозяйства. Ведь вот они все же рост грехом считали, значит нормой-то было именно натуральное хозяйство. Приведем еще выдержку из того же источника, немного выше:

„Просил я одного боярина (consiliarium Principis) помочь мне в покупке мехов, чтобы меня не обманули: он сейчас же обещал мне свое содействие, а потом стал тянуть дело. Хотел мне навязать свои собственные меха: а в то же время к нему стали сбегаться торговцы, обещая премию (!), ежели сбудет мне их товары по хорошей цене" [1].

Итак, дело шло вовсе не о мелком деревенском ростовщичестве— на котором, впрочем, и не смог бы вырасти крупный капитал монастырей: был рынок, были крупные торговые обороты, и в них принимали участие виднейшие люди страны, члены боярской думы.

Широта этих торговых оборотов,—т.-е. широта в пространственном смысле: по суммам тогдашний рынок был, конечно, в сотни раз уже даже теперешнего, послевоенного—нас, сбитых с толку нашей железнодорожной сетью и созданной ею новой экономической географией, способна привести прямо в остолбенение. Кто бы подумал, что Дмитров (Московской губ.) и Вязьма могли быть центрами международного обмена? А между тем послушайте Герберштейна. „Дмитров город с кремлем, от Москвы немного к северо-западу, отстоит на 12 миль (Г. везде считает немецкие мили, по 7 верст). Через него протекает река Яхрома, впадающая в Сестру, а Сестра в Дубну, впадающую в Волгу. Благодаря такому удобному расположению рек, там много торговцев, которые привозят товары с Каспийского моря по Волге и распространяют их, без большого труда, в разные стороны, вплоть до Москвы". „Под городом Вязьмой река того же имени недалеко оттуда, в двух, кажется, верстах, впадает в Днепр: оттуда груженые товарами суда спускаются в Днепр, и потом снова поднимаются по Днепру до Вязьмы". Таким путем шли в Литву товары из Москвы и с ярмарки в Холопьем городке (на устье Мологи). Герберштейн сам ехал этой дорогой, из Орши через Смоленск, при чем багаж посольства шел на судах до Вязьмы [2].

---

[1]) „Rerum Moscoviticorum auctores varii", стр. 44 и 43.
[2]) Ibid., стр. 57 и 52—53.

При таком расположении торговых путей не мудрено, что деревянная посуда, которую выделывали калужские кустари, шла за границу, в ту же Литву. Что же касается социального удельного веса московских людей XVI века, заинтересованных в коммерции, то вот какой анекдот, лет 40 спустя, случился с англичанами, тогда уже открывшими путь в Россию через Белое море. „Перед приездом Бауса (посла Елизаветы) в Москву голландская компания хлопотала об уничтожении торговых льгот, данных англичанам московским правительством, и приобрела себе в Москве друзей—Никиту Романовича (NB. родоначальника романовской династии. *М. П.*), Богдана Бельского и Андрея Щелкалова, ибо, кроме ежедневных подарков этим советникам царским, голландцы заняли у них столько денег по 25 процентов, что платили одному из них ежегодно по 5.000 рублей; английские же купцы не имели в это время при дворе ни одного доброжелателя“ [1]).

Итак, акционерами голландской компании, торговавшей в России при Иване Грозном, были царский шурин, очередной царский фаворит и министр иностранных дел. Компания—хоть бы любому теперешнему „культурному“ государству! Но англичане скоро нашлись, и немного лет спустя акционерами их компании были Борис Годунов—фактический царь—и Федор Иванович—царь номинальный; после этого конкуренции голландцев они могли, пока что, не опасаться.

Когда мы, среди всего этого, узнаем от авторитетнейшего тогдашнего церковного проповедника, что его современники пренебрегали земледелием и думали только о торговле, когда мы слышим, что другое, еще более знаменитое духовное лицо, протопоп Сильвестр, царский духовник, своего рода Распутин—только менее декадентского пошиба, чем наш современник,—правильно организовал коммерческое образование, и многие его воспитанники „торговали в различных странах всякими товарами“, нас это уже совершенно не удивляет. Нам остается только привести пару примеров, показывающих как близка была к коммерческому миру сама государственная власть—и как тонко разбирались носители этой власти в делах этого мира.

В 1572 г. Грозный принимал в Александровской слободе посла Елизаветы Дженкинсона. Жалуясь на предшественника последнего, Рандольфа, царь говорил: „Все его речи были о купеческих делах, а о наших делах он ничего не говорил. Мы знаем, что нужно выслушивать речи о купеческих делах, так как они опора нашей государственной казны; но сперва нужно установить дела государей, а потом уже купцов“.

Грозному в этот момент крайне важен был политический союз Англии: а Елизавета упорно держалась на линии „торговых сношений“. Ему нужно было де юре, а она ему предлагала де факто. Но огромное значение этого „де факто“ Грозный великолепно понимал, как видно уже и из только что цитированных его слов, и еще больше из того, что он же говорил четыре года спустя следующему

---

[1]) Ключевский, „Сказания иностранцев о московском государстве“, изд. 1918 г., стр. 276. Русский рубль этого времени равняется 25 теперешним золотым рублям. Интересующимся русской экономикой московской эпохи чрезвычайно полезно прочесть соответствующую главу („Торговля“) сводки Ключевского. Как раз отзывы иностранцев, с этой экономикой соприкасавшихся в первую очередь, особенно способны ликвидировать предрассудок о „примитивной экономической основе“, на которой якобы возникло московское самодержавие. На самом деле „основа“ была ничуть не более „примитивна“, нежели та, на которой во Франции выросло самодержавие последних прямых Капетингов (XIII—XIV в.в.).

английскому агенту, Даниилу Сильвестру. „Мы хорошо помним, сколь полезны для Англии товары наших стран; в особенности же дозволение нами, чтобы англичане строили дома для делания канатов (что воспрещено всем другим народам), не только прибыльно для купцов, но и весьма выгодно для всего Английского государства. Если мы не встретим в будущем в нашей сестре более готовности, чем ныне, то все это, а также и все остальные льготы будут у них отняты, и мы эту торговлю передадим венецианцам и германцам, от которых они (англичане) получают бо́льшую часть тех товаров, которые нам доставляют“ [1]).

Если царские приближенные были акционерами, то сам царь годился в директора акционерной компании. И когда этот хитрый московский кулак, достойный потомок Ивана Калиты, схватился за первый попавшийся предлог, чтобы напасть на разваливавшийся ливонский орден—и захватить себе порт, а то и порты, на Балтийском море, то это нас уже может удивить всего менее. Царь торговой страны— а такой было московское государство XVI века—не мог поступать иначе.

А для того, чтобы биться за торговые пути, нужно было и стрелецкое войско, и позже солдатские и рейтарские полки, в этом тов. Троцкий вполне прав. Неправ он только в том, что, каким-то непостижимым образом, выводит все это из медленного экономического развития и отсталости московского государства. Дело не в отсталости—а в том, что это была **новая** страна, захваченная развитием торгового капитализма, и что ей приходилось отбивать себе место на солнышке у более старых, прочно укоренившихся, конкурентов. Для этого русскому торговому капиталу пришлось сковать страну железной дисциплиной и выработать настоящую диктатуру. Воплощением этой диктатуры торгового капитала и было московское самодержавие.

---

[1]) Цитир. уже сборник Ю. Толстого: „Россия и Англия“, стр. 135 и 187. Разрядка наша.

Сумерки божков.

С. Членов.

История философствует молотом. Колоссы на глиняных ногах с грохотом рушатся под ударами ее критики. Над сознанием человечества веками властвовала идея всеведущего, всемогущего и всеблагого государства. Правда, она проделала весьма сложную и достаточно решительную эволюцию. От монархии божьей милостью—к абсолютной демократии, ко все еще неумирающему фетишу „народного государства".

Давно умерла идея монархии во всех ее вариантах. Начиная с эгоцентрической монархии с ее классическими формулами—„государство—это я" и „после нас хоть потоп" и кончая „социальной монархией" с ее претензиями на сверхклассовую универсальность. У этой почтенной дамы уже не осталось рыцарей. И только Шпенглер как современный Дон-Кихот еще защищает с „тевтонской яростью" истрепанное и покинутое знамя прусской социалистической и милитаристской внеклассовой и абсолютно-совершенной монархии.

Но крушение монархии и монархической идеи еще не означало ни в какой мере крушения фетиша государства. Напротив, этот всемогущий идол, это,—по выражению Ницше,—„самое отвратительное из чудовищ"—приобрел новые чары, нашел новых жрецов и обрел многомиллионные толпы верующих, выступив в новой личине, в личине „демократического государства", государства „народного суверенитета".

Правда, острое оружие марксистской критики меткими и сильными ударами старалось повергнуть в прах всемогущего идола, показать, что под его внеклассовой демократической личиной скрывается классовая сущность.

В мир были брошены отчеканенные формулы: „современное государство есть исполнительный комитет по делам буржуазии", „государство есть класс, конституировавшийся, как государственная власть"

Однако оружию критики не удалось поколебать фетиша,—напротив, в самом социал-демократическом стане, над которым гордо возвышалась скиния марксистского завета, толпы правоверных сначала тайно, а потом явно поклонялись фетишу демократического государства. Рядом с официально исповедуемой религией классовой борьбы сначала в виде терпимой ереси, потом в качестве параллельного культа исповедывалась вера во внеклассовое государство. Потом идол демократического государства был торжественно внесен в соломонов храм марксизма, и культ этого идола urbi et orbi объявлен неотъемлемой и едва ли не важнейшей частью правоверного социал-демократического вероучения. Жрецы официального марксизма подделали свои свя-

щенные книги и стали доказывать, что и Маркс, Энгельс и иже с ними всегда веровали в демократическое государство, в чудотворные свойства современной государственной машины, во всеблагую демократию. Достаточно только заменить у рычагов этой чудо-машины Бетман-Гольвега Шейдеманом и Ллойд-Джоржа Гендерсоном, чтобы идол начал творить чудеса. Сущность социальной революции свелась к смене жрецов, отправляющих культ великого идола. Но самый идол должен был быть с величайшими почестями перенесен в тысячелетнее царство пресловутого „Zukunftstaat'a", в обетованное „народное государство".

Так учило социал-демократическое духовенство, так веровала многомиллионная социалистическая паства.

А беспощадная ирония истории продолжала свои злые шутки. Идол всеблагого демократического государства выжил Маркса из его собственного храма. Классовая борьба, социальная революция и прочие священные атрибуты марксизма стали выноситься к народу только в дни больших социалистических празднеств. Социал-демократические авгуры давно уже не верили в эти „детские сказки". Настоящей религией стала религия демократического государства. Изречение „сначала отечество, а потом уже партия", выведенное золотыми буквами над входом в зал заседаний германского рейхстага, вытеснило в сердцах социалистической паствы старые изречения. Губы еще иногда механически повторяли „класс против класса" и „пролетарии всех стран, соединяйтесь", но все помыслы были обращены ко всеблагому и всемогущему государству.

Первое августа 1914 года было днем величайшего невиданного в истории торжества идеи государства. Молох потребовал, чтобы ему были принесены в жертву не только миллионы жизней и неисчислимые материальные богатства. Он потребовал, чтобы человечество бросило в его пасть все свои духовные и культурные ценности. „Да не будет у тебя других богов пред лицом моим",—грозно возвестило государство человечеству. И это откровение нового бога было возвещено среди „грома, молний и звуков трубных". Война была периодом небывалого сокрушающего триумфа государства. Не было ничего, что могло бы противиться его воле, ничего, что не было бы принесено ему в жертву. Но здесь еще раз раздался иронический смех гения мировой истории. Триумф оказался апофеозом. Тысячеголосый рев тяжелых орудий, в котором правоверные улавливали божественную ораторию, прославление чудес великого государства и гимн тысячелетнему царству всемогущей победоносной демократии, оказался на деле грандиозным реквиемом поверженному во прах идолу. Демон войны, вызванный для служения целям буржуазии, укрывшимся за завесой государства и демократии, привел с собой красного демона революции. Всемогущество государственной власти, за которым скрывалась беспощадная военная диктатура буржуазии, воскресило и облекло в плоть и кровь мирно спавшую на кладбище марксизма идею диктатуры пролетариата. Старый боевой клич „класс против класса" снова прокатился по Европе. И, обращаясь к государству, Социальная Революция бросила в лицо великому идолу: „Война или смерть; кровавая борьба или уничтожение". Такова неотразимая постановка вопроса. Революция против государства, диктатура пролетариата против демократии, скрывающей под собой диктатуру буржуазии".—Такова неотразимая постановка вопроса.

Мы не пишем ни истории современного государства, ни социологического трактата о его природе. Мы не собираемся присоединить

еще одну статью к множеству книг, брошюр и статей о диктатуре и демократии. Мы знаем, что и коммунистические и социал-демократические соображения по сему поводу до омерзения надоели читателю. Мы, вообще, не претендуем ни на социологический анализ, ни на политическую трактовку проблемы современного государства. Мы хотели бы только на нескольких страницах обратить внимание читателей на некоторые интересные явления в области идеологии, и притом не социалистической, а буржуазной,—явления, как будто, свидетельствующие о том, что идол государства, только что ослеплявший молниями и оглушавший громами своего военного всемогущества, сейчас окружен глубокими и все сгущающимися сумерками. Вера во всемогущее и всеблагое государство умирает. Умирает, именно, в тех буржуазных кругах, которые верили в „социальное" и „демократическое" государство, способное примирить все противоречия и беспристрастно разрешить наиболее сложные проблемы современности. Фетиш надклассового государства умирает в лице его наиболее универсальной, наиболее гибкой, наиболее жизнеспособной формы,—парламентарной демократии.

С государства сорвана размалеванная розовой краской приятно улыбающаяся демократическая маска. Под ней выступает его подлинное ,свирепое и вовсе не „божественное" лицо,—диктатура. История все более решительно ставит альтернативу: „Железная пята", т.-е. открытая и беспощадная олигархия капитала, или диктатура пролетариата. Государство больше не вмещает и не примиряет все растущих экономических и социальных противоречий. Наоборот, оно их концентрирует и обостряет. Государство получило во время войны невиданную полноту власти и все же не сумело решить тех задач, которые были ему поставлены.

Революция, которую государство, быть может, в состоянии временно подавить, но которую оно больше не может умиротворить,—вот один источник разочарования известной части идеологов господствующих классов во всемогуществе государства. Поражение всех воюющих в мировой войне, войне без победителей, с одними побежденными,—вот другой источник.

Так или иначе, но все резче выступают признаки неудовлетворенности государством, все интенсивнее становятся поиски других форм и путей мирного решения грозных проблем современности.

Мы говорили выше о культе государства и демократии в рядах социал-демократии, чтобы отметить всемогущество этих фетишей, которые сумели не только победить идею революционного марксизма, но и превратить учение Маркса в орудие распространения культа государства.

Книга Ленина „Государство и Революция" нанесла сокрушительный удар этому синкретизму, этому смешению двух непримиримых учений, разоблачив фальсификацию марксизма, сознательно и бессознательно положенную в основу этого симбиоза. Сейчас наиболее авторитетные буржуазные государствоведы признали, что именно непримиримая, иконоборческая концепция Ленина соответствует духу учения Маркса о государстве (напр., венский проф. Ганс Кельзен или П. И. Новгородцев).

И опять ирония истории выкинула одну из самых злых своих шуток. От идеи всемогущего и единоспасающего демократического государства отступаются наиболее вдумчивые идеологи буржуазии. Но последних искренних защитников старая безнадежно скомпроме-

тированная идея нашла в лице людей, именующих себя марксистами. Социал-демократия,—вот последняя опора рушащегося фетиша. Генрих Кунов,—вот последний верховный жрец гибнущего культа. О, святая ирония!—как сказал бы Прудон.

Мы берем на удачу две маленьких и—каждая в своем роде—характерных книжки. Одна из них написана не безызвестным берлинским профессором М. И. Бонном, другая—очень известным Вальтером Ратенау, крупнейшим промышленником, германским министром иностранных дел, философом и экономистом. Брошюра Бонна носит совсем не двусмысленное заглавие: „Разложение современного государства". Брошюра Ратенау вышла с более загадочным заголовком: „Новое государство". Профессор Бонн выделяет в потоке современной исторической эволюции несколько течений, по его мнению, подмывающих устои современного государства и грозящих самому его существованию. Прежде всего Бонн отмечает все растущую роль предпринимательских организаций, монополистических образований, развитие которых столь характерно для нашей эпохи. „Рядом с государственной властью вырастает концентрированная экономическая сила". „Предпринимательские организации оказывают все возрастающее влияние на государственную власть... в колониальных и квазиколониальных странах они даже становятся над государством; во многих отсталых странах комиссии, назначенные кредиторами, путем контроля над финансами оказывают решающее влияние на все отрасли управления; например, в Египте и, отчасти, в Турции эти комиссии определяли всю государственную жизнь".

Из этого проф. Бонн делает вывод, что организации финансового капитала все меньше нуждаются в помощи государства и все больше сводят на-нет его значение. Это утверждение в такой форме, конечно, не верно. Финансовый капитал нуждается в мощном государственном аппарате. Период монополистического капитализма есть период сильной государственной власти, служащей интересам капитала, период империалистической политики, обязательно предполагающей усиление государственной власти во вне и внутри. Но в основе утверждения проф. Бонна лежит совершенно правильная и жизненная идея. Организации крупного капитала все более решительно и открыто делают из государства послушное орудие для осуществления своих целей.

Давление магнатов капитала на государственный аппарат становится все сильнее, решительнее и бесцеремоннее. Финансовый капитал убивает не государство, а фетишизм государства, беспощадно вскрывает классовую и грабительскую сущность последнего, поэтому, немецкий профессор с своей точки зрения совершенно прав, утверждая, что тресты подрывают государство. Государственная власть, открыто превратившаяся в политический придаток к монополистическим организациям капиталистов, лишается того идеологического флёра, в котором заключался секрет ее почти мистического обаяния. Организованный крупный капитал убивает демократию, развенчивает идею внеклассового государства, но открытая олигархия капитала неразрывно связана с ростом борьбы за диктатуру пролетариата. „Железная пята" и диктатура пролетариата,—эти полярные противоположности, неразрывно связанные, как концы магнитной стрелки.

Проф. Бонн отмечает вскользь, что и в понятии пролетарской классовой борьбы „заключено представление об обособленной группе, которая ведет самостоятельное существование рядом с государственной властью и даже над ней".

Впрочем, эта сторона дела у проф. Бонна не разработана, да она для нас и не так интересна: как раз об этом уже много писали.

Зато очень интересна глава брошюры Бонна о „кризисе государства во время войны".

„Великая война принесла с собой максимально возможное развитие идеи государства".

„Осуществился идеал государственного всемогущества: государство—все, человек—ничто. Миллионы смертей доказывают реальность, но не справедливость этой теории".

Автор отмечает, что наибольшая гипертрофия государственного всемогущества—наблюдалась в демократических государствах—Англии и Соединенных Штатах. „Ллойд-Джордж и Вильсон имеют такую власть над своими народами, по сравнению с которой властолюбивые притязания „короля-солнца" кажутся детскими капризами. В стране перенапряжения государственной власти, в Германии, этот процесс во многих отношениях не зашел так далеко".

„Из бушующих волн мировой войны всплывает Левиафан, государство, пожирающее людей,—более мощный и отвратительный, чем его самые фантастические изображения".

Военное крушение Германии привело к катастрофе государственной власти. Но „идея государства" была спасена социал-демократией. Казалось даже, что господство социал-демократии означает торжество идеи государства. Социализированный или регулированный капитализм и должен был быть воплощением торжествующих идей „народного суверенитета" и „социального государства". Но тут-то и оказалось, что идея всесильного надклассового государства уже давно мертва и бессильна. Государство потерпело решительное поражение в борьбе с буржуазной экономической стихией". Когда были выработаны первые конкретные планы социализации, вера во всемогущество государства была уже сломлена. Теперь не только не хотят огосударствления, теперь хотят создать новые экономические объединения на-ряду с государством".

Процесс бунта экономической стихии против государственного регулирования начался еще до революции. „Дезертирство и мешечничество были внешними проявлениями этой борьбы". Вместе с тем, началось разложение единой хозяйственной территории на обособленные экономические районы. „Районы с избытком продуктов отделяют себя рогатками, чем обостряют нужду в районах с недостатком продуктов". Война и революция колеблют самые устои государственного здания. „Город и деревня стоят друг против друга более враждебно, чем когда бы то ни было. На место противоречий между разными профессиями становится противоположность между сытыми и голодными".

„Чисто технически государственный аппарат тоже начинает сдавать". Ржавчина взяточничества разъедает все его пружины.

Государственная власть на краю гибели. Только социал-демократия и профессиональные союзы,—снова подчеркивает проф. Бонн,—спасли в Германии государственную власть и идею государства.

Государство спасено ценою внесения в его физиономию пролетарских черт. Оно—если не фактически, то номинально, если не социалистическое, то как бы рабочее государство. Этого оказывается совершенно достаточно, чтобы возбудить против этого государства фурий частного интереса. „Против нового государства восстают те классы, которые господствовали в старом",—пишет проф. Бонн.

„Пока они подчиняли себе государственную власть, они приветствовали рост последней. Но то государство, которое казалось им

идеальным, пока оно было в их руках, кажется им теперь, когда власть в руках масс, чудовищным". Проф. Бонн превосходно характеризует своеобразную диалектику господствующих классов: „власть, осуществляемая ими, у них называется порядком, власть, осуществляемая массами,—анархией и насилием. Они враги государства на практике, а там, где они убеждены в том, что им и в будущем не удастся подчинить государства себе, и в теории".

Что это значит? Это значит, что господствующие классы никогда не принимали в серьез идеи государственного суверенитета. Они всегда смотрели на государство, как на орудие для своих целей и глубоко враждебно относились на практике к тому идеальному государству, каким они в теории изображали свое классовое государство. Но как только государственная власть в силу тех или иных причин перестает служить интересам буржуазии, последняя объявляет войну государству. При чем, если у нее нет надежды быстро вновь подчинить государственную власть себе, она идет походом на самую идею государства.

Другими словами, социал-демократы принимают разговоры о демократии, парламентаризме, народоправстве и прочих хороших вещах в серьез, а буржуазия разговаривает о них до тех пор, пока они укрепляют ее классовое господство, и отбрасывает их, как ненужную ветошь, если они это господство ослабляют.

Вот и все. Эту нехитрую механику усвоил мирный буржуазный профессор Бонн, но ее никак не могут усвоить иные ученые марксисты.

Конечно, до отрицания буржуазией самой идеи государства дело не дошло, но не дошло именно потому, что буржуазия еще не убедилась в том, „что в будущем ей не удастся подчинить себе государство", а твердо убеждена в противном. Вот почему „неприятие государства" буржуазией пока оказалось временным и несерьезным. Но, конечно, прав проф. Бонн, полагающий, что буржуазия, в том случае, если бы государственная власть ушла из ее рук, не остановилась бы не только перед бунтом, но и перед анархизмом, перед отрицанием самой идеи государства. И, конечно, неправ хотя бы Каутский, считающий весьма вероятным, что буржуазия добровольно подчинится парламенту, декретирующему ее упразднение.

Но хотя буржуазия и удержала в своих руках государственную власть,—в известных ее кругах, все же, существует глубокое убеждение в том, что фетиш государства бесповоротно рухнул. Перспективы развития государственной власти замкнуты между двумя полюсами: диктатура капитала—диктатура пролетариата. Воинствующая буржуазия смело выбирает первое, левый фланг пролетариата—второе. Правый фланг пролетариата цепляется за отжившую химеру демократии, надеясь с ее помощью пройти между Сциллой и Харибдой. Идеологи миролюбивой части буржуазии хотят ослабить остроту классовой борьбы ослаблением роли государства. Они отлично знают, что классовая борьба есть борьба политическая. Им кажется, что ослабление роли политики и политической борьбы тем самым смягчает борьбу классов.

Проф. Бонн рисует перед нами несколькими штрихами картину чрезвычайно любопытного сплетения идеологических конструкций.

Известно, что в реформистских кругах английских социалистов и полусоциалистов большим успехом пользуется сейчас, так называемый, гильдейский социализм (см. о нем интересную книгу G. D. H. Cole „Selfgouvernement in industry". Есть немецкий перевод с сочувственным предисловием Р. Гильфердинга). Мы не собираемся сейчас зани-

маться течениями в современном социализме. Нас интересуют некоторые черты эволюции буржуазной мысли по отношению к государству. Поэтому о „гильдейском социализме" всего два слова, необходимых для того, чтобы облегчить читателю, незнакомому с основными идеями гильдейского социализма, возможность разобраться в нашем дальнейшем изложении.

Р. Гильфердинг отмечает, в полном согласии с проф. Бонном, что, „как и повсюду в Англии, военное хозяйство усилило оппозицию против бюрократических методов и против принудительного регулирования. Но гильдейские социалисты еще до войны сделали краеугольным камнем своей системы неприятие государственного социализма, „государственного рабства", и это теперь усилило их позицию".

Обращаем внимание читателей на весьма интересную комбинацию, которая здесь получается.

Гильдейский социализм есть особая английская разновидность „революционного" синдикализма. Сей последний необычайно гордится чистотой своего пролетарского происхождения и желает быть в отличие от социализма чисто-рабочей идеологией. Теперь Гильфердинг сообщает нам, что позиция английских синдикалистов (они же гильдейские социалисты) весьма усилилась после войны, ибо их идеи теперь падают на благодарную почву, созданную „оппозицией против бюрократических методов и принудительного регулирования".

Но для какого класса характерно резко-враждебное отношение к государственному вмешательству в экономическую жизнь? Конечно, для буржуазии. Отсюда ясно, где именно нашли благодарную почву энглизированные идеи „революционных" синдикалистов. А теперь пойдем дальше. В чем сущность учения „гильдейского социализма" об организации государства. Дадим слово опять Гильфердингу: „Гильдейские социалисты воспринимают государство, как „соседскую", т.-е., как территориальную форму организации, точно так же как общину или графство. В качестве объединения, охватывающего без различий всех граждан, живущих на данной территории, государство или община может быть представителем людей, только как потребителей. Ибо, только как у потребителей, у них одинаковые и однородные интересы. Но если бы государство, эта организация потребителей, захотела господствовать над производителями с их совершенно отличными интересами, это было бы неправомерное насилие. Поэтому производство может быть управляемо только самими производителями.

„Таким образом, рядом с государством становится организация производителей, имеющая принципиально равные с ним права. Согласование, координация интересов достигается взаимодействием обеих организаций; возникающие конфликты разрешаются корпорацией, которая образуется из представителей обеих организаций: парламента и конгресса гильдий".

Отметим здесь две вещи: во-1-х, рабочие и предприниматели, как в свое время у Сен-Симона, сливаются в одну категорию „производителей".

Этой категории приписываются общие интересы, для защиты которых создается „парламент производителей" (опять идея Сен-Симона).

Во-2-х, как совершенно правильно замечает проф. Бонн, оба парламента будут совершенно равноправными только на бумаге.

Господствуя над всем производством, конгресс производителей будет фактическим хозяином всей государственной и общественной жизни. В лучшем для потребителей случае организованная промыш-

ленность и государство взаимно нейтрализуются. „Если государство угрожает монополии (производителей), а монополия государству, то свобода обеспечена. Таким образом, политический индивидуализм и экономический рационализм стремятся к разложению современной государственной власти".

Это уже не из Гильфердинга, а из профессора Бонна, который отлично видит, на чем основана модная антипатия широких кругов промышленной буржуазии к государству и ее кокетничанье с идеями „гильдейского социализма", „автономного хозяйства", „самоуправления промышленности" и т. п.

„Если рассматривать,—пишет проф. Бонн,—хозяйство и политику в целом, как равноправные величины, если хозяйство организовано в союзы, в которых представлены на паритетных началах рабочие и предприниматели, тогда возникнет опирающееся на предприятия и производственные объединения хозяйственное государство, которому подвластна вся сфера хозяйственной жизни, и которое будет стоять рядом с парламентом, если не над ним. Эти идеи встретили большое сочувствие со стороны предпринимателей".

Почему? Во-1-х, потому, что парламентам угрожает опасность захвата их социалистическим большинством. В таком случае по существующим с.-д. воззрениям, парламент может ввести закон о социализации, а капиталисты должны этому почтительно подчиниться. Но, если парламент заранее лишен права вторгаться в хозяйственную область и уже, во всяком случае, не может ничего социализировать, то завоевание парламентского большинства и даже реальный захват политической власти не могут дать пролетариату никаких экономических приобретений. Просто и остроумно. Недаром в предпринимательских кругах столь популярна идея невмешательства государства в экономическую жизнь. (Бонн ссылается на целый ряд крупных промышленников во главе с Стиннесом, отстаивающих эти точки зрения).

Что при этом получается? Прежде всего, господствующие ныне в промышленности союзы предпринимателей—тресты и синдикаты—развертываются путем включения представительства рабочих в союзы производителей. Каждый союз господствует над соответствующей отраслью производства. Федерация этих союзов—над всем народным хозяйством. Тресты, надев личину ассоциации производителей, становятся уже не только фактически, но и юридически господами всей экономической жизни и, опираясь на промышленный парламент, не тайно, а явно, не закулисным давлением, а открытой конституционной организацией подчиняют себе государство. Проф. Бонн очень правильно замечает, что в современных условиях борьба против государственного вмешательства отнюдь не означает возврата к манчестерским традициям, к индивидуальной свободе в экономической области. „Мы живем теперь в век монополий". Устранение государственного вмешательства из сферы экономических отношений означает неограниченное господство в этой сфере монополистических союзов крупного капитала.

Устранение государственного вмешательства означает не торжество экономического либерализма, а установление промышленного феодализма, не ограниченного даже номинальным правом государственного вмешательства.

Но это еще далеко не все выгоды развенчания государства и введения „самоуправления промышленности" с точки зрения проницательных буржуа. До сих пор в экономической жизни на-ряду с

вертикальным делением по отраслям производства существовало более важное, горизонтальное деление: рабочие против предпринимателей. Теперь эти непримиримо враждующие классы растворены в одной категории „производителей". Предпринимателей и рабочих данной отрасли плотно охватывает их общая организация—союз производителей. В промышленном парламенте представлены вертикальные группировки: металлисты, текстильщики, железнодорожники, причем каждое из этих вертикальных объединений уже охватывает и рабочих и предпринимателей данной отрасли.

Классовые антагонизмы куда-то исчезли, их подменили противоречием интересов хозяйства и государства, производителей и потребителей. Эти замечания опять принадлежат не нам, а проф. Бонну. Мы только освободили его мысли от слишком профессорской оболочки, в которую они были заключены.

Наконец, с искусственным отделением „политики" от „экономики" классовая борьба лишается своего фокуса, исчезает узел, где сходились все классовые противоречия, т.-е. государство.

В сущности говоря, „автономное хозяйство" есть не что иное, как осуществленный в масштабе всего народного хозяйства гигантский тред-аллианс (так называются существующие кое-где ярко-желтые союзы, объединяющие рабочих и предпринимателей данной отрасли в один общий союз).

Теперь нам понятен будет объективный смысл интересной брошюры Вальтера Ратенау „Новое государство" (вышла в 1919 году и выдержала 15 изданий. Только что в издательство „Берег" появился русский перевод).

Излагать систематически мысли Вальтера Ратенау очень трудно. Он пишет причудливо и бессистемно.

Но нас сейчас не интересует работа Ратенау в целом. Нам важны некоторые его мысли, как яркая иллюстрация к вышеприведенным положениям проф. Бонна.

Прежде всего Ратенау декларирует суверенные права сомнения: „мы хотим подвергать сомнению существующие понятия—прежде всего понятие государства, мы хотим говорить о том, что буржуа называет утопией и что реальнее всего на свете,—о разумном". Довольно трогательно видеть, как главный директор Электротреста и германский министр иностранных дел впадает в рационалистический утопизм и начинает на манер какого-нибудь Оуэна логически конструировать разумные формы общежития.

Война окончательно обнаружила торжество экономики над политикой, показала, что время „политической политики" миновало. „Война и ее продолжение—мир, на первый взгляд, возвели на высшую высоту великие вопросы политической политики; в действительности, они их уничтожили. Даже империалистически насыщенные государства, занятые собственным исцелением и восстановлением, отныне будут иметь дело только с одной основной проблемой: проблемой классов и слоев. Внешняя политическая политика даст еще несколько театральных представлений и затем уйдет со сцены, и ее место займет международная хозяйственная и социальная политика".

Но это перенесение центра тяжести в экономику приводит к окончательному банкротству современное государство и его парламентскую машину, покоющуюся на фикции. „Фикция утверждает, что и после того, как великие вопросы политической политики уже не властвуют над судьбой народов, одно единственное, посредственное по

составу собрание должно во всех областях национальной жизни знать, понимать, оценивать и разрешать все принципиально важное... Оно не только должно, оно убеждено, что может это делать".

Дальше Вальтер Ратенау смелыми штрихами набрасывает картину работы современного парламентского механизма: „На вершинах управления министерство примыкает к министерству: беспомощная фикция требует, чтобы все эти отдельные машины в совершенстве вели каждая свою внутреннюю работу, чтобы они согласовались между собою через посредство министра-президента или монарха, и чтобы всеведущий парламент обозревал, сохранял, формировал и направлял их всех.

„В раздробленной Палате законодательство есть дело случая. Мнимым образом министр, который не имеет ни времени, ни понимания для этого, в действительности же министерский чиновник, вырабатывает закон, привлекая заинтересованных лиц и учитывая психологию парламента. Министр усваивает себе обоснование закона и докладывает его. Палата понимает дело или не понимает его, воспринимает его с политической и агитационной точки зрения, случайно присутствующие специалисты и представители интересов вмешиваются с успехом или без успеха в обсуждение дела: закон без внимания к его духу и действию изменяется, и в заключение по политическим мотивам принимается или отвергается. Сохраняется только фикция демократии, в существо дела никто не верит".

И парламентаризм, и демократия отжили свой век, непригодны для решения задач, выдвинутых современностью.

„Теперь пробуждается что-то иное. С востока идет на нас темный порыв, плохо обоснованный, противоречивый и все-таки глубоко чувствуемый: ради свободы выступить против демократии. Чистая бессмыслица, не правда ли? может быть, это все-таки не так".

Дальше следует пример, который смело мог бы украсить собою любую большевистскую брошюру о государстве и демократии.

„Допустим, что англичане произведут в немецкой восточной Африке народное голосование, разумеется со включением женщин. Кто будет избран, и что будет решено? Как раз то, что хочет правительство и чего хотят белые, и при том, без малейшего насилия или подкупа. Ибо туземец не понимает последних результатов своего голосования, он не привык мыслить отвлеченно и, путем умозаключений, он выбирает то, что уже существует, есть на-лицо. Совсем иначе обстоит дело, когда его спрашивают о привычном, когда он должен указать носильщика или послать нарочного к берегу". И отсюда вывод: „Поэтому у нас (в Германии) и в остальной Европе отныне уже не прекратятся требования уравновесить буржуазную демократию системой советов. Поэтому, примитивная форма однопарламентского государственного устройства, которая годилась в эпоху либерального купечества и консервативного предпринимательства, не создана для эпохи эмансипации масс".

Вальтер Ратенау, один из крупнейших современных представителей класса капиталистов, понимает то, чего не понимают рядовые буржуа и их идеологи, видит то, чего не видят иные вожди социал-демократии. Основной, решающий фактор, которым все определяется, на котором все ориентируется,—это неудержимый натиск пролетариата.

„Изумителен путь, который в течение одного века прошли низшие слои европейского общества. Они начали с положения робкой, бесправ-

ной толпы крепостных, дворовых, земледельческих работников, мелких ремесленников, мануфактурных рабочих, и они дошли по числу и значению до положения ядра нации. Они стоят на том месте, где стояла буржуазия на рубеже XVIII века, но прошли ее путь в десять раз скорее.

„Все господствующие устройства суть продукт буржуазии. Их смысл при незначительных уклонениях один и тот же: буржуазия, охраняемая монополией капитала и образования, защищает во вне и внутри свое духовное и материальное достояние. Она опирается на бюрократию, которая состоит из монополистов образования, и направляется монополистами капитала. Она господствует через посредство демократического парламента, выборы в который осуществляются под действием буржуазных, отчасти церковных, традиций и под духовным руководством буржуазных слоев бюрократии и печати.

„Эта оболочка уже не соответствует ядру. Остаток фикции опирается на остаток бесправия: на недостаток образования у пролетариата".

Мы выписали такую большую цитату из Вальтера Ратенау, ибо „умные речи приятно и слушать". А слышать от вождя крупного капитала почти марксистские речи не только приятно, но и весьма поучительно. Поэтому разрешите продолжить.

Вот что пишет дальше Ратенау о войне и революции: „Пережитое нами мировое потрясение было не войной народов, а войной буржуазий. Немецкая социал-демократия большинства никогда не оправится от того, что она этого не поняла, что она не осмелилась игнорировать ту часть масс, в крови которой было больше от подданного, чем от пролетария. Буржуазия, которая в последний раз империалистически перенапрягла свои силы, пока разбита только в побежденных странах, в странах победивших она господствует в упоении и торжествует свою империалистическую тризну.

„Но духовный пожар безостановочно движется с востока на запад. Подземными слоями, глубже, чем проникают пограничные столбы, лава пролагает себе путь, подкопанная почва со всем наследственным достоянием, возведенным на ней, низвергается в пламень".

В. Ратенау убежден, что нужно изо всех сил стараться удержать огненный поток революции, ибо „дело идет о цивилизации и культуре Европы". „Мы боремся изо всех сил против этого потока, чтобы спасти самое необходимое для исторической преемственности, чтобы спасти то, что еще можно спасти из нашей культуры".

Но для этого надо многим пожертвовать, многое выбросить за борт, и в первую голову современное государство.

Что же предлагает Ратенау поставить на место последнего, какой новой оболочкой он надеется придать новую крепость современному обществу? То, что предлагает Ратенау, есть немецкая разновидность гильдейского социализма, которую изобретатель называет „системой ведомственных государств". Каждая отрасль общественной жизни управляется непосредственно заинтересованными и компетентными в ней лицами, конституирующимися в государственный аппарат „специального назначения".

Вместо одной государственной пирамиды мы получаем, по выражению Ратенау, „множество косых конусов".

„Система ведомственных государств дает простор всяческой демократической и сверх-демократической свободе. Хозяйственное государство может опираться на советы (конечно, с паритетным представительством предпринимателей. *С. Ч.*), государство культуры может

строиться на парламентах специалистов, государство образования—на парламентах специалистов и граждан".

Ратенау живописует в восторженных выражениях эту федерацию ведомственных государств и ждет от нее всяческих чудес.

Вот как она рисуется ему более конкретно: „К каждой ступени бюрократической лестницы в будущем должна принадлежать соответствующая ступень народного представительства, представительства интересов или идей, составленного, смотря по его роду и характеру, из местных или профессиональных элементов вплоть до вершины идеального ведомственного государства (идеального—в смысле отсутствия у него территории. *С. Ч.*), которым управляет министерство ведомства, опирающееся на парламент ведомства и возглавляемое политическим имперским министром, который получил одобрение политического главного парламента".

Но в конечном счете все „специальные государства" подчинены „общему государству", представленному политическим парламентом.

В этой картине остается неясным самое главное: кому принадлежит решение не технических, а действительно координальных вопросов. Может ли, например, политический парламент, несмотря на несогласие „хозяйственного парламента", ввести „ущемление" реальных ценностей или национализировать горную промышленность? Если да, то по существу, все осталось по старому, и классовая борьба снова сведется к борьбе за политическую власть в „общем государстве". Если же хозяйственный парламент может не допустить вмешательства политического парламента в хозяйственные вопросы или может управлять народным хозяйством самостийно, то вся реальная власть переходит к „хозяйственному государству", ибо все другие „государства" будут от него в полной зависимости.

Все это остается неясным. Все это и не может быть ясным. Ибо и „гильдейский социализм" и „новое государство" Ратенау,—это безнадежные попытки уклониться от роковой дилеммы, поставленной историей: диктатура капитала или диктатура пролетариата.

Давид Рикардо, как человек и мыслитель.

Статья первая.

„В 1818 г. один из моих эдинбургских друзей прислал мне книгу Рикардо. Мое пророческое предчувствие оправдалось. Реформатор в области политической экономии, которого я ждал, наконец явился. И едва только успел я окончить первую главу, как я сказал: Ты именно тот, которого я ищу. И чем больше читал я эту книгу, тем больше возбуждала она во мне удивления... Неужели этот глубокий труд был написан в разгар шумной сутолоки XIX столетия? Возможно ли, чтобы англичанин—не скрывающийся от света в каком-нибудь академическом святилище, а поглощенный коммерческими и политическими делами—совершил то, чего не могли сделать все европейские университеты, чего столетие мысли не успело подвинуть вперед ни на одну иоту? Его предшественники были сбиты и подавлены колоссальным бременем фактов, мелочей и исключений. А Рикардо a priori из своего разума, вывел путем дедукции законы, которые впервые бросили сноп света в темную груду материала, и превратил, таким образом, собрание попыток и опытов мысли в науку правильных соотношений, опирающихся на вечный базис".

Так передает свои впечатления Де-Квинси, после—самый блестящий популяризатор Рикардо и один из наиболее талантливых его учеников. Не менее сильное впечатление произвели „Начала политической экономии" и на других современников Рикардо, так же, как и Де-Квинси, ждавших, когда же, наконец, появится в области политической экономии новый „апостол науки".

Биржевой делец, самоучка, не получивший ни классического, ни общего образования, едва справлявшийся с трудностями литературного изложения, сразу делается крупнейшим авторитетом в области политической экономии. „Действительным основателем абстрактной политической экономии,—пишет Беджгот,—является Рикардо. А между тем на первый взгляд вряд ли кто-нибудь был менее способен для этой роли". И английский экономист—сам бывший банкир—объясняет эту загадку тем, что „отрасль деятельности, на которую затратил свою жизнь Рикардо и в которой он сделал такие большие успехи, представляет самую абстрактную из всех отраслей промышленности" [1]). „Игра на бирже,—повторяет за ним русский экономист Туган-Баранов-

---

[1]) Bagehot, W., Economic Studies, London 1880, с. 151.

ский,—есть самая абстрактная хозяйственная деятельность, какую только можно себе представить" [1]).

Английский экономист находит еще другое объяснение—расовое. Рикардо был евреем. „Сочинения Рикардо представляют unicum во всей известной мне литературе, как документальное свидетельство тех особенных способностей, благодаря которым евреи в течение столетий богатели". Лесли Стефен, известный историк английской мысли XVIII столетия и английского утилитаризма, соглашается с этим. „Рикардо, как совершенно верно замечают его критики, был еврей и биржевик. А евреи, несмотря на все уверения Шейлока, и в особенности евреи-биржевики, лишены человеческих чувств. Если вы их режете, они истекают только банковыми билетами. Они приспособлены к тому, чтобы быть капиталистами, которые смотрят на заработную плату, как на одну из цифр в общем балансе, а на рабочих, как на одно из орудий, употребляемых в производстве. Но—прибавляет он—Рикардо был не только денежный делец и еще меньше ходячий трактат".

Представители немецкой этико-национально-исторической школы, придавленные грудой „фактов, мелочей и исключений" и совершенно неспособные к абстрактному мышлению, точно искали утешения в сознании, что самые крупные представители абстрактно-дедуктивного метода в политической экономии—евреи. Они с особенным удовольствием повторяли это расовое объяснение и находили в нем разгадку, как выражается Гельд, „цинического материализ[illegible] циническими представлениями о государстве и обществе". Более близкое знакомство с жизнью и личностью Рикардо покажет нам, сколько самодовольного невежества скрывается за этими quasi-научными объяснениями.

I.

Коренные изменения в путях всемирной торговли, уничтожившие торговое преобладание Северной Италии, временно выдвинувшие на первый план атлантическое побережье Пиренейского полуострова (главным образом, Португалию), а затем перенесшие центр тяжести всемирной торговли в Нидерланды, гнали капиталы и наиболее предприимчивые элементы населения, в том числе и евреев, из Италии в Португалию, из Португалии в Нидерланды. Евреев гнала еще и политическая необходимость. Вместе с упадком торговли и культуры усиливалась религиозная нетерпимость, становились все сильнее всяческие преследования. Спасаясь от инквизиции, итальянские и португальские евреи целыми семьями—Лопесы, Мендоза, Дакоста, Спиноза, Рикардо,—переселяются в Амстердам, убежище свободной мысли, религиозных и политических эмигрантов. А когда, в конце XVII и в начале VXIII столетий Голландия теряет свое торговое и промышленное преобладание, когда она все больше превращается в банкира, ссужающего капиталами новую восходящую звезду на всемирном рынке, когда Англия все больше приобретает славу самой свободной и терпимой страны, „вечные странники" снимаются с насиженных мест и эмигрируют в Лондон.

---

[1]) Туган-Барановский. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. Спб. 1905, стр. 69. Булгаков, несмотря на свой идеализм, выражает эту мысль еще более материалистически: „свою привычку к отвлеченности и математическое воображение" Рикардо „выработал в своей банкирской деятельности". „История экон. учен.", Москва 1918, стр. 126.

В 1753 году Палата Общин приняла билль о натурализации евреев и, хотя под давлением „черни" он был формально отменен в следующем году, евреи фактически пользовались почти всеми гражданскими правами. Во второй половине XVIII столетия мы находим в Лондоне еврейскую общину, состоящую преимущественно из сефардим, т.-е. португальских и итальянских евреев, которые, по своему культурному уровню, стояли несравненно выше своих германских соотечественников, так наз. ашкиназим.

Среди членов этой общины мы встречаем, между прочим, имена Лопесов, Мендоза, Дакоста, Дизраэли, Агвиларов, Монтефиоре, Рикардо и др. Сохраняя почти всегда религию своих предков, они в культурном отношении быстро ассимилируются с англичанами и очень скоро начинают принимать активное участие не только в области выколачивания деньги, но и в области литературы и науки[1]). Так как христианские биржевики очень ревниво охраняли свои привилегии, то, еще в конце XVIII столетия, число биржевых маклеров из евреев не могло быть свыше двенадцати. Одним из них был отец будущего экономиста, Авраам Рикардо, переселившийся из Амстердама в Англию около 1760 г. и очень быстро занявший видное положение в лондонской еврейской общине.

Третий сын почтенного Авраама, Давид Рикардо, родился 19 апреля 1772 г. в Лондоне. Когда ему исполнилось 12 лет, отец отправил его к дяде в Амстердам, где Рикардо пробыл два года, занимаясь в торговой школе. По возвращении оттуда, он начал помогать отцу в его биржевых и торговых операциях. Так он приобрел ту изумительную быстроту и уменье в обращении с цифрами, которые поражали всех знавших его. Будучи еще шестнадцатилетним мальчиком, он сам отвозит своих младших братьев в Голландию. Эти частые поездки дали ему возможность хорошо познакомиться с амстердамской биржей, игравшей в XVIIII столетии такую же роль, какую лондонская биржа играла в XIX столетии. Там уже давно научились „менять" деньги на деньги и получать процент на свой денежный капитал, не прибегая к непосредственному процессу выжимания сверхстоимости. Философские спекуляции Спинозы уступили место биржевым спекуляциям, и к концу XVIII столетия амстердамская биржа уже имела своих Пиндаров, как называет Маркс одного из первых теоретиков биржевой спекуляции, Пинто.

Несмотря на свою строгую ортодоксальность, отец Рикардо не был врагом „христианской" цивилизации. Брат великого экономиста, Ральф, тоже не был чужд литературе, а сестра его, Сара, писала по педагогическим вопросам и была автором популярных руководств по математике. А дядя Рикардо, с которым он часто встречался в Амстердаме, Дакоста, был в свое время известным поэтом и литератором.

Совсем молодым человеком Давид разошелся с отцом, но ненадолго. Временная размолвка была вызвана самовольной женитьбой

---

[1]) И не только в этих областях. Даниэль Мендоза, современник Рикардо, был первым боксером в Англии в конце XVIII века. Он был не только практиком по части вышибания зубов и расшибания носов, но и крупным теоретиком, оставившим классическое руководство по „теории бокса". То же „документальное свидетельство" тех „особенных способностей", которыми отличались евреи и в области „конкретной" деятельности. Историки евреев в Англии отмечают, что Мендоза, совершивший победоносное путешествие по всей стране, сильно поднял престиж евреев среди „просвещенных мореплавателей".

Рикардо[1]). Он полюбил христианку Присциллу-Анну Вилькинсон, дочь Эдуарда Вилькинсона, и женился на ней (20 декабря 1793 г.). Ему пришлось для этого принять христианство и он вынужден был оставить родительский дом. Таким образом, он уже очень рано был предоставлен собственным силам. Но его неутомимая энергия и выдающиеся способности, в соединении с поддержкой, которую ему оказали многие члены лондонской биржи—вероятно и брат, с которым его до смерти связывала самая тесная дружба—помогли ему в сравнительно короткий срок не только стать в материальном отношении совершенно независимым, но и приобрести большое состояние, которое молва оценивала в 40 миллионов франков. „Богат, как Рикардо", пишет в одном из своих писем французский экономист Сэй.

„Искусство обогащения,—писал брат Рикардо в посвященном ему некрологе,—не пользуется у нас большим уважением. А между тем Рикардо ни в одной области не проявил своих дарований в такой высокой степени, как именно в денежных делах. Уменье разбираться во всяких затруднениях, поразительная быстрота во всяких цифровых исчислениях, хладнокровие и изумительная проницательность, наконец, очень благоприятное совпадение внешних условий, среди которых ему пришлось действовать—все это, вместе взятое, дало ему возможность обогнать своих сверстников и, в короткое время, достигнуть такого богатства и известности, которые редко кому достаются на долю".

Действительно, условия были очень благоприятны. Анти-якобинская война, начатая против якобинцев, закончившаяся только с окончательным уничтожением владычества Наполеона (1793—1815), играет решающую роль в истории фондовой спекуляции. В течение этого периода, биржа впервые стала ареной, на которой предприимчивые люди сплошь и рядом составляли себе миллионные состояния.

Основанная в той форме, в какой ее нашел Рикардо, почти в самый год его рождения, лондонская фондовая биржа была уже в конце XVIII столетия свидетельницей самой бесшабашной спекуляции. „Крик совы, вой свирепых волков, лай дворового пса, хрюканье свиньи, ночные серенады кошек, шипенье змеи, рев осла, кваканье лягушек и треск кузнечика—все это, соединенное в общий хор, не было бы более отвратительно, чем шум, который производят эти существа на бирже". Так живописует современник то учреждение, где, по словам Туган-Барановского, Рикардо „и усвоил свой метод".

Старые приемы, основанные на принципе „не обманешь—не продашь", голый, ничем не прикрашенный, ни фиговым листком „условной морали", ни законами элементарной чести, грабеж, отличавшие „авантюристов-купцов" XVII—XVIII столетий, были перенесены в новую сферу деятельности денежного капитала.

Но эти подвиги уже вызывали протест со стороны главных руководителей биржи, старавшихся провести резкую демаркационную линию между „честными" и „бесчестными" биржевыми операциями. В такую эпоху, как это показывает и пример первых Ротшильдов, элементарная честность и добросовестность в коммерческих делах превращалась в очень прибыльную добродетель, особенно на бирже, где возможность

---

[1]) Портер, известный английский экономист и организатор английской официальной статистики, автор „Progress of the Nation", сообщает в своей биографии Рикардо, напечатанной в „Penny Cyclopaedia", что примирение произошло очень скоро. Портер был женат на сестре Рикардо, Саре.

внезапного и скорого обогащения встречается чаще, чем в других сферах капитала.

Когда 18 мая 1801 года был заложен первый камень нового здания лондонской биржи, на нем сделана была надпись, гласившая, что к этому дню государственный долг возрос до 552.730.924 фунтов стерлингов. Лондонские биржевики, таким образом, символически указывали на то значение государственного долга, которое он играет, как краеугольный камень всей капиталистической финансовой системы. Предоставляем слово Марксу.

„Государственный долг, т.-е. отчуждение государства—все равно деспотического, конституционного или республиканского,—накладывает свою печать на капиталистическую эру. Единственная часть так называемого национального богатства, которая действительно находится в общем владении современных народов, это—их государственные долги. Государственный кредит становится символом веры капитала. И с возникновением государственной задолженности смертным грехом, за который нет прощения, становится уже не хула на духа святого, а нарушение доверия к государственному долгу. Он делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. Словно прикосновением волшебного жезла он одаряет непроизводительные деньги производительной силой и превращает их таким образом в капитал, устраняя всякую надобность подвергать их опасностям и затруднениям, неразрывно связанным с помещением денег в промышленность и даже с чисто-ростовщическими операциями. Государственные кредиторы в действительности не дают ничего, так как ссуженные ими суммы превращаются в государственные долговые свидетельства, легко обращающиеся, функционирующие в их руках совершенно так же, как и наличные деньги. Но роль государственных долгов не ограничивается созданием класса таких праздных рантье и импровизированным обогащением финансистов, выступающих посредниками между правительством и нацией, а также откупщиков налогов, купцов и частных фабрикантов, в руки которых, как капитал, свалившийся с неба, попадает добрая доля всякого государственного займа. Государственные займы создали, кроме того, акционерные общества, торговлю всякого раза ценными бумагами, отчаянную спекуляцию, ажиотаж,—одним словом, биржевую игру и современную банкократию (господство банков)“.

Английский государственный долг очень скоро превзошел сумму, увековеченную на краеугольном камне лондонской биржи. В 1810 году он составлял уже 734.787.786 фунт. стерлингов, а в 1816, после окончательной ликвидации наполеоновской империи, он достиг колоссальной цифры в 1.003.768.694 фун. стерлингов, т.-е. был в восемь раз меньше той суммы, которой он достиг через сто лет после окончания последней всемирной войны. Если принять во внимание степень развития капитализма вообще и в Англии в частности сто лет назад и теперь, то тогдашний английский государственный долг представлял относительно вряд ли меньшую сумму, чем современный.

Курсы государственных фондов то повышались, то понижались с головокружительной быстротой. Нужны были громадные способности, уменье разбираться во всех деталях экономической конъюнктуры, близкое знакомство с политической жизнью своего времени, необходимо было поддерживать тесные связи с парламентскими деятелями, чтобы не теряться в этом хаосе быстро сменявшихся событий, чтобы не стать жертвой какого-нибудь непредвиденного краха.

Рикардо обладал всеми этими качествами. Честность и порядоч-

ность его стояли вне всяких сомнений. Известно, что он отказывался принимать какое-либо участие в биржевых операциях, которые, по его мнению, могли принести ущерб государству, т.-е. выходили за пределы нормальной биржевой этики и представляли явный грабеж общественных средств. Он был гениальный спекулянт, быстро и решительно умевший использовать беспрерывные колебания фондов, чтобы, играя то на повышение, то на понижение и не боясь убытков, пускать в оборот всю полученную прибыль. До появления на лондонской бирже Натана Ротшильда он почти не имел соперников в области биржевой спекуляции. Ему приписывается известная „спекулятивная“ формула, один из канонов биржи: Cut your losses and let your profits run („сбрасывай со счетов убытки и помещай в дело свою прибыль“).

II.

Но эта кипучая деятельность биржевого дельца не долго поглощала Рикардо целиком. Уже к 25 годам, когда он составил себе независимое состояние, его перестает удовлетворять одна биржа. Его потянуло к науке. „До того времени,—говорит его сестра, Сара Портер,—всякие научные занятия казались ему тягостью, он питал к ним отвращение. Он жил в атмосфере деловой агитации, в шуме спекуляций, я не помню, чтобы, за исключением нескольких опытов по электричеству, которые он мне показывал с гордостью любителя, он интересовался какой-нибудь наукой“.

С таким же увлечением, с каким Рикардо занимался биржевыми спекуляциями, он бросается теперь на научные занятия. Сначала он увлекался математикой и в особенности геометрией. Потом он отдался изучению естественных наук: физики, химии, геологии и минералогии. Он устраивает собственную лабораторию и производит целый ряд опытов, изучая явления электричества и света. Легенда говорит, что он первый показал практическую осуществимость газового освещения улиц и домов, устроив его—несомненно один из первых—в одном из своих домов.

Рикардо успел собрать богатейшую коллекцию минералов. В 1807 году он вместе с Гриноу и Филиппсом основывает существующее и теперь геологическое общество, к числу членов которого принадлежал его друг, Леонард Горнер, геолог, после фабричный инспектор, о котором с таким уважением отзывается Маркс [1]).

Но Рикардо интересовался не только естествознанием и математикой. Не менее усердно занимался он теологией и литературой. Известно, что он был усердным читателем Шекспира. Меньше всего он, повидимому, интересовался в это время политической экономией. Он как будто довольствовался своими практическими познаниями в этой области и не чувствовал никакой потребности проникнуть поглубже в смысл обычных для него и практически совершенно понятных явлений.

Биографы Рикардо объясняют это равнодушие очень просто: не было подходящего случая. Такой нашелся только в 1799 г., когда

---

[1]) *Леонард Горнер*, один из членов Комиссии 1833 г. для исследования состояния фабрик и фабричный инспектор, по существу цензор фабрик до 1859 г., оказал бессмертные услуги английскому рабочему классу. Всю свою жизнь он вел борьбу не только с озлобленными фабрикантами, но и с министрами, для которых было несравненно важнее считать „голоса“ фабрикантов в Нижней палате, чем часы „рабочих рук на фабке“ („Капитал“).

Рикардо поехал с своей больной женой на морские купанья в Бат. „Там, в доме своего друга,—пишет его французский биолог, Фонтейро, сидя за столом и обдумывая какой-то новый физический или химический опыт, он вдруг заметил на полке бессмертное творение Адама Смита. Точно молния осветила его ум", и Рикардо стал творцом новой политической экономии, как Ньютон—творцом современной механики, после того как яблоко упало к его ногам. С теми или иными вариациями эта легенда, несмотря на ее очевидную несообразность, повторяется всеми биографами Рикардо [1].

Смит в то время был уже слишком хорошо известен, чтобы Рикардо мог натолкнуться на него таким случайным путем. Всего вероятнее, что крах 1797 г. и прекращение платежей английским банком, вызвавшие большое возбуждение в лондонском Сити, толкнули мысль Рикардо в том направлении, в котором он проявил весь свой гений.

„Биржа,—пишет Рикардо в 1814 году Синклеру,—главным образом обслуживается людьми, которые целиком поглощены своими делами и очень хорошо знакомы со всеми их деталями. Но среди них очень мало людей, которые знакомы с политической экономией, и они, поэтому, мало интересуются денежным вопросом, поскольку он является проблемой научного исследования. Непосредственными результатами текущих событий они интересуются гораздо больше, чем их отдаленными последствиями". Одним из таких исключений был Троуэр, тоже биржевик, друг Рикардо, который вел с ним оживленную переписку. В одном из своих писем к Троуэру, Рикардо вспоминает, что они оба сошлись на общем поклонении Смиту и всякий свободный час, остававшийся от занятий на бирже, посвящали беседам на эту тему. И так же оживленно они обсуждали первые статьи по политической экономии, которые появились в „Эдинбургском Обозрении" [2].

Вообще критики Рикардо, так охотно подчеркивающие, что он не получил никакого образования или получил очень скудное, забывают, что он был одним из тех, так часто встречающихся в Англии самоучек, которые „получили" очень скудное образование, но сумели „приобрести" очень основательные познания и „сделать в науку вклад", которому может позавидовать не один патентованный профессор. Такими самоучками были, между прочим, и будущие друзья Рикардо, банкир Грот, автор классической истории Греции, служащий в Ост-Индской Компании, Джемс Милль, известный экономист, психолог и историк, портной Френсис Плэс, фабрикант Оуэн и т. д. и т. д. Среди его коллег по бирже мы встречаем Бэли, известного астронома, после председателя астрономического общества, Стекса, поэта Гораса Смита, драматурга Слоуса и т. д.

Начало XIX века было временем сильного оживления в области теоретического изучения экономических явлений. В 1803 г. вышло первое большое издание „Опыта о народонаселении" Мальтуса, в 1804 г. „Государственное богатство" Лодердаля, в 1805 г. „Анналы торговли" Макферсона, в 1807—1808 г. „Британия—независимая от торговли" Спенса и ответ Милля „В защиту торговли". Из цитированного выше письма Рикардо мы уже знаем, что на него большое впе-

---

[1]) И Зибером, который рабски следует Мак-Куллоху в своем очерке жизни Рикардо.

[2]) Журнал этот, сыгравший крупную роль в истории английской литературы и публицистики, как орган нового более радикального течения среди вигов, был основан Джеффри, Френсисом Горнером и Сидней Смитом в 1802 г.

чатление произвели экономические статьи в „Эдинбургском Обозрении“. Это были главным образом критические статьи Френсиса Горнера, сначала по банковым и денежным вопросам (критика Торнтона и Кинга), а затем по теоретическим вопросам (разбор политической экономии Канара). Литературное влияние Горнера дополнилось после личным влиянием, когда Рикардо вместе с ним выступал против неограниченного выпуска бумажных денег.

Так политическая экономия мало-по-малу становится любимым предметом занятий Рикардо. Дебаты по поводу чрезмерных выпусков ирландского банка, хлебный закон 1804 г. и влияние континентальной системы с 1806 г. должны были еще больше приковать его внимание. Тесная связь между биржей и правительством, живые сношения, поддерживаемые биржевыми дельцами с политическими деятелями различных направлений очень рано втянули Рикардо и в сферу политических интересов. Еще до 1809 г. мы находим его в списке членов „Короля клубов“, основанного знаменитым юристом Мэкинтошем и состоявшего из представителей радикальной оппозиции.

Когда в 1809 г., в связи с повышением цены золота, был опять возбужден вопрос о привилегиях английского банка и его зависимости от правительства, он вполне естественно стал предметом оживленных дебатов и в этом клубе, влиятельными членами которого были председатель будущей комиссии о слитках, только что упомянутый нами Френсис Горнер, и один из главных ее членов, Шарп. В этой дискуссии принял деятельное участие и Рикардо, доказывавший, что главной причиной повышения цены золота на 20 процентов является ошибочная банковая политика. Понадобились, однако, очень настоятельные требования со стороны друзей и издателя газеты „Morning Chronicle“, Перри, чтобы Рикардо решился изложить свои взгляды в специальной статье. Она появилась без всякой подписи, под названием „Цена золота“ в номере от 29 августа 1809 г. Рикардо доказывал необходимость урегулировать денежное обращение путем ограничения эмиссионных полномочий английского банка. По его мнению, все зло являлось следствием чрезмерных выпусков банковых билетов, опасной привилегии английского банка, которая давала ему возможность, по своему произволу, уменьшать стоимость всякого имущества, заключающегося в деньгах, и повышать цены всех необходимых предметов потребления.

В этой статье нет ни одной ссылки на какие-нибудь „авторитеты“, Рикардо оперирует только данными из собственного опыта: исследуя влияние повышения цены золота на вексельные курсы, он ссылается только на хорошо знакомый ему, по собственным операциям, вексельный курс Англии по отношению к Голландии.

Статья Рикардо вызвала сейчас же отклик. В полемике, между прочим, принял участие и Вильям Коббетт. В самой „Morning Chronicle“ появился ответ, автор которого рекомендовал себя, в качестве „защитника банковых билетов“, но не „банкового директора“. Это был коллега Рикардо на лондонской бирже, Троуэр, с которым он после был связан самой тесной дружбой. В результате завязавшейся между ними полемики Рикардо написал еще два письма в редакцию „Morning Chronicle“, которые показали детальное знакомство со всей литературой по данному вопросу [1]).

[1]) Впервые эти письма были опубликованы американским экономистом, Яковом Голлендером, в изданной им серии экономических памфлетов. D. Ricardo, Three Letters on the Price of gold. Baltimore 1903.

Письма эти обратили на себя всеобщее внимание в немалой степени и потому, что Рикардо поставил узко-специальный вопрос о цене золота на политическую почву. Оппозиция против торийского правительства получила нового—и очень авторитетного—союзника в борьбе с произволом министерства финансов и бюджетной неурядицей.

Неожиданный для самого Рикардо успех его писем заставил его выпустить их в совершенно переработанном и значительно дополненном виде под названием „Высокая цена слитков, как доказательство обесценения банкнот". Этот памфлет в очень короткое время выдержал четыре издания. Рикардо принимает также деятельное, хотя и не гласное, участие в работах знаменитого Комитета о слитках, назначенного в 1810 г., и защищает принятые им резолюции—главные тезисы его памфлета—против многочисленных противников. В 1811 г. он опубликовывает свой „Ответ на практические замечания Бозанкета", обеспечивший торжество принципам, которые оппозиция защищала против правительства.

Связи Рикардо с литературным и научным миром расширяются еще больше. Его литературный дебют вызвал знакомство с Мальтусом, пользовавшимся тогда репутацией самого выдающегося английского экономиста. Между ними завязывается переписка, а затем и литературная полемика, в которых на каждом шагу проступает резкая разница между фанатическим защитником интересов аристократического землевладения, класса „непроизводительных потребителей", и защитником интересов „производительных классов".

III.

Апогей континентальной системы и могущества Наполеона, Отечественная война, походы 1813 г. и поражение Наполеона, война с Соединенными Штатами, Эльба и Ватерлоо, неурожаи и крахи в Англии, стихийные бунты рабочих против введения машин (движение леддитов)—все эти события последовательно приковывают внимание современников. „Долой лэндлордов"—в этом крике концентрируется негодование попавших в водоворот промышленной революции народных масс, когда поземельная аристократия хочет, в 1814 г., путем нового хлебного закона, закрепить надолго голодные цены на хлеб.

Смешно и вам, земельные дельцы,
Напившись крови, лаять на рубцы.
Ужель за вас платиться всей казне,
Понизить курс в убыток всей стране,
Опустошая банки и народ,
Лишь бы поднять упавший ваш доход.

Теоретический комментарий к этой филиппике Байрона написал Рикардо. Как раз в это время, в начале 1815 года, он выступает с новым памфлетом, на этот раз против лэндлордов. Это—„Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала", в котором он доказывает, что интересы лэндлордов противоположны интересам всего общества, что проектируемые хлебные законы явятся только крупной подачкой в пользу крупных землевладельцев. Попутно Рикардо развивает новую теорию ренты и намечает „закон экономического развития" буржуазного общества.

Если памфлеты против английского банка были написаны биржевиком и крупным акционером этого банка, то памфлет против лэндлордов был написан Рикардо, когда он сам уже стал крупным земле-

владельцем. В 1814 году он купил себе большое поместье, Гаткомб-Парк, в Глостершире. Политические и научные интересы все больше захватывают Рикардо, и он приступает к ликвидации своих биржевых дел, чтобы отдаться целиком научной и общественной деятельности.

После окончания анти-якобинской войны в 1815 году политическое положение коренным образом изменяется. Исчезает необходимость сосредоточивать все силы страны на борьбе с внешним врагом, которая оправдывала диктатуру ториев. Все сильнее растет оппозиция против парламента лэндлордов. Стихийные бунты рабочих против машин сменяются организованным стачечным движением. Рабочий клас начинает упорную борьбу за свободу собраний и союзов. Революционные общества спенсеанцев[1]) распространяются и укрепляются все больше среди рабочих. Роберт Оуэн выступает со своим новым планом преобразования всего общества. Вилльям Коббетт, типичный представитель мелко-буржуазного радикализма, превращает свой орган в первую дешевую политическую газету, приобретающую громадную популярность. Гон, Карлейль и другие „неизвестные люди без положения" отстаивают бесстрашно свободу совести и печати. Движение в пользу парламентской реформы, организуемое и поддерживаемое целой сетью специальных клубов, все больше усиливается. Вооруженные демонстрации, столкновения с полицией, процессы Гона и Вулера следуют друг за другом. А правительство отвечает усиленными репрессиями: оно приостанавливает действие Habeas Corpus Act'a, производит массовые аресты, вешает десятки рабочих, развивает в самых широких размерах провокацию и возводит ее в систему, послужившую образцом для континента.

И, как всегда в таких случаях, рядом с более или менее „бестактными" борцами за свободу возникает умеренная партия, отстаивающая—без всяких эксцессов, с соблюдением „такта" и обычных „дипломатических" приемов и унижений—необходимые реформы в области политического, уголовного и гражданского законодательства. Эта партия „философских радикалов", в которую вошли крайние левые элементы вигов, завоевывает все бо́льшее влияние и служит ферментом, при помощи которого старые партии вигов и ториев, определявшие своей борьбой всю политическую жизнь Англии XVIII и начала XIX столетия, превратились в современных консерваторов и либералов. Главными руководителями „философских радикалов" являются Бентам и Джемс Милль, основоположники английского утилитаризма. Их главными практиками являлись Фрэнсис Плэс, богатый портной, усвоивший у своих фешенебельных заказчиков „тонкое обращение" и умевший обрабатывать тех государственных „человечков", от которых „все зависит", парламентский деятель Джозеф Юм, лидер фритредеров Госкиссон и др.

С этой группой и сближается Рикардо, когда он убедился, что виги не в состоянии, да и не желают осуществить реформы, в которых, по его мнению, нуждалась страна. С Миллем он познакомился еще в 1811 г., а через его посредство и с Бентамом, но близко сошелся он только с первым. Если Джемс Милль был верным учеником Бентама в области политических и юридических вопросов, и в этом отношении мог оказать известное влияние на Рикардо, то в экономической области он, наоборот, являлся учеником Рикардо—и к неудоволь-

---

[1]) По имени Томаса Спенса, крайнего демократа и защитника национализации земли.

ствию Бентама—совершенно не разделял экономических теорий последнего. Поэтому известные слова Бентама—„я был духовным отцом Милля, а Милль был духовным отцом Рикардо; следовательно, Рикардо мой духовный внук"—можно принять только cum grano salis (с оговорками). Вместе с Миллем и Бентамом, Рикардо живо интересовался происходившим тогда спором между различными педагогическими системами (Белля и Ланкастера) и был одним из главных пайщиков хрестоматической школы, которая должна была быть устроена согласно плану Бентама.

В 1816 году, уступая настояниям Милля, Рикардо опубликовал свой „Проект экономического и прочного денежного обращения", а в начале 1817 года свой главный труд „Начала политической экономии", ставшие, по выражению историка английского утилитаризма, Лэсли Стефена, „экономической библией утилитаризма".

Последняя книга обеспечивает ему репутацию первого экономиста Англии.

IV.

Ликвидировав окончательно всякие связи с биржей в 1818 г., Рикардо выступает открыто на политическое поприще. Выбранный два раза под-ряд шерифом, он очень добросовестно выполняет свои новые обязанности. Есть известие, что, уже во время выборов 1818 г., среди его друзей возникла мысль о выставлении кандидатуры Рикардо. Джемс Милль, считавший присутствие своего друга в парламенте необходимым, особенно усердно приискивал ему место. Группа радикалов тогда имела в своем распоряжении несколько округов, из категории так наз. гнилых местечек, и старый приятель Рикардо, Шарп, уступил ему свое место. Выбранный от Порталингтона (Ирландия) в 1818 году, Шарп отказывается от места депутата и выставляет свою кандидатуру в Медстоне (неудачно). Рассказывают, что Рикардо никогда не видел своих избирателей, которых насчитывалось всего 12 человек. Рассказывают также, что Рикардо должен был, в вознаграждение за выбор, ссудить лорду Порталингтону без процентов, но очень большую сумму. Кеннан утверждает, что Рикардо был выбран 20 февраля 1819 года, но первый раз его имя упоминается в парламентских отчетах только 2 марта 1823 г.

„Хотя Рикардо пробыл в парламенте только 4 года,—говорит Тойнби,—он, несмотря на это, произвел полную революцию во взглядах на экономические вопросы". На первых порах однако Рикардо чувствовал себя очень неловко в Палате Общин. „Я боюсь,—писал он Мак-Куллоху,—что принесу мало пользы. Два раза я пытался говорить, но сильно волновался при этом. И я боюсь, что никогда не справлюсь со страхом, который овладевает мной, когда я слышу звуки собственного голоса". Но он освоился с новой обстановкой гораздо скорее, чем ожидал. Уже 24 мая 1819 г., когда обсуждался вопрос о возобновлении платежей английским банком и со всех сторон раздавались крики, призывавшие Рикардо говорить, он произнес большую речь, которую и кончил при всеобщих аплодисментах.

С тех пор он принимает самое деятельное участие в работах комиссий и в парламентских прениях: в течение своей недолгой парламентской деятельности он произнес 126 речей и принимал участие в голосовании 237 раз. Рикардо не был крупным парламентским оратором, но даром устной речи он владел гораздо лучше, чем даром

письменного изложения. Отсутствие всякой позы и аффектации, простота и ясность изложения, богатство аргументов и глубокое знакомство с предметом, юмор и мягкий сарказм по адресу политических противников, искренность и прямота, с которой Рикардо всегда готов был признать свою ошибку—все эти качества сделали его очень влиятельным членом Палаты Общин, которого всегда слушали с напряженным вниманием.

Рикардо, конечно, выступал главным образом по вопросам экономическим и финансовым, в которых его научная репутация обеспечивала ему наибольший авторитет. Критика бюджета, вопросы денежного обращения, протекционизм промышленный и аграрный, колониальная политика, законы о бедных, законы против коалиций и т. д. и т. д.—во всех этих вопросах Рикардо проповедывал принципы свободной торговли, последовательно отстаивая общие интересы всего буржуазного общества против эгоистических вожделений той или иной части имущих клессов. Как для промышленников, так и для лэндлордов он являлся ультра-радикалом и „мечтателем". Допуская податное обложение, как неизбежное зло, он настаивал на покрытии всех военных расходов не путем военных займов, а посредством налогов, и горячо отстаивал свой любимый проект погашения государственного долга путем однократного обложения имущих классов.

Но Рикардо не ограничивался только выступлениями по экономическим вопросам. Почти так же часто выступал он с политическими речами. Каждый раз, когда речь шла о защите политической свободы и религиозной терпимости, он протестовал самым энергичным образом против реакционной политики торийского правительства. На желание ввести в „разумные пределы" основные права политической свободы, он смотрел, как на „пустой фарс". По его мнению, всякие злоупотребления ими contra bonos mores (против хороших нравов) вполне уравновешиваются их необходимостью для полного осуществления принципов политической свободы.

Год его вступления в Палату Общин был годом, когда торийская реакция достигла своего апогея. Англия в 1819 г. представляла в своих верхах картину, которая вызывала страстное негодование лучших элементов. В стихах, облитых „горечью и злостью", бичевали Байрон и Шелли преступления тогдашней олигархии.

> Король, старик, презренный и тупой,
> Подонки расы отупело-праздной,
> Обжоры принцы, грязь из лужи грязной,
> Правители с пустою головой, -
> К родной стране прильнул из них любой
> Безжалостно, пиявкой безобразной.

Но это был и год большого революционного возбуждения, особенно в северной промышленной Англии. Колоссальная демонстрация в Манчестере, в августе 1819 г. кончилась знаменитой кровавой баней на Петровом поле, где регулярные войска одержали блестящую победу над безоружным народом (отсюда битва при Петерлоо в контраст битве при Ватерлоо).

Министерство приветствовало и наградило новых победителей. В Палату Общин оно внесло шесть актов, уничтожавших свободу собраний, демонстраций, печати и вводивших фактически военное положение. Рикардо принадлежал к тому меньшинству, которое голосовало против этих мер.

„Я смотрю на них,—писал Рикардо своему более консервативному другу, Троуэру,—как на сериозное нарушение наших свобод, и отвергаю их, потому что, по моему мнению, они не только не устранят причины недовольства, но, наоборот, усилят его. Народ жалуется, что он не имеет должного влияния на образование правительства, а его лишают и того, что он уже в действительности имел". „Конечно,— пишет он в другом письме,—право собраний может сопровождаться иногда сериозными неудобствами, но я не думаю, чтобы с ними можно было бороться, как вы это предлагаете, не превращая этого права в простой нуль. Правительство свободно лишь постольку, поскольку народ может свергнуть его. И какие гарантии свободы имелись бы, если бы дозволены были только приходские собрания... Страх перед восстанием, страх перед народом, соединяющимся для общего действия, представляет наиболее крупную сдержку для всяких правительств".

Рикардо оказался прав. Революционное возбуждение продолжало расти. В 1820 г. раскрыт был заговор Тестльвуда. Фабричные рабочие вооружались и готовились к восстанию. В Шотландии дело опять дошло до побоища, но в новом сражении при Боннимюир (около Глазго) рабочие оказали солдатам отчаянное сопротивление. Дело закончилось новыми виселицами.

В том же 1820 г. правительство имело случай убедиться, до какой степени дошло оппозиционное настроение широких масс. После смерти Георга III на престол взошел сын его, Георг IV, одно из самых отвратительных существ, когда-либо сидевших на английском троне. По его настоянию, правительство лордов Ливерпуля и Аддингтона возбудило против жены его Каролины, добродушной дамы легкого поведения, процесс о разводе, для чего был состряпан специальный билль. При этом раскрылась такая картина грязи и мерзости запустения при дворе и около двора, что, как пишут уже теперь и в английских университетских учебниках, правительство „through fear of revolution" (из страха пред революцией) вынуждено было отказаться от своего билля. В сравнении с „веселой кумушкой" коронованный Фальстаф и его прихвостни оказались такой преступной и развратной бандой, что приходилось только удивляться, как суды, вешавшие еще тогда несчастных людей за кражу яблока, могли закрывать глаза на все эти гнусности.

Рикардо горячо отстаивал реформу варварского английского законодательства и был противником смертной казни, которой тогда по закону наказывались более 200 преступлений, в том числе и кражи в размере 5 шиллингов в лавке и 40—в доме [1])!

В области парламентской реформы Рикардо высказывался за трехлетний законодательный период для Палаты Общин, за расширение избирательного права на всех квартиронанимателей, как переходную меру ко всеобщему избирательному праву, и тайное голосование. Он очень остроумно высмеивал „богатых алармистов, напуганных французской революцией, для которых демократические свободы тожественны с нападением на их собственность". Он говорил, что „монархия и олигархия боятся только общественного мнения и силы народа", что, „только вызывая страх у тех, что сидят внутри палаты, народ оказывает воздействие на правительство".

Рикардо подвергает тщательному анализу все доводы противников парламентской реформы. „Расширяя избирательное право—так

---

[1]) С 1817 по 1825 год приговорены были к смерти 10.326 человек, но казнено только (!) 791.

формулирует он один из главных аргументов—вы открываете двери анархии, ибо главная масса народа заинтересована или полагает, что заинтересована в равном распределении имуществ и выбирала бы только таких демагогов, которые поддерживают в народных массах надежду, что такой раздел действительно совершится". И он решительно отвергает этот аргумент, пока ему не будет доказано, что страна действительно преуспевает при существующей политической организации.

„Для чего мы ввели в употребление паровые машины? Можно было бы доказать, что наши мануфактуры процветали и без них. Почему бы не удовлетвориться тем, что было достаточно хорошо? Но нет ничего, что было бы достаточно хорошо, если мы можем достигнуть лучшего. Это ложное мнение, которое могут защищать только невежды или нежелающие понять[1]) и которое уже не может ввести нас в заблуждение. Далее, что значит безупречная нравственность и хорошее образование тех, кто выбирает палату общин? *Скажите мне, в чем состоят их интересы, и я скажу Вам, какие меры они будут защищать*".

Рикардо, как мы видим, знал уже прекрасно, что *мнения* людей определяются их *интересами*. Но он знал также, что, при известных условиях, люди бывают вынуждены высказывать *мнения, не соответствующие их интересам*. Именно поэтому он является таким убежденным и горячим защитником *тайного голосования*.

„Говорить человеку, что он может подать голос за А или Б, когда вы знаете, что он находится в такой зависимости от А или друзей А, при которой голосование за Б повело бы его к разорению, значит издеваться над ним самым жестоким образом". Характерно, что Рикардо защищает *тайное* голосование не в силу *принципиальных* соображений и подчеркивает, что сами по себе *тайное* или *явное* голосования оба одинаково безразличны: все, зависит от условий времени и места, делающих в одном случае более целесообразным *тайное*, в другом—*явное* голосование[2]).

Более близкое знакомство с лидерами различных политических партий в Палате Общин заставило Рикардо, резко выступавшего против господствующей партии, порвать также и с официальной оппозицией его величества, с вигами.

„Хотя я далеко не могу согласиться со всеми взглядами Коббета, но я уже давно убедился—пишет он Мак Куллоху,—что гарантии хорошего правительства лежат в самих учреждениях и в тех силах, под влиянием которых действуют управляющие нами, а не в большей или меньшей добродетели наших правителей. *Поведение двух различных групп людей, воспитанных почти одинаковым образом, действующих в силу одинаковых задержек и имеющих одинаковые цели, поскольку речь идет об их личных интересах, не может быть существенно различным*".

Это материалистическое объяснение политики *вигов*, которые принадлежали, как и *тори*, по своему социальному происхождению,

---

1) „Трудно найти достаточно ясные аргументы для тех, кто ничего не смыслит в данном предмете или пропитаны предрассудками, которых они упорно придерживаются". Из письма Рикардо по поводу его парламентской работы (писано 9-го мая 1822 г.).

2) Известно, что это требование, выставленное после и чартистами, из года в год вносилось другом Рикардо, Гротом, пока в 1872 году стало законом.

к той же английской земельной аристократии, и зачастую более родовитой. Рикардо подкрепляет указанием и на другое обстоятельство, которое мешало вигам серьезно заняться вопросом о парламентской реформе.

„Лорд Грей [1]), Лорд Голланд и многие другие виги недавно на митингах говорили кое-что о реформе представительства, но я боюсь, что, если они станут у власти, они вряд ли предложат или проведут такую реформу, которая удовлетворила бы истинных друзей свободы. Партия вигов владеет сама большим количеством гнилых местечек, но с чем они менее всего захотят расстаться, так это с тем влиянием, которым они пользуются над избирателями, как крупные землевладельцы или просто капиталисты. Они не согласятся предоставить реальный и свободный выбор народу или той его части, интересы которой тождественны с интересами целого".

Мы видим, что Рикардо, который поставил впервые в самой отчетливой форме вопрос о классовой структуре капиталистического общества, прекрасно понимал, что и групповые, классовые мнения определяются групповыми классовыми интересами. Но он приближался к материалистам и в другой области.

Хорошо знакомый с теологической и философской литературой, Рикардо особенно охотно принимает участие в прениях по вопросу о свободе мнения. Его в этой области еще меньше пугают всякие „крайности", чем в области политической. Так он горячо отстаивает право атеистов излагать публично свои взгляды, и одна из его лучших речей в Палате Общин посвящена блестящей защите полной, ничем не ограниченной, свободы совести и свободы печати.

В 1823 году в Палату Общин внесена была петиция об освобождении из тюрьмы одного из самых неукротимых радикалов того времени, Ричарда Карлиля и его жены. Сын сапожника и сам по ремеслу жестяник, он становится последователем Томаса Пэна—теоретика народовластия и критика библии. С тех пор Карлиль посвящает свою жизнь печатной пропаганде республиканских и анти-религиозных идей. Он и его жена печатают и распространяют, не останавливаясь ни перед какими жертвами и преследованиями, различные памфлеты и периодические издания. В 1819 году за статью в издаваемом им журнале „Республиканец" Карлиль был приговорен к трем годам тюрьмы и большому денежному штрафу. В 1821 году жена его Анна, продолжавшая издание „Республиканца", была в свою очередь арестована и осуждена на два года тюремного заключения. Когда Карлиль отсидел свои три года, он отказался платить наложенный на него штраф и остался в тюрьме.

В своей речи Рикардо, к великому негодованию всех ханжей и лицемеров в Палате Общин и вне ее, доказывает, что можно отрицать присягу и религию и в то же время быть верным и беззаветным служителем общества.

„Лично я твердо верю в то, что человек может очень честно относиться ко всем общественным делам, ко всем обязанностям, налагаемым на него обществом, членом которого он является, и не верить в будущую жизнь. Я вполне признаю, что религия представляет силь-

[1]) Автор „Великой" избирательной реформы 1832 года, вырванной, несмотря на ее жалкие размеры, у английской олигархии только в результате июльской революции и ряда революционных выступлений английского рабочего класса. Виги, во главе с Греем, играли при этом самую предательскую роль.

нейший источник обязательств, но я отрицаю, что она единственный источник".

В виде примера Рикардо ссылается на Оуэна, который тогда уже окончательно испортил свою репутацию, объявив войну частной собственности, семье и религии [1]).

„Вот, наприм., Оуэн из Ланарка. Он оказал великие благодеяния обществу, но, судя по некоторым его взглядам, не верит в будущую жизнь. что станет утверждать, видя разительное доказательство противного, что религиозный скептицизм сделал Оуэна менее нравственным? Неужели человек, претендующий на честность и прямоту, может сказать, что у Оуэна, посвятившего всю свою жизнь заботам о других, была бы более чистая душа и искреннее сердце, что Оуэн больше сознавал бы необходимость нравственных ограничений и нравственного контроля, если бы он был больше проникнут предписаниями религии? Почему же такому человеку отказывать в доверии (а закон это делает)? Почему же такого человека за опубликование его взглядов подвергать заключению в тюрьме?" [2]).

Рикардо прекрасно понимал связь, которая существовала между „безбожием" Оуэна и всем его миросозерцанием.

„Оуэн полагает,—говорит он в той же речи,—что характер человека создается не им самим, а окружающей средой, и если кто-нибудь совершает то, что люди называют порочным поступком, то в этом нужно видеть несчастье и постигнутый им человек не может служить объектом наказания. Этот взгляд составляет часть учения Оуэна, а человек, который держится такого взгляда, не может приписывать Всемогущему существу стремления наказывать тех, кто, по этой теории, не ответственен за свои поступки".

Но и вне стен парламента Рикардо развивает очень энергичную работу. Он выступает на митингах и собраниях, отстаивая свои новые политические и экономические взгляды. Так на митинге, происходившем в Free mason's Hall, 26 июня 1819 года, он был выбран членом комитета для рассмотрения плана Оуэна. Как видно не только из парламентских речей, но в особенности из его переписки с Троуэром и Мак-Куллохом, он с этого времени все больше сближается с крайней оппозицией и становится—к вящшему неудовольствию своих друзей-утилитаристов—все более радикальным в социально-экономических вопросах. Он все лучше отзывается об Оуэне и все мягче относится к Коббету, который еще в 1814 году честил Рикардо „крещеным жидом" и „биржевиком".

Изменив свои взгляды по вопросу о влиянии машин на положение рабочего класса—в значительной степени под влиянием Оуэна,—Рикардо, в 3-ем издании „Начал политической экономии", честно и открыто, несмотря на протесты таких своих учеников, как Мак-Куллох, объявляет о своей ошибке и затем уже в парламентских речах защищает „предрассудки рабочего класса против машин".

Когда по инициативе известного экономиста, автора классической истории цен, Томаса Тука и самого Рикардо, был основан в 1821 году клуб экономистов, оказывавший большое влияние на направление экономической политики, Рикардо, кроме вопросов, связанных с теорией

---

[1]) Вопросу об отношениях между Оуэном и Рикардо я посвятил особую статью. „Оуэн и Рикардо", „Под знаменем марксизма", апрель 1922.

[2]) Hansard, Newseries Vol. IX с. 1386. Заседание Палаты Общин 1 июля 1823 г.

стоимости, особенно настойчиво возбуждал вопрос о влиянии маш на положение рабочего класса.

В вопросе о свободе коалиций, который стоял в порядке дня 1821—1824 г.г., Рикардо занимал также особую позицию. Против Мал туса он доказывал, что объединение рабочих может увеличить сум денег, которая делится между рабочими. Он высказывался за отме закона против коалиции. Хотя он не занимался специально изучени соответствующего законодательства, он считал несправедливыми стеснительными для рабочих законы против коалиции. И тут он, ве ный своей основной точке зрения, считал лучшим решением полну свободу коалиций [1]).

Напряженная деятельность в Палате Общин надорвала силы Р кардо, который никогда не отличался крепким здоровьем. Хотя он 1822 г. совершил для отдыха путешествие на континент—он посет Голландию, Рейнскую провинцию, Франкфурт, Швейцарию и северну Италию, Лион и Париж—Рикардо все же едва справлялся с утомител ной работой в различного рода комиссиях. В сессию 4 февраля-19 июля 1822 года он выступает около 40 раз.

В разгар этой политической и научной работы—Рикардо работа тогда над „планом учреждения национального банка"—он простудил и его старая болезнь в ухе, несмотря на прокол образовавшегося на рыва, кончилась воспалением мозга. После нескольких дней мучител ной агонии Рикардо скончался на 52 году, т.-е. на английский мас штаб в полном расцвете умственных сил, 11 сентября 1823 года.

„Рикардо пришлось самому составить себе состояние, он долже был сам воспитать свой ум и сам руководил своим образованием,— так писал в „Morning Chronicle" сейчас же после смерти Рикардо самый близкий друг его Джемс Милль.—Он дал много доказательств что он интересовался не только политической экономией, но и науко политики в самом широком смысле этого слова. Вспомним только ег отчетливое изложение основ хорошего правительства, его бесстрашну и достопамятную декларацию в защиту неограниченной свободы мысл и свободы речи в области религиозных вопросов, энергию и настой чивость, с которой он защищал свои взгляды на эти предметы". И эту же готовность выступить на защиту „великих интересов свободы или религиозной терпимости"—отмечает Де Квинси [2]), когда он, сей час же после смерти Рикардо, указал на его крупные научные заслуги

В частной жизни Рикардо еще меньше являлся „ходячим тракта том", сухим человеком, как его обыкновенно изображают. Это так же верно, как и то, что Маркс был „сухим и жестоким, как силлогизм" Энергичный, порывистый в своих движениях, он отличался доброду шием и отсутствием какой либо претенциозности. Прекрасный семьянин боготворимый своими детьми, он любил повеселиться и повеселит других. И с таким же увлечением, с каким он занимался сериозным делами, он в кругу своих близких отдавался в свободные часы всяким играм и так же хорошо пел петухом, как и пародироровал своих зна-

---

[1] Letters of D. Ricardo to J. R. Mac-Culloch, c. 87—88.

[2]) Характерно, что этот автор, один из самых блестящих английских писателей, был горячим поклонником и популяризатором Рикардо и в то же время прекрасным знатоком немецкой философии и литературы. Задолго до Томаса Карлейля он является посредником между английской и немецкой мыслью, соединяя в себе качества выдающегося экономиста и философа. В этом отношении очень интересно сравнение его взглядов на философию Канта с аналогичными взглядами, которые Гейне развивает в своих очерках истории немецкой мысли.

омых. Известная английская писательница, Мэри Эджеворт, оставила ам яркое описание частной жизни Рикардо, которое показывает, как алеки от истины ложно-классические, выдержанные в строгом „бир-кевом“ духе и подчеркивающие его сухость биографические экскур-ии скучноватых и сыроватых немецких и русских историков полити-еской экономии.

Прекрасный и живой собеседник, он очень любил общество и хотно принимал участие во всяких спорах. Восторженный поклонник Пекспира, он внимательно следит за современной поэзией и жалеет, го парламентская работа оставляет ему слишком мало времени, чтобы эйчас же прочитать новую повесть Вальтер Скотта. „Возможность видеть в здешнем соборе „Снятие с креста“ Рубенса,—пишет он Троуэру з Антверпена,—одна уже может вознаградить за все неудобства путе-иествия сюда из Лондона“.

Как и младший его современник, Монтефиорэ, он был, вопреки гверждениям некоторых его „христианских“ противников, большим илантропом и скуповатый, поскольку речь шла о ненужных тратах, хотно давал деньги на различные благотворительные и просвети-эльные учреждения.

„Есть экономисты фаталисты,—пишет Маркс в „Нищете фило-эфии“,—которые так же индифферентны в своей теории к тому, что ни называют неудобствами буржуазного производства, как сами буржуа эчувствительны на практике к страданиям пролетариев, с помощью эторых они приобретают свои богатства. Эта фаталистическая школа иеет своих классиков и своих романтиков. Классики—как, напр., Адам мит и Рикардо - являются представителями того периода развития уржуазии, когда она, находясь еще в борьбе с остатками феодального бщества, стремилась лишь очистить экономические отношения от этих еодальных пятен, развить производительные силы, придать новый змах промышленности и торговле... В их глазах нищета является ишь болезнью, сопровождающею всякое рождение как в природе, к и в промышленности“.

Эта характеристика верна по отношению к Рикардо до 1819 года. о этого времени и пролетариат, говоря словами Маркса, принимав-ий участие в борьбе с остатками феодального общества, сам смотрел свои бедствия в этом периоде как на преходящие, только случай-ые. С 1819 года, после кровавой бани в Манчестере, начинается новая юха в борьбе английского пролетариата. Одновременно наступает и юха перелома в умственном развитии Рикардо. Она уже нашла свое ражение в 3-м издании „Начал политической экономии“, вышедшем 1821 году, но еще больше в его переписке и парламентских речах экономические темы. Преждевременная смерть застигла Рикардо, к мы увидим в следующей статье, в тот самый момент, когда он ке начал приходить к мысли, что отношения производства, в пределах торых совершается развитие буржуазии, далеко не отличаются еди-юобразием и простотой, что развитие производительных сил в этих ношениях сопровождается ненужными страданиями, которых можно ло бы избежать при других условиях, что нищета в этом обществе ляется не преходящим явлением, а, наоборот, что при тех же ношениях, при которых производится богатство буржуазии, оизводится и нищета пролетариата.

Философия современного империализма.

(Этюд о Шпенглере.)

Г. Пятаков.

Подвергать научной критике систему взглядов Шпенглера—занятие мало плодотворное и бесполезное. „Философия“ Шпенглера—это плоская идеалистическая мешанина, совершенно анти-научная претенциозно-мистическая галиматья. Научное мышление не имеет с ней *никаких* точек соприкосновения, и так как все ее построения принципиально совершенно не новы, то не стоит тратить времени на спор с эпигоном, имея за собой, в истории марксизма, споры с классическими представителями идеализма. Теоретический спор со Шпенглером не даст ничего нового, и посчитаться с ним нужно было бы лишь в том случае, если бы были признаки увлечения им в среде рабочего класса. Этого как будто бы нет. Зато уже только совершенным падением можно объяснить себе *частные* несогласия со Шпенглером некоторых людей, продолжающих называть себя марксистами[1]), ибо вся книга Шпенглера

[1]) В. *Базаров*. О. Шпенглер и его критики. „Красная Новь“ № 2 (6), стр. 212, 213, 215, 225. Предлагаем вниманию *марксистского* читателя прочитать сперва статью *Степуна* (сборник „Осв. Шпенглер и Закат Европы“), познокомиться со всем этим сногсшибательным вздором, а затем подумать над тем, как это Базаров мог дойти до такого рода перлов: „Философия истории“ Шпенглера *быть может* научно несостоятельна, *слабо* обоснована и вообще грешит против *так называемой* „истины“ (ковычки у „истины“- Базаровские; падеж мною изменен, ибо у Базарова это придаточное предложение). Или еще: „Изощренность интеллекта, обостренная зоркость Шпенглера)... обладает *бесспорной* ценностью не только как содержание данного периода истории, но и как *завещание грядущим поколениям, тем чаемым наследникам*, которые... заложат... фундамент нового культурного здания“. Но лучше всего на стр. 215: „Ошибок (!) и погрешностей (!!!) имеется (!) у Шпенглера более чем достаточно (!!). Ошибок и погрешностей!—как это мягко сказано: „более чем достаточно“—да там все насквозь сплошлая „ошибка и погрешность“. Разумеется, невозможно написать толстую книгу, где не было бы ни одной верной мысли - иначе это был бы бред сумасшедшего. Речь идет о всей системе, о всем мировоззрении—и тут мы видим самый чистейший идеалистически-мистический вздор.

А Базаров колеблется: „быть может научно не состоятельна“! А быть может и состоятельна? „Это теория судьбы“, „перводушевности“, „души“, всякой астрологической чертовщины! „Быть может“! Эта философия, говорит Базаров, „слабо обоснована“. Да чем она вообще-то обоснована? Ничем решительно! Уж видно такова „судьба“ Базарова соблазниться всякой новейшей философической выдумкой реакционной буржуазии, обслуживая в ней лишь частные погрешности и недостатки. Тот, кто знает историю Базарова, нисколько не удивится тому, что он у Шпенглера (у Шпенглера!) отыскал „завещание грядущим поколениям“—ему это так и положено. Мы и не удивляемся новому увлечению Базарова и потому лишь покорнейше просим его публично, в печати заявить наконец, что он с научным марксизмом порвал окончательно и бесповоротно...

с начала и до конца анти-научна и реакционна. Напрасно Базаров думает, что хронологические сопоставления и синхронические таблицы „обезображивают“ книгу Шпенглера, эти сопоставления и таблицы являются существеннейшей составной частью идеалистической системы Шпенглера. Во всяком случае спорить о частных „погрешностях и ошибках“ в этом случае абсолютно ни к чему, ибо вся книга есть сплошное юродствующее прорицательство—ведь в этом гвоздь шпенглерианства.

Если, однако, нет особенного смысла спорить со Шпенглером, то большое значение имеет объяснение того успеха, который выпал на долю его книги в кругах идеологов буржуазии. Habent sua fata libelli. И если-бы книга Шпенглера не имела бы того головокружительного успеха, то о ней можно было бы просто промолчать или библиографически отметить как одно из чудачеств потерявшей равновесие буржуазии. Но успех книги—не случаен, наоборот, он—весьма знаменателен, ибо свидетельствует о том, что она соответствует психологии некоторых общественных слоев и хорошо выражает настроения и чаяния этих слоев. В этом и только в этом интерес книги.

Попытки дать общественную оценку шпенглерианства имеются, но эти попытки явно неудовлетворительны. Они либо поверхностно цепляются за слово „закат“, либо просто изображают Шпенглера как реакционера—этого мало. Надо связать „инженеризм“ Шпенглера, с констатированием заката культуры, проповедь активности в эпоху „цивилизации“ с тревогой за будущее „цивилизации“, надо понять как из этого комплекса желаний и настроений вырастает целая система мыслей. Тогда лишь можно отчетливо представить себе общественное значение шпенглерианства, как идеологии господствующхи классов нашего времени.

Выполнить все это я не берусь, практические задачи дня не позволяют уделять мне много времени на теоретические работы. Поставить весь вопрос о Шпенглере несколько по-иному, по-марксистски—такова задача данной статьи...

I.

Шпенглер—настоящий идеолог империализма, в полном смысле этого слова. Он ищет оправдание империализму, ищет идеологическую форму существования, ищет возможность жить, действовать и чувствовать, не впадая в отчаяние. Генерал Бернгарди, агитатор-политик Чемберлен, беллетрист Редиард Киплинг или поэт Маринетти—идеологи того же порядка, и родословная Шпенглера в такой же степени восходит к ним, как и к Риккерту-Виндельбанду. Понять плоскую мешанину философских разглагольствований нового пророка буржуазии, не установив этого основного факта, нельзя, ибо империализм Шпенглера есть не случайность, не сосуществует рядом с его „судьбой“, „неповторяемостью“, „культурными циклами“ и т. п., а есть ключ к пониманию всей этой идеалистической пустяковины.

Любопытно признание самого Шпенглера о зарождении его „философии“:

„... в 1911 г. я, под впечатлением Агадира, открыл мою философию“...[1])

Знак, под которым родилось это новое вероучение, весьма знаменателен. Агадирский инцидент был показательным предвестником

[1]) Шпенглер, „Пессимизм?“ Preussische Jahrbücher, апрель 1921 г.

приближающегося мирового столкновения различных борющихся между собой объединений финансового капитала. Этот предвестник пробудил в душе Шпенглера его империалистский пафос и заставил с тревогой вглядываться в будущее.

И эта тревога за существование капитализма в его высшей форме финансового капитализма есть характерная исходная точка мировоззрения Шпенглера.

„Понятие катастрофы,—уверяет Шпенглер[1]),—в заглавии книги не содержится. Если вместо „закат" сказать „завершение"..., то элемент „пессимизма" будет исключен, от чего истинный смысл понятия нисколько не изменится... Книга обращалась к людям действия... Дать образ мира, с которым можно жить... было подлинной целью моего труда... Человек действия живет в вещах и с ними... Всякая строка, написанная не для того, чтобы служить практической жизни, кажется мне не нужной".

Вот подлинные слова самого пророка, свидетельствующие об основном смысле философии сей. Дать образ мира, с которым можно жить, дать не бездельным умозрительным философам, а людям действия, которые живут не в сфере мыслей, а в вещах и с вещами, дать этот образ служа практической жизни—такова задача, поставленная себе Шпенглером. Он издевается над „чуждающейся жизни романтикой литераторов, над мечтательным погружением филологов в какое-нибудь далекое прошлое, робостью патриотов(!!) с их постоянной оглядкой на предков, прежде чем решиться на какой-нибудь шаг", над „сравнением за недостатком самостоятельности". И далее в нем говорит самый неприкрытый, обнаженный немецкий империалист:

„Мы, немцы, после 1870 года страдали от всего этого больше, чем какой-нибудь другой народ. Не мы ли стучались во все двери к древним германцам, к крестоносным рыцарям, к грекам Гердерлина, когда нам нужно было узнать, как нужно действовать в эпоху электричества. Англичанин был счастливее в этом отношении... Исторической болезнью все еще страдает и немецкий гуманизм и идеализм наших дней; она заставляет нас строить вздорные планы об улучшении мира и ежедневно порождает новые проекты, которые ставят себе целью основательное и окончательное устроение всех областей жизни и которых единственная практическая ценность заключается в том, что Лондон и Париж оказываются перед лицом более слабых противников.

Ясно? Долой мечтания, долой „планы улучшения мира", нам нужно действовать в эпоху электричества и так, чтобы быть не слабее Лондона и Парижа. Таков подход к построению „образа жизни, с которым можно жить". Это образ—не для мелких буржуа, а образ для империалистских повелителей мира, для современной аристократии.

Угол зрения Шпенглера совершенно не похож на всю эту, по его мнению, псевдо-историческую, романтическую или утопическую чушь. Он подходит ко всему с „историческим взглядом", который означает „знание, уверенность к себе, строгое, холодное знание".

„Тысячелетие исторического мышления и исследования накопило для нас необъятную сокровищницу... опыта... Мы, и немцы больше чем какой-нибудь другой народ, видели до сих пор в прошлом

[1]) Ibidem.

образцы, по которым следует жить. Но образцов не существует. Существуют только примеры—примеры того, как развивается, достигает своего завершения и склоняется к своему концу жизнь отдельных людей, целых народов и целых культур, как относятся друг к другу характер и внешнее положение, темп и продолжительность жизни. Мы видим в них не то, чему мы должны подражать, а ход развития, который учит нас, как из наших собственных предпосылок разовьются наши собственные дальнейшие пути.

... В этом состояло великое искусство повелевать стихиями жизни, основанное на проникновении в ее возможности и на предвидении ее хода. Это давало ключ к господству над другими... Но теперь мы можем предусмотреть ход всей нашей культуры на столетия вперед, как если бы перед нами было существо, в которое мы насквозь проникли взором".

Шпенглер хочет найти ключ к господству над другими, преклоняясь перед великим искусством повелевать стихиями жизни. И это в связи с некоторыми другими соображениями дает ключ к его историософии.

„Человечество для меня—зоологическая величина,—говорит он страницей далее.—Я не вижу нигде прогресса, цели, пути человечества.. Я не вижу... никакого духа и... никакого единства стремлений, чувств и понимания в этой простой массе населения, именуемой человечеством. Осмысленную направленность жизни... я вижу только в истории отдельных культур. Это есть нечто... фактически существующее, но именно поэтому оно содержит в себе сознательные цели, достижения и затем новые задачи, состоящие не в этических фразах и общих принципах, а в осязаемых исторических целях".

Идеолог воинствующего империализма напускает, естественно, туман и не говорит о какой именно культуре идет речь, но из его толстой книги и из всех умствований насчет культуры отчетливо видно, что речь идет именно не о „простой массе населения", а о культуре господствующих классов, и тогда эта поучительная цитата получает весьма явственный смысл. Речь идет об осязательных исторических целях, которые может и должна себе ставить буржуазия в эпоху империализма и преследуя которые нельзя утрачивать „способность к дерзновению, к отваге, ко всему, что требует силы действия, инициативы, личного превосходства". „Я вижу много задач еще не решенных и боюсь только, что у нас не хватит для них времени и людей.

„Что, собственно, следует из того факта, что перед нами не измеряемый тысячелетиями прогресс „человечества"..., а несколько веков фаустовской культуры, исторические контуры которой мы видим? Пуританская гордость Англии говорит: все предопределено—следовательно, я должна победить... Перед людьми действия это открывает величественные горизонты, но, конечно, для романтиков и идеологов, которые не могут осмыслить свое отношение к миру иначе, как сочиняя стихи, рисуя картины, строя этические системы или изживая какое-нибудь торжественное миросозерцание, это—безнадежная перспектива". „У нас переоценивают искусство и абстрактное мышление... Всегда существовало нечто более существенное... Эпохи без истинного искусства и философии все-таки могут быть могучими эпохами; этому научили нас римляне. Но, конечно, для идеалистов это есть вопрос жизни и смерти. Но не для нас".

Шпенглеру грезится могучая эпоха на манер эпохи римской империи. Ясно, что такая перспектива открывает перед людьми действия величественные горизонты, особенно, если проникнуться пуританской гордостью и уверить себя, что „я (Германия) должна победить".

Все это очень ясно и понятно, и я сделал длинные выписки только потому, что они проливакт яркий свет на все построения Шпенглера, в то время как на эту сторону обычно не обращают внимания или, если обращают, так недоуменно пожимают плечами, бормоча что-то о „трех ликах Шпенглера".

Рождение под знаком Агадира „философии" Шпенглера не случайно, как не случаен цезаристский пафос конца его статьи „пессимизм?". Надо только внимательно прочитать этот конец, чтобы черты воинствующего империалиста выступили со всей отчетливостью:

„Твердость, римская твердость—вот что начинает господствовать в мире. Ни для чего другого скоро не останется места. Искусство? Да, но из бетона и стали. Поэзия?—Да, но поэзия юдей с железными нервами и неумолимой глубиной интуиции... Политика?—Да. но политика государственных мужей, а не исправителей мирового порядка. Все остальное не идет в счет. А главное, никогда не забывать того, что мы, люди нашего века, имеем за собой и что перед нами. Другого Гете у нас, немцев, больше не будет, но будет Цезарь".

Ave, Caesar, morituri te salutant. О Цезаре мечтает Шпенглер и в своей большой книге. Апокалиптически пророчествуя насчет будущего (в пророчествах этих горячее желание слышится), Шпенглер предсказывает появление новой монархии Цезарей, проводя аналогию между Наполеоном и Александром Македонским, с одной стороны, и грядущим западно-европейским Цезарем и римским Цезарем—с другой.

Рожденная под знаком Агадира, стремящаяся дать людям действия образ мира, с которым можно жить, преследующая практические задачи, относящаяся с величайшим презрением к простой массе населения и ненавидящая исправителей мирового порядка (коммунистов?), ставящая господствующим классам осязательные исторические цели, зовущая их к дерзновению, к отваге, ко всему, что требует силы действия, инициативы, личного превосходства, ненавидящая Лондон и Париж, старающаяся прозреть дальнейшие пути к господству над другими и повелеванию стихиями в эпоху электричества, открывающая величественные горизонты могучей эпохи в стиле римской империи, стремящаяся вдохнуть веру хотя бы в кратковременную победу, воспевающая бетон, сталь, железные нервы и государственных мужей и вожделенно предсказывающая приход не антихриста, а западно-европейского Цезаря—эта идеология есть идеология воинствующего империализма; она и составляет подлинную подоснову всей философии Шпенглера.

Славянофильствующие богомольные вехисты, естественно, становятся совершенно втупик перед этой сутью шпенглерианского мировоззрения. Они приняли его как своего, установили его родство и с Леонтьевым, и с Данилевским, и с Достоевским (Бердяев уверяет, что он еще раньше Шпенглера прозрел),—одним словом Шпенглер очутился в хорошей компании самых мракобесных реакционных идеологов умиравшего патриархально-феодально-крепостнического строя, отрицавшего или „не приемлющего" буржуазную культуру с точки зрения феодального „вчера",—и вдруг—такой пассаж!—Прославление инженерии, римско-прусского воина и тому подобное! Заметить эту

черту они заметили, но связать ее со всем мировоззрением Шпенглера—это уж им не дадено. В результате—какое-то нечленораздельное бормотание о трех лицах на манер христианского Бога. Так Степун, потрясенный „бесконечной ученостью“ новоявленного пророка, устанавливает наличие у него трех лиц: романтика, мистика и человека современной цивилизации. При этом последнему лицу дается такого рода недоуменная характеристика [1]).

„Разгадав с пророческой силой образ этой цивилизации... он в каком-то смысле все же остался ее мечом и песнью. Он верит, что в каждом собрании акционеров большого предприятия вращается (ну, и терминология прости Господи! *Г. П.*) несоизмеримо больше ума и таланта, чем во всех современных художниках, взятых вместе. Он мечтает о том, что его книга совратит не одного юношу с путей бессмысленного и невозможного ныне служения музам, превратив его в инженера или химика... Он каким-то своим римско-прусским вкусом к доблести воина и мужа требует от современного человека навстречу смерти открытых объятий, безропотного служения цивилизации и полного воздержания от разлагающих душу смертника юношеских мечтаний, воздержания от искусства, философии, творчества“.

„В каком-то смысле“, „все же“, „каким-то“! Степун, разумеется, даже догадаться не может, что это есть настоящее, подлинное „лицо“ туманного философа, предпочитающего набор „многомысленных“ слов [2]) научной системе развивающихся понятий. Базаров остатками своего прежнего марксистского мировоззрения учуял это нечаянно и мимоходом ткнул в это слабое место Степуна:

„А между тем,—говорит он [3]), именно этот лик, перед которым Степун останавливается в полном недоумении... именно этот лик и является самым подлинным ликом Шпенглера“.

В чем состоит эта „подлинность“, какова связь этого „лика“ с философической похлебкой Шпенглера,—об этом Базаров не говорит ни слова, предпочитая отыскивать у этого ярого империалиста черты, родственные... марксизму. Более того, возражая Деборину, Базаров даже утверждает нечто прямо противоположное [4]):

„Политические симпатии Шпенглера имеют, говоря его словами, исключительно „биографический интерес“. С основной его историко-философской концепцией они органически не связаны“.

Уже это одно показывает, что Базаров не только растерял свой марксистский багаж, но и утратил способность хоть мало-мальски объективно анализировать идеологические построения. Что его оценка Шпенглера совершенно не верна, об этом мы еще поговорим дальше, а сейчас еще только несколько слов о наиболее правильной характеристике Шпенглера, данной Дебориным, который попытался подойти к нему марксистски, отметил много верных черт, но все же основное проглядел.

Деборин подметил в Шпенглере его реакционность и прусское юнкерство и поэтому изображает его просто как прусского импе-

[1]) Ф. Степун: Освальд Шпенглер и Закат Европы. Сборник статей Бердяева, Букшпана, Степуна и Франка под названием „О. Шпенглер и Закат Европы“, изд. „Берег“, М. 1922, стр. 15. Подчеркнуто мною.

[2] Степун, ibidem, стр. 7: „В основе „Заката Европы“ не лежит аппарата понятий, в основе его лежит организм слов... понятие всегда одномысленно. . Слово всегда многомысленно, неуловимо...“ И есть же люди, которые такую несосветимую чепуху в сурьез принимают!

[3]) „Красная Новь“, № 2 (6), стр. 231.

[4]) Ibidem, стр. 228.

риалиста, представляя себе, очевидно, „империализм" в вульгарно-крикливом стиле анти-немецких ура-патриотов. В этом—основная ошибка Деборина. „Даже буржуазия в качестве культурного фактора для Шпенглера не существует", говорит он [1]). Это не верно. Шпенглер не феодал, а буржуа, буржуа последней формации, финансово капиталистической, растворившей в себе и юнкерство. Это—существенно для понимания Шпенглера. Поэтому характеристика Шпенглера, как реакционера, или даже как прусского юнкера, необходима, но не достаточна. Он—реакционер, но не в стиле наших славянофилов. Он—юнкер, но юнкер style modern. Он—идеолог современной империалистской аристократии, не отрицающей настоящее, но ненавидящей и потому отрицающей будущее, будущее не ихнее, а чужое, наше будущее...

II.

Но характеристика Шпенглера, как идеолога воинствующего империализма, не достаточна. „Классовая психология опирается на совокупность жизненных условий соответствующих классов, а эти жизненные условия определяются положением классов в экономической и политически-социальной обстановке" [2]). А эта обстановка есть обстановка краха капитализма, завершения его в форме финансового капитализма, раздираемого внутренними противоречиями, потрясаемого в самых основах своих и находящегося под ударом рабочего класса, выдвинувшего свой общественный строй—коммунизм. Империализм contra империализм, колонии contra метрополии, пролетариат contra буржуазии, коммунизм contra капитализм—все эти враждебные друг другу силы столкнулись в бешеной свалке, и мир наполнился шумом ожесточеннейшей борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть.

Капиталистический мир переживает неслыханную катастрофу. Войны, революции, восстания, борьба колоний против метрополий, кинематографическая смена правительств, движение многомиллионных масс, стачки необычайной широты и напряженности,—все это стало бытовым явлением. Какое-нибудь восстание в Капской колонии, возмущение в Индии или столкновение войск „свободного ирландского народа" с „республиканскими" войсками в Ирландии, Глейвицкий инцидент не вызывают ни малейшей сенсации,—мы читаем о таких событиях в газете, как об обычных фактах текущей действительности. А вспомним, как каких-нибудь десяток лет тому назад мы читали об Агадире, Марокко, Цабернском инциденте или о стачке докеров или даже парламентских победах германской социал-демократии. Но этого мало. Вся капиталистическая система содрогается от внутренних противоречий, ее основа, капиталистическое хозяйство, безнадежно бьется в оковах. Люди „дела", практические руководители буржуазии, и деловые идеологи господствующего класса уже не в силах скрывать этого и вынуждены открыто признавать этот трагический для капитализма факт.

„Всеобщее расстройство торговли, промышленности, транспорта и зловещая угроза новых войн,—все это ставит современную цивилизацию [3]) перед перспективой катастрофы. Европа, распространявшая в течение пятисот лет по всему миру начало циви-

---

[1]) Журнал „Под знаменем марксизма", № 1—2, стр. 14.

[2]) Н. Бухарин „Исторический материализм", стр. 245.

[3]) Ту самую, „мечом и песнью" которой „остался" Шпенглер.

лизации, втечение последних нескольких лет вернулась в состояние средневековья... Среди нас не должно быть ни монархистов, ни республиканцев, ни советистов. Мы все[1]) находимся в равных условиях, должны принять участие в лечении больного организма Европы".

Недурно сказано! Эти слова матерого волка английского империализма, британского премьер-министра Ллойд-Джорджа, при открытии Генуэзской конференции лучше всяких ученых исследований характеризуют состояние капитализма. Сама Генуэзская конференция ad oculos продемонстрировала безысходные противоречия, в которых бьется капиталистическая Европа. и каким-то отчаянием звучат заключительные аккорды этой знаменитой речи:

„Если конференция кончится неудачей, то все может рушиться".

Credo, quia absurdum est!

Ни конференции, ни бессильные рецепты буржуазных лекарей не вылечат „больного организма Европы". Разбитый меч Зигмунда не может склеить алчный Миме.—его заново переплавляет и выковывает кузнец Зигфрид. Капиталистический мир будет рушиться независимо от исхода Генуэзской конференции, и человеческое общество будет переплавлено и заново выковано рабочим классом. Но эта то перспектива и ужасает буржуазных идеологов больше всего. Они ищут спасения, создавая себе такой „образ мира, с которым можно жить".

А спасение найти трудно, трудно потому, что совершающийся на глазах у всех сдвиг подобен какому-то грандиозному геологическому сдвигу, от которого некуда деваться. Я не могу здесь останавливаться подробно на характеристике происходящего переворота в общественных отношениях, но для того, чтобы оживить перед глазами читателя фон, на котором расписаны идеологические узоры шпенглерианства, я предлагаю читателю сделать простую сводку телеграфных известий за любые три дня: не сенсационных известий, а будничных, мелких, обыденных фактов, коими ежедневно пестрят газеты и которые именно своей обыденностью подчеркивают катастрофическое состояние капитализма.

Они вместе с речью Ллойд-Джорджа лучше всяких длинных рассуждений вводят нас in media res „совокупности жизненных условий" господствующих классов капиталистической Европы.

Идеолог империализма должен ориентироваться в этих условиях, он должен найти себя, должен в этих условиях создать тот „образ жизни, с которым можно жить", и он ищет этот образ и находит в философии Шпенглера.

Читая Шпенглера все время отчетливо чувствуешь историческую обусловленность его империалистской идеологии тремя основными фактами:

империалист—накануне краха капитализма;

европеец—в периоде перехода капиталистической гегемонии к С. Ш. Америки;

немец—накануне и во время крушения великогерманских устремлений.

Ему нужно „утвердить" империализм и по отношению к прошлому и по отношению к ближайшему будущему. Прошлое—это буржуазный либерализм, идеалистическая романтика; будущее—это торжество коммунизма. С прошлым он связан органически; прошлое—это

---

[1]) „Все"—это уже для самоутешения!

прошлое его класса, но жившего в иных „жизненных условиях". Идеология и психология этого прошлого не годится для настоящего, эта идеология мешает, от нее нужно избавиться, но избавиться с почетом. Прошлое—это культура буржуазии, настоящее—ее цивилизация. Прошлое было хорошо в прошлом. Теперь оно не нужно. Оно умерло, оно мешает, Гете умер, да здравствует Цезарь.

„Закат Европы" или, как поправляется позже сам Шпенглер, завершение ее культуры есть в первую очередь крест над прошлой идеологией буржуазии, над идеологией буржуазии периода ее революционной борьбы против феодализма. Не даром последним музыкантом Шпенглер считает Бетховена. Бетховен—последний великий композитор революционной буржуазии. Вагнер стоит на переломе и кончает мистическим „Парсифалем" после 48 года. В этом проявляется сущность воинствующего империализма Шпенглера, стремящегося освободить идеологию современного буржуа от пут ея прошлого[1]).

„Неограниченное и необузданное „Да будет так,—пишет он,—должно уступить место холодному и ясному взгляду, который обозревает возможные и поэтому необходимые факты будущего и на этом основании производит свой выбор".

Эта важнейшая черта, лежащая в основе всех его построений, как-то осталась незамеченной.

Но „Закат" его, несомненно, двусмысленен. На-ряду с утверждением настоящего против прошлого, хотя и симпатичного, но ныне вредного, он как-то должен избавиться от страха смерти, ибо завтра... завтра смерть.

Шпенглер, прежде всего,—идеолог германского империализма, затем европейского и затем империализма вообще. И этим, как раз, объясняется особенная обостренность всех восприятий Шпенглера. Ведь такая последовательность остроты ощущений в данной исторически-конкретной обстановке означает ряд последовательных восприятий развала.

Империализм вообще—европейский империализм—германский империализм, каждый из них имеет своего специального победоносного антипода: империализму вообще—грозит коммунизм; европейскому империализму, к тому же еще—американский; германскому империализму добавочно противостоит более сильный империализм Антанты. Такова обстановка. Из нее не выскочишь.

Вот в этой-то обстановке Шпенглер силится создать такую идеологию, которая позволила бы жить и действовать[2]).

---

[1]) Наши славянофильствующие юродивые вехисты, да и не они одни совершенно неправильно поэтому сближают Шпенглера с Данилевским, Киреевским, Вл. Соловьевым и т. п. Наши идеологи патриархально-феодальных отношений вопили по адресу Запада „не приемлю!" с точки зрения давнопрошедшего. Версилов в „Подростке" так и говорит: „Европа так же была отечеством нашим, как и Россия... О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес: и даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, а они перестали дорожить старыми камнями" (удачно напомнил это место Бердяев в цит. сборнике „О. Шпенглер и Закат Европы", на стр. 66, но, понятно, совершенно не понял смысла этого стенания души истерзанной). Данилевский и проч. обскурантско-черносотенная плеяда философов средневековья пытаются противопоставить феодальное вчера буржуазному сегодня. Шпенглер противопоставляет империалистское сегодня либеральному вчера и коммунистическому завтра. Отсюда некоторое формальное сходство есть, но разница—огромна.

[2] Неправильно трактовать Шпенглера исключительно, как „упадочника". Да, он—упадочник, это верно, но упадочник, пытающийся не упасть, он—смертник, борющийся со смертью; это—не просто вопль отчаяния, а попытка „создания образа мира,

Он издевается над теми современными философами, которые не имеют никакого отношения к действительной жизни, противопоставляя им философов иных времен:

„Философы до-Сократовского времени были политиками и купцами большого стиля: Аристотель был бы недурным министром финансов в Афинах, Гете был образцовым министром и понимал коммерческое значение Суэцкого и Панамского каналов, Гоббс принимал энергичное участие в образовании английской колониальной империи, Лейбниц понимал значение Египта для Франции и роль Суэцкого перешейка и т. п. А современные философы?

„Не возбуждает ли жалость одна мысль о том, чтобы кто-нибудь из них показал свои таланты в качестве государственного деятеля, дипломата, крупного организатора, руководителя какого-нибудь огромного колониального коммерческого или транспортного предприятия... Тщетно озираюсь, я и ищу, кто из них создал себе имя хотя бы одним прозорливым суждением в вопросе, имеющем решающее значение для современности... Когда я беру в руки книгу какого-нибудь современного мыслителя, то задаюсь вопросом, какое он вообще имеет представление... о фактической стороне мировой политики, о великой проблеме мировых городов, капитализма, будущности государства, об отношении техники к концу цивилизации, русском вопросе, о вопросах науки вообще... Очевидно, утерян всякий смысл философской деятельности... Возможна ли вообще сегодня или завтра настоящая философия?

„В противном случае разумнее стать плантатором или инженером, чем-нибудь истинным и реальным, нежели пережевывать затасканные темы под предлогом „нового подъема философского мышления". И лучше сконструировать новый двигатель для летательного аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции... за поразительно-ясные высоко интеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода прецессионной машины, за тонкость и изящество некоторых химических и оптических процессов я готов отдать всю стильную дребедень современной художественной промышленности, вместе с живописью и архитектурой".

Пред кем преклоняется Шпенглер?

Перед столпами финансового капитала: Сесиль Родс, Морган, Сименс, Карнеджи. Для них он создает свой образ жизни, им поклоняется.

Но объективный ход развития ведет к смерти диктатуру империализма. Надо как-то освободиться не только от пут прошлого, но и от призрака смерти будущего. Надо прежде всего избавиться от красного призрака коммунизма. И здесь Шпенглер пускает в ход самые вульгарные приемы, стараясь убедить и себя и читателей, что настоящий социализм не марксизм, а „социализм" Бисмарка и Фридриха Великого,—против такого „социализма" он не возражает, наоборот

с которым" современный буржуа может жить. И уже совсем односторонне истолкование Шпенглера и шпенглерианства С. Бобровым, как послевоенного похмелья, на манер писем Ал. Тургенева о войне 1812 года, настроений после франко-прусской войны душевного ада после 1905 года в России" и т п. („Красная Новь", № 2 (6), стр. 231—242). Этот элемент, несомненно, в шпенглерианстве есть, но он далеко не является решающим и поглощается главным: отстаиванием последней фазы капитализма. Точно также узко, хотя и несколько общее ставит вопрос т. Н. Бухарин, квалифицирующий Шпенглера, как „писателя, удрученного событиями германской буржуазии" („Исторический материализм", М. 1922 г., стр. 145).

всячески и всемерно одобряет. Этот „социализм" является носителем идеи империализма; объединяя его с идеей прусской национальной монархии [1]), он предвидит торжество Пруссии под флагом империалистического рабочего Интернационала.

Но это—самый грубый и мало убедительный подход к проблеме.

Главное, это показать, что у буржуазии наследника нет. После нас—смерть. Используем же время наилучшим образом. „Если люди нового времени, нового поколения возьмутся за технику, вместо лирики, за мореплавание вместо живописи, за политику вместо теории познания, они сделают то, что соответствует моим желаниям и ничего лучшего им пожелать нельзя". „Не отчаяться в будущем в жизни должны мы, но полюбить эту судьбу".

И все его построения представляют из себя мистическое обоснование этой судьбы и внутреннюю борьбу человека „нового времени" с осаждающими его сомнениями.

Империализм борется со смертью. Его преследуют призраки прошлого. Ему на смену идет новая культура, культура коммунизма. Империалист видит, что цикл развития буржуазной культуры—цивилизации завершается. Империалист не может видеть, что идет за этой культурой. Он видит дальше конец и хочет оттянуть этот конец, а до этого конца жить с таким образом мира, который бы его не мучил, который позволял бы ему продолжать борьбу не на живот, а на смерть.

Идеолог этого империализма заглянул дальше сегодняшнего дня и увидел смерть. Пред лицом этой смерти он создал фантастическую философию, в которой правда и вымысел, призыв к борьбе и безысходный скептицизм, любовь к фактам и болезненное пристрастие к самым наивным гаданиям на кофейной гуще сплелись в какую-то бесформенно-чудовищную историческую астрологию, окрещенную именем „Заката Европы".

„Закат Европы" не означает заката Европы, Европа коммунистическая еще будет долго жить и здравствовать. „Закат Европы" не есть надгробное рыдание над умирающим капитализмом, капитализм еще живет и ведет смертельную борьбу за существование. „Закат Европы" есть философия империализма, осознавшего угрозу смерти и борющегося со смертью, это—в подлинном смысле философия импелизма, борющегося со смертью.

III.

Я попытался вскрыть подлинную сущность мировоззрения Шпенглера. Было бы чрезвычайно интересно проследить идеологическое развитие этой сути во всех разветвлениях историософических умствований его. К сожалению, ни время, ни место не позволяют проделать эту не бесполезную работу. Предоставляя, поэтому, читателю самому проверить развитую мною точку зрения при чтении Шпенглера, попытаюсь лишь в самых беглых чертах показать выявления очерченной сути в некоторых построениях Шпенглера.

Самое интересное и соблазнительное для марксиста построение Шпенглера—это его теория прерывности культурного развития, теория замкнутых культурных циклов и теория всеобщего релятивизма.

---

[1]) Особенно интересна в этом отношении его „Preussentum und Socialismus".

Уже из ранее сказанного совершенно ясно, почему Шпенглер стоит на точке зрения прерывности общественного развития.

Ведь его теория прерывности приводит к тому, что человеческое общество, развившееся на территории Западной Европы, вступило в свою последнюю фазу развития. За этой фазой наступает полное омертвение общества—культурно-исторический цикл начинает развертываться где-то в другом месте и пробегает те же фазы. Научный анализ не дает таких результатов. Наука с совершенной очевидностью позволяет нам предвидеть гибель буржуазной формы этого общества в результате острого столкновения борющихся внутри этого общества классов, в этом смысле перерыв линии развития, победу другого класса и начало развития новой культуры на той же территории, культуры коммунистической. Общество не гибнет. Гибнет данная форма общества, гибнет культура нынешнего господствующего класса, гибнет этот класс, на смену ему идет новый класс, насильственно уничтожающий господство буржуазии и тем самым освобождающий общество от мертвящих оков буржуазных отношений и буржуазной культуры. Это способна видеть лишь наука, не заинтересованная в существовании капиталистического общества. Естественно, что такая перспектива Шпенглеру „не нравится“. Поэтому: 1) долой науку, 2) империализмом завершается западно-европейское развитие. Вместо научного анализа—астрологические циклы, мистически обосновывающие невозможность никакой культуры после гибели империализма. Эта „теория“ для убедительности переносится и в прошлое. Получается формально-привлекательное и как-будто бы правдоподобное построение.

Настолько правдоподобное, что Базаров усмотрел в нем даже приближение к марксизму.

„Цикл“ сослужил Шпенглеру двойную службу: 1) он позволяет отделаться от своего прошлого, 2) дает возможность отрицать чужое будущее. В качестве побочного продукта получаются мертвые культуры Индии, Египта и т. п., что дает идеологическое оправдание колониальной политике империализма. Такой результат неизбежно получится, если рассматривать общественное развитие идеалистически и отрешаться при этом от классового расчленения общества. Все эти элементы у Шпенглера на-лицо: развитие „культурной души“, при этом „культурной души“ всего общества, а не господствующих классов, тесно связано у Шпенглера с его „циклической теорией“.

Что общего имеет эта теория с марксизмом? Ничего решительно! Однако Базаров „марксистски“ сочувствует этой концепции, заявляя [1]):

„Марксистская критика... должна была... не без некоторого удовлетворения констатировать приближение закатной буржуазной мысли к той исторической концепции, которую до сих пор отстаивал лишь революционный социализм“.

И далее:

„Необходимо исходить“ из мужественного признания катастрофичности мирового процесса, преходящего характера культур и их истин и, в частности, из признания обреченности ныне доживающей век европейской культуры“.

У Шпенглера дело вовсе не в катастрофичности мирового процесса, а в цикличности развития культур в определенных геогра-

---

[1]) „Красная Новь“, стр. 227, 229.

фических рамках и на это он соблазнил Базарова, исходящего из „обреченности ныне доживающей век **европейской** культуры".

Прежде всего „катастрофичность" развития нами признается для **классового** общества. Затем, эту „катастрофичность" мы понимаем следующим образом:

„Угнетатели и угнетаемые находились в постоянной вражде друг с другом, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, которая каждый раз **кончалась революционным переустройством** всего общества и совместной гибелью борющихся классов" [1]).

Современное нам состояние Европы, поэтому, мы представляем себе вовсе не по-Шпенглеровски и не по-Базаровски, не как состояние умирающей культуры, а как революционное состояние, как канун взрыва, революционного переустройства всего общества.

Не Европа „обречена", а буржуазия. Не **европейская** культура, а культура буржуазии должна погибнуть. „Общество не может более жить под властью буржуазии; другими словами, жизнь буржуазии не совместима с жизнью общества". Теоретически мыслима гибель **обоих** борющихся классов, и **тогда** можно говорить о гибели „европейской культуры". В прошлом такие случаи бывали, но смена „формаций" вовсе не обязательно означает географический перерыв: разрушение феодализма и торжество капитализма разыгралось на одной и той же территории и в пределах одного и того же общества. Лишь в тех случаях, когда борьба классов внутри данного общества не заканчивалась революционным переустройством всего общества, наступало разложение общества, обычно сопровождавшееся завоеванием (античный мир). Предполагать такой исход для Европы у нас нет никаких оснований; наоборот, все данные говорят за то, что дело кончится катастрофой для буржуазии, но не для Европы, что дело закончится „революционным переустройством всего общества", торжеством пролетариата и коммунизма. Это—„немножечко" не то, что говорит Шпенглер и за ним повторяет Базаров.

„Культурные круги" Шпенглера ничего общего не имеют с революционной диалектикой марксизма. Шпенглер не хочет катастрофы, насильственной смерти, он прячется от нее, подставляя на место „катастрофы"—тихую естественную смерть. Упрощая обе точки зрения, их наглядно можно **противопоставить** (а не искать сходства, Базаров!) примерно таким образом:

У Шпенглера неведомо из какой-то „перводушевности" выскакивает некая „душа" и начинает жить и развиваться. Процесс развития происходит гладко и без задоринки, на манер органической жизни человека: детство—отрочество—зрелый возраст—старость—смерть. Душа возвращается в свою перводушевность. Затем выскакивает в другом месте другая „душа" и снова проделывает аналогичный жизненный путь.

Для нас—такая идиллическая историософия смехотворна. Человеческое общество раздирается внутренними противоречиями. Происходит борьба. В результате—либо насильственная смерть господствующего класса и революционный переворот, влекущий, естественно, за собой изменение **господствующей в данном** обществе культуры, либо разложение общества и подчинение его другому обществу, обладающему иными способами производства, иной классовой структурой и **поэтому**

---

[1]) „Коммунистический Манифест".

иной культурой. „Что ж доказывает история идей,—говорит Маркс[1]),— если не то, что умственная деятельность преобразуется вместе с материальной? Господствующими идеями данного времени всегда были только идеи господствующего класса".

Конечно, „социалисты" вроде Шмолленбаха или Шиковского, отрекшиеся от марксизма, предающие рабочий класс, боящиеся катастрофы господства буржуазии, относятся к Шпенглеру реакционно. Но из этого не значит, что историософия Шпенглера в свою очередь не реакционна по отношению к научной революционно-диалектической точки зрения марксизма. Неизбежна не смерть общества, а катастрофа господства буржуазии, крушение культуры господствующего класса, на обломках которого вырастет новая культура, воспринимающая из старой все ее общественно-пригодные элементы и отметающая все элементы, пригодные для организации господства буржуазии над пролетариатом.

И далее. Откуда следует, что Индия мертва? Индия порабощена английской буржуазией и зажата в стальные тиски господствующих классов Англии. Но как только эти тиски разожмутся, картина резко изменится. Говорить о смерти индийской культуры может только империалист. Более того. Особенности культур различных человеческих обществ, развивавшихся, выражаясь по Шпенглеру, „в различных ландшафтах", несомненно велики. Эти особенности особенно велики в прошлом. Но по мере развития производительных сил и путей сообщения, по мере образования мирового хозяйства эти особенности ослабевают, и в будущем мы будем иметь, да в значительной степени уже и сейчас имеем, развитие всего человеческого общества, а не независимые круги развития различных человеческих обществ. Низвержение капитализма и торжество рабочего класса приведут к полному уничтожению искусственных барьеров, построенных эксплоатирующими классами между исторически различными общественными образованиями, в то время, как развитие техники уже и сейчас в значительной мере преодолевает естественные барьеры, а в будущем будет преодолевать их с еще большим успехом.

Желая законсервировать настоящее, Шпенглер подгоняет под него прошлое, строит универсально-банальную, совершенно не верную схему развития общества и старается ее увековечить, распространяя на будущее.

Шпенглера „по человечеству" можно понять. Иначе мыслить он не может. Но Базаров, силящийся занять революционную позицию и видящий в этой чепухе какие-то родственные марксизму черты,—сие можно объяснить уж совсем по-иному.

Игнорирование классового расчленения общества и полное забвение диалектики характерно для Базарова и во всех случаях, когда он солидаризируется со Шпенглером в отношении сравнений культур разных обществ. Например: „исчисление бесконечно малых не развилось в античном мире потому, что его принципы противоречат самим основам античного миросозерцания, самому стилю античного ума". А вот „европейский ум" воспринимает дифференциальное и интегральное исчисления! Этого одного примера достаточно, чтобы показать, до какой идеалистической вульгарщины докатился Базаров...

Но речь идет не о Базарове...

---

[1]) „Коммунистический Манифест".

Если бы Шпенглер был идеологом просто умирающего мира, то он наверное загнул бы нечто ультра-божественное или сверх-скептическое. Но он идеолог империализма, еще стоящего на ногах и ведущего отчаянную борьбу за жизнь. Он предчувствует лишь смерть. Поэтому скепсис ему свойственен. Основное же это—попытка самоутверждения, хотя бы временно, хотя бы без надежды на „вечное" существование. Зато утешительно: цикл закончится нами, империалистами, после нас—смерть, после нас никакой европейской культуры не будет... „Пройдет немного столетий и на земном шаре не останется ни одного немца, англичанина или француза" [1]. „В лице современной цивилизации Шпенглер бесконечно любит какой-то(?!) страстный предсмертный порыв европейской культуры [2]. В этом—ключ к теории циклов Шпенглера.

Отсюда же и его своеобразный релятивизм, не имеющий ничего общего с обусловленностью идеологии материальными условиями существования человеческого общества. Его релятивизм позволяет ему произвольно создавать себе желаемый образ мира и является плотью от плоти его исторического идеализма.

На этом фоне совершенно отчетливо вырисовывается вся структура миросозерцания Шпенглера.

„В центре стоит идея судьбы... Судьба и случай безусловно принадлежат совсем к другому миру, чем познание причины действия, основания и следствия... Научное мышление никогда не будет в силах понять нас здесь... Судьба есть слово, которое постигается чувством". Дальше вроде, как из „Катихизиса" Филарета: „Как же следует мыслить отношение между судьбой и причиной? Ответ на этот вопрос определяет собой переживание глубины, но он неуловим(!!) для какого бы то ни было научного опыта и высказывания. Переживание глубины—столь же несомненный, сколь необъяснимый факт. Третьим и весьма трудным понятием является понятие физиономического такта". Важна его высшая форма, именно „непроизвольный и бессознательный метод инстинктивного прозрения не в повседневную жизнь, а в ход мировых событий"... Засим следует „релятивизм... Дело здесь идет о решительно—этическом взгляде на мир, в котором развертывается жизнь отдельной личности. Никто не поймет, что означает это слово, если он не уловил идею судьбы. Релятивизм в истории... есть одно из выражений идеи судьбы. Однократность, непоправимость, невозвратимость всего совершающегося есть та форма, в которой судьба является человеку". „Мировая история не есть какой-нибудь единый процесс, а группа, состоящая пока из восьми высоких культур, совершенно самостоятельных, но во всех своих частях однородных по структуре". Отсюда вытекает, что „всякий созерцатель... всегда мыслит только, как человек своего времени... для нас, людей сегодняшнего дня, существует необходимое миросозерцание (NB шпенглерианское! *Г. П.*), но оно, разумеется, не то, какое было в гетевское время".

Я нарочно привел в подлинных выражениях самого Шпенглера и в последовательности его собственного изложения идеологический стержень его мировоззрения. Если вспомнить все, что мы раньше говорили о Шпенглере, то все это целиком и полностью вытекает из данной выше характеристики Шпенглера.

---

[1] Степун, op. cit., стр. 6.
[2] Ibidem, p. 31.

Я не останавливаюсь на историко-астрологической мистике Шпенглера. Совершенно ясно, как она связывается со всем миросозерцанием его. Мне кажется, что сказанного достаточно, достаточно прежде всего для того, чтобы не пытаться, как это делает Базаров сближать философию господствующего класса, барахтающегося в объятиях смерти, с философией класса, наносящего смертельный удар господствующему классу, и достаточно, во-вторых, для того, чтобы понять природу философии Шпенглера.

Пусть империализм продолжает борьбу со смертью—нам от этого впадать в уныние нечего: он обречен и должен погибнуть. Пусть идеологи империализма ищут идеологические предпосылки возможности существования, нас это мало интересует, обреченные здоровую идеологию создать не могут. Мы радуемся всякому признаку приближения краха капитализма в его последней фазе, мы радуемся и появлению книги Шпенглера, и оформленному им идеологическому движению,—это признаки нарастающей бури. Она может стихать и крепнуть, но она сметет нынешних властителей мира и очистит одновременно землю от больной идеологии империализма. Европейская культура не идет к закату, она расцветет еще небывало пышным цветом, но носителем ее будет уже другой класс, являющийся ее нынешнему носителю в грозе и буре коммунистической революции...

О феномене D'Herelle'я.

Б. М. Завадовский.

Предисловие.

Новые факты и горизонты в учении об иммунитете.

Уже около двух лет прошло с тех пор, как, в ряду других условий, была прорвана научно-литературная блокада, отделявшая нас от новейших завоеваний западной науки и техники. Но и здесь снятие блокады отразилось главным образом на притоке немецкой литературы: наоборот, французские, английские и американские научные журналы до сих пор еще доходят до нас случайными единицами, и мы настолько еще не сумели справиться с снабжением наших научных и педагогических учреждений соответствующей литературой, что, напр., в Свердловском университете в текущем году приостановилось получение даже тех немецких научных журналов, которые мы имели в прошлом году...

Результаты на-лицо: в помещаемой ниже переводной с немецкого статье под скромным заглавием „О феномене D'Herelle'я" наши читатели познакомятся с открытием чрезвычайной важности, которое впервые было опубликовано во Франции и привлекло к себе пристальное внимание ученого мира уже в 1917 году.

В обстоятельствах этих все характерно: и то, что открытие большого и общего значения, сделанное в 1917 году, только лишь в 1922 становится доступным широким кругам русского общества, и то, что для ознакомления с ними нам приходится пользоваться посредничеством тех же немецких журналов и лишь вздыхать об оригинальных французских работах самого D'Herelle'я и Bordet, работы которых составляют основу для интересного открытия.

Правда, кое-что о феномене D'Herelle'я имеется уже и в оригинальном изложении самого автора открытия. Именно, в № 2 „Журнала Научного Химико-Фармацевтического Института В. С. Н. Х." (декабрь 1921 г.) помещен сокращенный перевод статьи D'Herelle'я из „Presse Medicalle" 1921 г. Более широкое изложение фактов и мыслей, связанных и порожденных открытием, мы нашли в декабрьском номере известного немецкого журнала „Naturwissenschaften" (Heft 50, December 1921) из статьи Ульриха Фридеманна. Других источников по данному вопросу я не имею и, поскольку мне приходилось справляться, в таком же положении находятся и специалисты, работающие в области микробиологии и иммунитета. По крайней мере, упоминаемые в статье Фридеманна работы Bordet, имеющие капитальное значение для всей проблемы, у нас в Москве, повидимому, не получены.

Нельзя не поднимать еще и еще раз голос по этому поводу. В борьбе за экономическое и культурное восстановление страны, трудно переоценить всю важность для нас быть в курсе тех конечных достижений науки, которые могут нам принести специальные научные журналы. И мы отнюдь не уверены в том, что такие же неожиданные известия о давно известных Западу вещах не будут неоднократно повторяться в области науки и техники, пока не будет налажено планомерное получение научных журналов Запада.

Так, уж несколько месяцев из частных писем из Америки мне передают смутные сообщения о каких-то чрезвычайно-важных достижениях американской хирургии—все это остается для нас пока трудно доступными благами, ибо если мы еще кое-что и получаем из Германии, меньше—из Франции, то из Америки—почти ничего.

Ниже я даю полностью упомянутую статью Фридеманна о феномене D'Herelle'я в переводе Г. О. Азимова. Талантливо, с подъемом, увлечением и знанием дела составленная, эта статья не оставляет желать ничего лучшего для первоначального ознакомления с этим открытием широкого биологического значения.

Но, принимая во внимание большую важность вопроса и его интерес, выходящий далеко за пределы обыденного, я позволил себе снабдить перевод дополнениями, почерпнутыми из перевода статьи D'Herelle'я, сделанного Л. М. Уткиным. Мои примечание, в отличие от тех из них, которые существовали в немецком оригинале, обозначены всюду инициалами (Б. З.).

Наконец, учитывая интересы широкой аудитории, мне хотелось бы оттенить здесь некоторые стороны значения обсуждаемого явления, недостаточно, быть может, развитые и подчеркнутые немецким автором.

В чем сущность открытия D'Herelle'я?

Суть его в том, что D'Herelle'ю, повидимому, удалось доказать существование особого вида микроба, который является так сказать суперпаразитом, т.-е. паразитом на паразите же. И притом этот паразит живет за счет таких патогенных для человека бактерий, как дизентерия, тиф и т. д. Если бы подтвердилось это толкование D'Herelle'я, то тем самым медицина получает в руки незаменимое средство для борьбы с соответствующими инфекционными заболеваниями.

Фридеманн высказывается в своей статье в том смысле, что теория D'Herelle'я, который именно так толкует открытые им явления, „не привычна для нашего мышления". Мы не можем согласиться с этим мнением. Б и о л о г и ч е с к и факт существования паразита на паразите же не представляет собою чего-либо недопустимого и даже принципиально нового. Столь же мало непривычным является для нас факт, что паразит простейшего происхождения паразитирует на простейшем же. Мы имеем много примеров подобного рода, в частности напомню хотя бы весьма интересную Pseudospora Volvocis, паразитирующую на вольвоксе.

Б и о т е х н и ч е с к и столь же мало непривычным для нашего мышления явился бы и метод борьбы с паразитами путем „натравливания" на них их собственных паразитов. Этот прием собственно уже давно используется нами на практике в тысячах случаев, ничем принципиально не отличаясь от того, что предлагает D'Herelle: так мы боремся с гусеницами, паразитирующими на нашем лесе, размножая в соответствующих лесных местах виды наездников, паразитирующих

на этих гусеницах—прием, давший в Америке в некоторых случаях весьма благотворные результаты; так мы разводим крысиный тиф для борьбы с грызунами. И разве не того же порядка рецепт Мечникова, который для борьбы с гнилостной флорой кишечника предлагает культивировать молочно-кислые бактерии?

Нам кажется, что Фридеманн принципиально неправ, когда он априорно признает точку зрения D'Herelle'я менее привычной для нашего мышления, чем точку зрения Bordet.

Конечно, многих может смутить тот факт, что, признавши в бактериофагном вирусе организованный микроб, нам придется постулировать его ультрамикроскопические размеры, недоступные непосредственному наблюдению.

Этот микроб должен быть так мал, что находится за пределами разрешающей силы микроскопа. Он проходит через мельчайшие поры глиняного фильтра Чемберлэна. Мы его с нашими средствами не можем увидеть, хотя результаты его жизнедеятельности и не возбуждают, очевидно, никаких сомнений.—Но и эти все факты не представляют чего-либо принципиально нового, ибо существование таких „фильтрующихся организованных вирусов" и раньше допускалось на основании всей суммы наблюдений над до сих пор неоткрытыми еще возбудителями оспы, бешенства и некоторых других болезней.

Таким образом все говорит за то, что, вопреки мнению Фридеманна, теория D'Herelle'я отнюдь не так уж неприемлема для наших воззрений.

Утверждая это, я отнюдь не хочу сказать, что точка зрения D'Herelle'я является единственно верной и что, наоборот, теория Bordet ошибочна. Не будучи специалистом в этой области и тем более не обладая специальной литературой и оригинальными источниками, я не считаю себя в праве решать вопрос.

С точки зрения биолога я могу лишь судить, насколько допустимо принципиально то или другое толкование наблюдаемых явлений. С этой точки зрения рассмотрим те выводы, которые вытекают из каждой из двух предлагаемых теорий.

Допустим, что прав D'Herelle, и что его феномен обусловливается особым фильтрующимся микробом, паразитирующим на дизентерийной бацилле. Легко допустить, что этот микроб принадлежит к той же категории, как и до сих пор не поддающиеся прямому наблюдению „фильтрующиеся вирусы" оспы, бешенства и т. д. Но как раз для бактериофагов D'Herelle впервые нашел способ сделать их, хотя и косвенным путем, „из тайных—явными"—это тот способ, когда он, смешивая разжиженный фильтрат с дизентерийной культурой, получал округлые „колонии" бактериофагов. Тогда можно думать, что D'Herelle'ем впервые указан метод, идя которым, удается овладеть и выявить природу оспенных и подобных ей вирусов весьма важных болезней. В то же время мы приближаемся к моменту, когда предполагаемый мирок ультрамикроскопических микробов,—мы бы их назвали микромикробами—станет доказанным фактом, доступным научному исследованию.

Нужно полагать, что эти существа должны быть, судя по их размерам, построены еще проще, чем бактерии, т.-е. явятся теми простейшими из простейших, существование которых так напрашивается и так много объясняет в вечной проблеме о первичном зарождении жизни и о переходе от организованной природы к неорганическим телам.

Но, как справедливо отмечает Фридеманн, еще более широкие перспективы обещают нам исследования, связанные с феноменом D'He-

relle'я, если оправдается теория Bordet, полагающая, что здесь дело идет не о микробе, а о ферменте и притом „ферменте, способном размножаться".

Под именем ферментов мыслится группа загадочных еще по своей химической структуре субстанций, с деятельностью которых связываются важнейшие функции живущего организма. Все процессы питания и дыхания, расщепления и синтеза органических тел в организме, кратко—вся сумма процессов, характеризующая обмен веществ и жизнедеятельность организма, связывается в представлении современного физиолога с деятельностью соответствующих ферментов.

Ферменты, это—почти что сама живая протоплазма, или, по крайней мере, одно из конечных проявлений жизни, изученных биохимиками в их стремлении перевести процессы жизни на язык физико-химических законов. И если, с одной стороны, большинство так называемых организованных ферментов еще не известны по своему химическому составу, то зато законы их действий изучены настолько хорошо, что ферментативные реакции являются в такой же мере объектом изучения химика, как и биолога. Химия имеет уже в явлениях неорганического катализа прямую аналогию, облегчающую понимание сложных ферментативных реакций в живой протоплазме.

Таким образом ферменты—это тот мост, через посредство которого современная наука с исключительным успехом переносила методы физико химического исследования в область жизненных процессов.

Таким образом если оправдается, что весьма вероятно, точка зрения Bordet, то этим самым прочно устанавливается уже ранее намечавшаяся связь между явлениями иммунитета с одной стороны и ферментативными реакциями с другой.

Я не хочу преждевременно увлекаться всеми этими заманчивыми перспективами. Мы слишком еще мало имеем сведений о всех фактах, связанных с открытием D'Herelle'я. То, что мы знаем из статьи Фридеманна, слишком недостаточно, чтобы судить, насколько имеется у Bordet основания сравнивать бактериофагный вирус D'Herelle'я с ферментами. Следует помнить, что французские авторы очень любят злоупотреблять словом „фермент", придавая ему расширительное толкование для всех случаев, когда дело идет о субстанциях и процессах недостаточно выясненного порядка.

Но следует также иметь в виду, что Bordet является одним из крупнейших авторитетов в современном учении об иммунитете и что его имя много говорит за себя. Поэтому можно быть спокойным в том отношении, что фактическая сторона обсуждаемого феномена уже подтверждена из достаточно авторитетных и многочисленных источников.

Вместе с тем становится ясным, что, независимо от того, кто более прав, D'Herelle или Bordet, или быть может еще кто-то третий, пока не родившийся, мы имеем полное право считать, что феномен D'Herelle'я подводит нас к каким-то новым проблемам, раскрывающим перед биологией новые чрезвычайно широкие горизонты.

Пока же будем ожидать новых исследований в этом направлении и... заграничных журналов, которые поставят нас в курс дальнейших достижений западной науки и техники.

О феномене D'Herelle'я.

Статья Ульриха Фридеманна, Берлин („Die Naturwissenschaften", Heft 50 December 1921).

Перевод Г. Азимова, под редакцией и с примечан. Б. М. Завадовского.

За последние годы во французской бактериологической литературе были сделаны сообщения о наблюдениях, которые, благодаря своей новизне, заслуживают сугубого внимания. Факты, экспериментально установленные, настолько своеобразны, что для их истолкования, очевидно, недостаточны те представления, которые до сих пор господствовали в бактериологии и в учении об иммунитете.

Нам кажется, что мы стоим перед открытием нового биологического принципа, перспективы которого трудно пока еще предвидеть, и который, быть может, в корне изменит наше биологическое мышление. Но прежде всего всплывают новые проблемы в области практической медицины, и уже на основании имеющихся в данный момент фактов можно заключить, что ими затрагиваются важнейшие вопросы эпидемиологии, профилактики и терапии инфекционных заболеваний.

Для понимания последующего нелишне вкратце напомнить, что дает нам современная наука о понятии инфекции. Проникновение болезнетворного начала в организм является для этого, само собой, безусловно необходимым. Но одного этого недостаточно, ибо паразиты должны в нем найти для себя такие условия, которые делали бы возможным их размножение,—ведь без этого условия не может быть и инфекционного заболевания. Организм человека и животных располагает как раз целым рядом защитных приспособлений, служащих к уничтожению проникшего в него болезнетворного начала. В жидкостях организма, особенно в плазме крови, содержатся вещества, убивающие проникшую в него заразу, играя, в данном случае, роль дезинфекционного средства. Эти вещества носят название бактериолизинов, или (по Бухнеру) алексинов (защитные вещества). При этом большую роль играют также клетки организма, и в первую очередь белые кровяные тельца, которые, согласно знаменитой теории Мечникова, поглощают бактерии и умерщвляют их внутри себя. Это явление носит название фагоцитоза. И вот, если это приспособление функционирует в достаточной мере, проникшее в организм болезнетворное начало уничтожается, и дело не доходит до инфекции; если же, напротив, бактерии в состоянии противостоять защитным приспособлениям организма, они (бактерии) размножаются и порождают инфекционное заболевание, которое или доводит заболевший организм до смерти или заканчивается его выздоровлением. Согласно до сих пор существовавшим представлениям, это выздоровление является результатом образования в организме, под влиянием инфекции, новых защитных средств, которые являются специфически направленными против проникших в организм возбудителей болезни, и, в результате массового их действия, обладая бо̀льшим количеством защитных приспособлений, чем до инфекции, организм более активным образом достигает уничтожения паразитов.

Во всяком случае, согласно господствовавшим до сих пор представлениям, внедрению в организм возбудителей болезни противодействуют силы, исходящие собственно от организма, при чем бактерии

играют в данном случае как раз пассивную роль, настолько пассивную, что они не защищаются даже от наседающих врагов образованием вокруг себя защитой капсулы. И кто бы мог поверить тому, чтобы возбудители болезни могли сами себя разрушать или, тем более, что существуют особые микроорганизмы, роль которых заключается в уничтожении болезнетворного начала, проникающего в организм? И однако новейшие изыскания, о которых речь будет впереди, принуждают нас сделать такое предположение. Но пусть теперь факты говорят сами за себя.

Новое открытие связано с именем французского бактериолога D'Herelle'я [1]) и исходило из давно известного наблюдения, состоящего в том, что из испражнений больного дизентерией чрезвычайно трудно выделить дизентерийную бациллу. Дело в том, что бациллы дизентерии, на что, между прочим, указывают и другие авторы, очень быстро погибают в выпущенных испражнениях. Если свежие испражнения поместить на благоприятную питательную среду, то на ней могут вырасти многочисленные колонии дизентерийной бациллы: но достаточно дать испражнениям постоять в течение 1 часа—и ни единой бациллы дизентерии не будет заметно. Факт этот, препятствующий работе бактериолога, объяснялся таким образом, что бацилла дизентерии заглушалась bacterium coli, которая водится в кишечнике в большом количестве. Но это объяснение не особенно удовлетворяло, так как дизентерийные испражнения, которые на высоте болезни состоят только из слизи и крови, исключительно бедны бактериальной культурой.

Тогда D'Herelle поставил следующий опыт: он поместил немного дизентерийных испражнений в колбочку с бульоном, продержал ее в течение около 24 час. при t° 37° С и профильтровал все это через глиняную свечу (через фильтр Чемберлена), которая задерживает бактерии и все крупные частицы и пропускает только растворенные вещества и малейшие существа, невидимые даже в микроскопе, так называемые фильтрующиеся вирусы [2]).

D'Herelle сделал наблюдение, что этот фильтрат, полученный из бульона с примесью дизентерейных испражнений, имеет свойства убивать и растворять бациллы дезинтерии. Это можно показать различными способами.

1 метод. В пробирке питательный бульон смешивается с вышеупомянутым фильтратом и засеивается бациллами дизентерии. Пробирка, помещенная в термостат, остается прозрачной, так как бациллы дизентерии погибают и не в состоянии дальше размножаться.

2 метод. Пробирка с бульоном засеивается бациллами дизентерии и ставится на 24 часа в термостат. Вскоре она мутнеет от проросших бацилл дизентерии. Но если прилить к ней немного фильтрата, бульон просветляется, так как дизентерийные бациллы растворяются. Перевивка содержимого пробирки на соответствующую питательную среду показала, что бациллы дизентерии вполне мертвы.

3 метод. Чашка с агаром покрывается тонким слоем дизентерийных бацилл. В одном месте агара наносится капля фильтрата и дается

[1]) Подобные опыты, но самим автором не продолженные, а потому и не замеченные, были уж описаны несколько лет тому назад Twort'ом.

[2]) К какому роду микроорганизмов принадлежит этот фильтрующийся вирус, мы еще пока совершенно не знаем. По всей вероятности, он принадлежит к различным классам. Я хотел бы только напомнить, что целый ряд заболеваний животных, например ящур (рыльно-копытная болезнь) и, вероятно, некоторые инфекционные заболевания человека вызываются подобными фильтрующимися невидимыми паразитами.

ей возможность подсохнуть. Если же потом эту чашку перенести в термостат, она покроется густым флером из бацилл дизентерии. И только в том месте, где находится ссохшаяся капля, нет роста культуры, агар остается светлым.

4 метод. Бульонная культура бацилл дизентерии смешивается с меньшим количеством фильтрата и потом засеивается на агаре. И тогда, посреди сплошного поля бацилл дизентерии, образовавшихся спустя 24 часа, можно найти округлые места, где агар остается прозрачным.

Эти факты, за исключением, быть может, последнего, еще ничего особенного не означают. Они указывают только на то, что дизентерийные испражнения содержат какую-то фильтрующуюся субстанцию, которая умерщвляет бациллы дизентерии, и которая, более чем вероятно, может быть принята за причину быстрой гибели бацилл дизентерии в испражнениях.

Теперь мы подходим к самому важному и поразительному пункту открытия D'Herelle'я. Если отфильтровать убитую бульонную культуру от бацилл дизентерии, то она обладает способностью вновь растворить новую культуру бацилл дизентерии. Это можно было бы, быть может, объяснить, предположив, что бактерицидная сыворотка действует и при таком разведении. Но D'Herelle показал, что этот опыт можно повторить сколько угодно раз. Даже после тысячной прививки растворенная культура бацилл дизентерии обладает неослабной способностью убивать дизентерийные бациллы, так что, наконец, $\frac{1}{1.000.000.000}$ ccm фильтрата культуры достаточна для гибели культуры бацилл дизентерии. И эта способность даже постепенно увеличивается [1]).

Факты эти поддаются объяснению, если сделать предложение, что бактерицидная субстанция эта размножается, ибо в противном случае, при достаточном разжижении, она должна была бы делаться неактивной. В самом деле, D'Herelle мог показать, что бактерицидная сила очень быстро исчезает, если фильтрат вносится не в культуру бацилл, а в незасеянную пробирку с бульоном. Точно так же быстро пропадают бактерицидные свойства при этих перевивках, если этот фильтрат постоянно смешивается с мертвыми бациллами дизентерии. Из этого мы выводим дальнейший важный факт, что бактерицидная субстанция в состоянии размножаться только в соприкосновении с живыми бациллами дизентерии.

Для объяснения этих фактов D'Herelle предложил гипотезу, которая является полнейшим новшеством в бактериологии. D'Herelle предполагает, что в дизентерийных испражнениях содержится невидимый, фильтрующийся вирус, который обладает способностью растворять бациллы дизентерии. Этот вирус, по всей вероятности, является паразитом дизентерийных бацилл, так как он в состоянии размножаться только в их присутствии. D'Herelle поэтому обозначает его именем бактериофагного вируса.

---

[1]) Вот что пишет сам D'Herelle: „Как бы ни было велико число таких пассажей, никакого ослабления растворяющей способности не замечается: напротив, после дюжины таких пассажей растворение заканчивается в течение 3-4 часов (против 12 час., потребных при первых прививках) и количество растворившейся культуры, достаточное для того, чтобы вызвать растворение свежей культуры, не превышает одной миллиардной доли кубического сантиметра (Б. З.).

Важно теперь установить, существует ли подобный вирус только у бацилл дизентерии, или же он имеется и у других бактерий, потому что, в последнем случае, это открытие приняло бы гораздо более общее и широкое значение. На деле, кажется, так оно и есть. D'Herelle нашел, что при целом ряде других заболеваний, при тифе, паратифе, чуме, холере птиц, чуме рогатого скота, появляется в испражнениях больных бактериофагный вирус для возбудителей сооответствующих заболеваний. Ему, повидимому, удалось приучить вирус, полученный из дизентерейных испражнений, к другой бацилле, например, к тифозной бацилле[1]).

D'Herelle полагает поэтому, что в испражнениях здорового человека содержится бактериофагный вирус, который живет на счет обычного обитателя кишечника человека, bacterium coli.

Как только патогенный паразит проникает в тело, бактериофагный вирус приспособляется к нему, и добивается гибели проникшего в тело паразита. Судьба человека зависит от быстроты, с которой протекает этот процесс приспособления. Если он хорошо функционирует,—возбудители болезней тотчас же устраняются; если же, по каким бы то ни было причинам, этот процесс заторможен, дело доходит до распространяющейся по всему телу инфекции. Нет никакого сомнения в том, что это воззрение, если оно подтвердится, имеет чрезвычайно глубокое значение для эпидемиологии.

Это понял также и D'Herelle и сейчас же предпринял в этом направлении обширные экспериментальные исследования. Некоторые эпидемии животных явились в данном случае очень благоприятным объектом для исследований, так как предоставленные самим себе, эти животные обыкновенно кончают смертью. К этим болезням животных принадлежат: куриная холера и септицемия рогатого скота. D'Herelle исследовал в помещениях для скота кал на присутствие бактериофагного вируса и установил, что он часто оказывается здесь в наличности, в то время как в местах, свободных от эпидемии, вирус не встречался.

Никогда он его не находил у тех животных, которые погибли от заболевания. Приготовив затем вирус по вышеописанному способу, он впрыснул его животным в зараженных помещениях. Эпидемия, как он уверяет, тотчас же прекратилась в этих местах, в то время как она собирала богатую жатву, как и прежде, среди других. D'Herelle был в состоянии спасти лабораторных животных от искусственной инфекции и 0,25 ccm вируса было достаточно для того, чтобы тотчас иммунизировать взрослого быка против во много раз более чем смертельной дозы бацилл септицемии [2]). Эти факты столь важны, что скорейшие проверочные опыты настоятельно необходимы.

---

[1]) D'Herelle высказывается по этому поводу еще определеннее: „Дело идет не об отдельных видах бактериофага, но об одном ультрамикробе, который путем приспособления может стать вирулентным по отношению к большому числу видов бактерий" (Б. З.)

[2]) „Мною были произведены,—пишет D'Herelle,—опыты иммунизации против куриной холеры, кишечного заболевания, сопровождаемого заражением крови и против геморрагической септицемии рогатого скота—чисто септического заболевания.

В первом случае смертность прекратилась сейчас же, как только курам было введено по 1 кб. см. или впрыснуто под кожу по $^{1}/_{2}$ кб. см. культуры бактериофага, деятельного по отношению к b. gallinarum, вызывающему это заболевание. Если болезнь не достигла еще высшего напряжения, то введение культуры бактериофага приводит к выздоровлению в 90% случаев (как известно, естественное выздоровление при куриной холере не превышает 3—4%).

Во втором случае результаты иммунизации тоже получились хорошие: инъекция в $^{1}/_{4}$ к. см. культуры бактериофага защищала быка против тысячекратной смертельной

Но D'Herelle сообщил, что ему удалось также излечить уже проявившуюся болезнь бактериофагным вирусом; а у дизентерийных больных болезнь, будто бы, очень быстро исчезла после приема небольшой дозы бактериофагного вируса [1]). Подобный эксперимент действительно поражает, потому что вещество, способное в таком необычайном разведении растворять бациллы дизентерии и при этом даже размножающиеся, должно стать идеальным лечебным средством. Я, к сожалению, не могу подтвердить данные D'Herell'я из собственного опыта. Я обязан господину тайному советнику Otto за предоставление приготовленных им вместе с доктором Munter'ом в серологическом отделе института инфекционных заболеваний разнообразных бактериофагных вирусов, которые были в высшей степени действительны против дизентерии и тифозных бацилл. Но в бесспорном терапевтическом эффекте я не мог убедиться. Правда, я давал вирус per os или per rectum, но можно думать, что подкожное впрыскивание было бы действительней; это последнее не может быть пока проведено на практике, благодаря большой ядовитости фильтрата культуры, содержащей вирус.

Впрочем, сам D'Herelle сообщил о таких опытах, которые могут сделать понятным иногда недействительность вируса для больного организма, а именно: если культуру дизентерийных бацилл разбавить недостаточным количеством вируса, то хотя она вскоре и проясняется, но через несколько дней культура, благодаря тем бациллам, которые избегли гибели и теперь проросли, опять мутнеет. И интересно, что эти выжившие бациллы делаются резистентными по отношению к вирусу и сохраняют эту особенность при повторном засеивании. Следовательно, возможно, что во время болезни появляются такого рода клетки возбудителя болезни, которые избегли гибели вирусом и сделались резистентными к вирусу. Сообщения D'Herelle'я возбудили многочисленные повторные опыты с очень компетентной стороны, которые вполне подтвердили основные факты, так что ни в коем случае нет нужды сомневаться в их истинности. Но истолкование, которое D'Herelle дает добытым фактам, напротив, осталось не без возражений.

Kabeshima установил, что вирус устойчив по отношению к нагреванию и к дезинфекционным средствам, и этим отличается от всех до сих пор известных родов вируса. Поэтому не может быть и речи здесь о каком-нибудь живом микроорганизме, как полагает D'Herelle, но о телах характера ферментов. К подобному же воззрению, на основании очень важных опытов, пришли Bordet и Ciuca.

Bordet и Ciuca впрыснули в брюшную полость морской свинки с промежутком в несколько дней bacterium coli. Спустя некоторое время после последней инъекции они извлекли эксудат брюшной полости, который изобиловал белыми кровяными тельцами, и профильтровали его через свечу Чемберлэна. Этот фильтрат оказался способным

дозы возбудителя болезни. Введение $^{1}/_{25}$ кб. см. приводит быка в состояние, в котором он четыре дня спустя свободно переносит пятикратную смертельную дозу.

После инъекции бактериофага кровь содержит антитело, так как инъекция пятисот кубических сантиметров такой крови другому быку пассивно переносит иммунитет (*Б. З.*).

[1]) „Я пробовал,—пишет D'Herelle—применять культуру бактериофага в семи случаях тяжелой формы дизентерии у человека. Во всех семи случаях через 24-36 часов после введения одного куб. сантиметра такой культуры испражнения были свободны от крови и бацилл: больные поправлялись сами собою. Инъекция культуры бактериофага не вызывает никакой реакции со стороны организма, ни местной, ни общей, как у человека, так и у животных (*Б. З.*).

растворять bacterium coli, и эту способность сохранил, будучи перенесен от культуры к культуре, как раз как это D'Herelle установил для дизентерийной бациллы. Напротив, испражнения морской свинки, зараженной bacterium coli, не содержали никакого бактерицидного вещества. Этот опыт показывает, что не только в кишечнике, но, по всей вероятности, и в стерильном содержимом брюшной полости может находиться бактерицидное вещество. Поэтому Bordet возражает против допущения D'Herelle'я, что причиной открытого им явления служит живой вирус. Взгляды Bordet вкратце состоят в следующем.

Если морской свинке впрыскивается бакт. coli, то белые кровяные тельца образуют, вероятно, такой фермент, который в состоянии растворить эти бактерии. В этом ничего особенного нет; ведь мы уже давно знали, что на впрыскивание бактерий в организм, последний реагирует тем, что образует бактерицидные вещества, действующие специфическим образом на эти бактерии, но в согласии с наблюденными фактами, этот фермент должен обладать такими свойствами, которые до сих пор были присущи только живым существам, а именно: способностью к размножению. Это вытекает из следующих соображений: предположим, что одна миллиардная ccm. фильтрата культуры является достаточной для того, чтобы растворить 2 ccm. бактериальн. культуры. Теперь, профильтровав эту вторую убитую культуру, мы можем показать, что одна миллиардная ccm. опять в состоянии убить новую порцию культуры и т. д. Уже при первом переносе фермент должен увеличиться в 2.000.000.000 раз. В самом деле, мы видели, что сам по себе фильтрат не обладает способностью к размножению, за исключением того случая, когда он приходит в соприкосновение с живыми бактериями. С точки зрения Bordet, мы можем себе это представить таким образом, что фермент некоторым образом инфицирует бактерии, заставляя их в то же время создавать новый фермент. В самом деле, тот факт, что после удаления фермента бактерии сохраняют однако способность к продукции его, следует из изучения переживших, сделавшихся устойчивыми по отношению к ферменту бактерийных культур. Стоит только прибавить к свежей культуре несколько клеток такой резистентной культуры,—Bordet полагает, не более 15 штук, и первая культура подвергается растворению.

Мы видим таким образом, что от соприкосновения с ферментом бактерии приобретают способность вырабатывать этот самый фермент и передавать эту способность по наследству своим потомкам. Даже и после толкования Bordet видно, без дальнейших рассуждений, что в феномене D'Herelle'я заключаются новые биологические принципы величайшего значения. Мне кажется даже, что соображения Bordet по поводу феномена придают ему более глубокое и всеобъемлющее значение, чем теория D'Herelle'я, непривычная для нашего мышления.

Далее Bordet сделал следующее интересное открытие: можно образовать антисыворотку у кролика, впрыскивая ему фермент, заключающийся в фильтрате культуры или в сделавшихся резистентными клетках, в то время как с обыкновенными бакт. coli это не удается. Этот фермент, следовательно, является чуждым бакт. coli, является некоторым образом, **антигеном**, как выражаются на языке учения об иммунитете. Какое из двух толкований является более правильным, нельзя пока еще с уверенностью сказать: во всяком случае из опытов Bordet и Ciuca вытекает, что бактериофагный вирус не является субстанцией, содержащейся только в кишечнике. Скорее нужно признать, по крайней мере на основании опытов Bordet, что бактериофагная субстан-

ция образуется только при инфекции. Bail полагает, что он недавно мог даже наблюдать, что они спонтанно возникают в старых бактериальных культурах.

С другой стороны D'Herelle сообщил о замечательных своих опытах, которые склоняют нас к мысли, что бактериофагная субстанция не может быть растворимым веществом, а должна состоять из микроскопических элементов, хотя, быть может, и крайне маленьких.

D'Herelle смешал густой слой дизентерийной бациллы с очень небольшим количеством бактериофагного вируса и вылил эту смесь на чашку с агаром. На образовавшемся густом бактериальном покрове можно было заметить некоторые круглые пробелы с небольшим диаметром в несколько миллиметров, как бы свободные от бактерийных колоний. D'Herelle нашел, что количество отверстий на агаровой чашке точно пропорционально количеству прибавленного бактериофагного вещества и заключает из этого, что места на агаре, свободные от бактерий, являются колониями бактериофагного вируса, размножившегося за счет окружающих его бацилл дизентерии. Нельзя отрицать, что этот опыт, при условии, если он подтвердится, очень затрудняет принятие толкования Bordet [1]).

Новую, некоторым образом синтезирующую, теорию предложил недавно Bail. Он предполагает, что бактерии разрушаются на мельчайшие, ультрамикроскопические бактериальные осколки, которые, с своей стороны, обладают способностью раздроблять другие бактерии. Речь таким образом идет о ферменте, форменном и способном к размножению.

Коротко, значение феномена D'Herelle'я еще не совсем ясно, а изложенные попытки объяснить его показывают, что мы здесь стоим перед лицом совершенно нового явления, для которого наши общепринятые биологические представления далеко не достаточны.

Во всяком случае, все эти опыты доказывают, что между организмом и бактериями при инфекции происходит такое взаимодействие, которое до сих пор не подозревалось и которое очевидно имеет чрезвычайное значение для исхода болезни. До сих пор были известны защитные приспособления, которые имелись еще до инфекции, и специфические защитные средства, которые появлялись в крови спустя 8-10 дней после инкубационного периода, т.-е. большей частью после начала болезни. Но, вероятно, решающим моментом являются события, разыгрывающиеся в начале болезни и в ее апогее.

---

[1]) Вот как осуществляется этот эффектный опыт, имеющий капитальное значение для всей теории, в изложении самого D'Herelle'я: „Если перенести каплю бульонной культуры дизентерийного бацилла на агар-агар, то по прошествии известного времени получается обычный налет на поверхности агара. Если же прибавить к бульонной культуре одну миллиардную долю кубического сантиметра предварительно растворившейся культуры и уже отсюда каждые полчаса переносить по капле в пробирки с агаром, то в первых пробирках получается нормальная культура дизентерийной палочки.

Однако, в пробирках, засеянных по прошествии двух с половиной часов, замечаются на поверхности агара один-два незаросших места 1-2 миллиметров в диаметре. Бактериальный налет в пробирках, засеянных по прошествии $3^1/_2$ часов, содержит уже до сотни таких пятен. Через $4^1/_2$ часа засеянные пробирки остаются стерильными, зародыши бактериофага, содержавшегося в миллиардной доле кубического сантиметра, прибавленной вначале к культуре, начали размножаться за счет такого же числа бацилл; по прошествии $2^1/_2$ часов их было два в капле, перенесенной на агар; через $3^1/_2$ часа капля содержала их уже около сотни, а через $4^1/_2$ часа их было так много, что ни один бацилл не мог уже развиться; агар кажется стерильным. На деле же, как показывает опыт, он не стерилен, но содержит культуру ультрамикробов (Б. З.).

Представляет большой интерес, что в новейшее время и с немецкой стороны было сообщено о наблюдениях, которые указывают на очень быстро совершающийся процесс изменения биологических свойств бактерий в организме.

Morgenroth показал, что инфицированная слабо вирулентной культурой стрептококков мышь уже через несколько часов после инфекции делается иммунной по отношению к во много раз более чем смертельной дозе вполне вирулентной разводки стрептококков. Но вирулентные стрептококки не погибают, а превращаются в авирулентные, которые отличаются от вирулентных клеток своим ростом на искусственной среде, и уже более не в состоянии вызывать в мыши ни латентной, ни хронической инфекции. Было бы, очевидно, интересно исследовать, контагиозна ли эта потеря вирулентности, для того, чтобы сопоставить их с феноменом, открытым D'Herelle'ем и Bordet.

Эти немногие слова могут быть достаточны для того, чтобы показать, что, благодаря сообщенным открытиям в кажущейся теоретически обоснованной области учения об иммунитете возникают совершенно новые проблемы; но, сверх того, возникают также вообще биологические вопросы до сих пор невиданного значения.

Уже после того, как настоящая статья была отправлена в печать, мне удалось получить из немецких реферативных журналов (гл. обр., из „Chemisches Zentralblatt" за 1921 г.) дополнительные сведения об этом крайне интересном феномене. Существенно новое вносит в вопрос работа Solimbeni, который, по его утверждению, установил, что „явления, описанные D'Herell'ем, приходится приписать не невидимым микробам, как думает D'Herelle, и не действию особого фермента (Kabeshimo, Bordet), а особому полиморфному организму, у которого споры столь малы, что проникают сквозь фильтр Чемберлэна, но вегетативные формы могут быть видимы при известных условиях даже невооруженным глазом. Solimbeni дает этому организму наименование Myxomyces shigaphagus (работа в „C. R. de Soc. de Biol." 83, 1920 г., цитирую по реферату Spiegel'я в „Chemisches Zentralblatt"). Интересны работы André Gratia из И-тута Рокфеллера, который доказывает, что D'Herelle'евские „колонии бактериофагов" могут быть объяснены существованием различных рас исходной бактерии (в его опытах Bact. coli), из коих одна раса более растворима, а другая более стойка по отношению к бактериофагному вирусу (работы эти также помещены в „C. R. de Soc. de Biol." 84 1920, сводка в „Journ. exp. Med." 31 1920). Из других авторов назовем: Maisin (доказал, что бактериофагный вирус не поддается диализу, но может быть количественно осажден путем насыщения сернокислым аммонием); Debré и Haguenau, Dumas (доказывает, что этот вирус находится не только в кале, но и в воде и в почве); Boblet (стоит на точке зрения D'Herelle'я); Bruynoghe, Wollman и других. Все их работы и вытекающая из них полемика сосредоточены по преимуществу в „Comptes Rendues de la Société de Biologie", пока, к сожалению, недоступной для нас.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Первое сообщение D'Herelle'я Comptes rendues de la Société des Sciense 10/IX, 1917 г.

2. Bordet et Ciuca. Compt. rend. de la Société de Biologie. 1920 г., том 83 стр. 1293 и 1297.

3. Bail. „Wiener klin. Wochenschr". 1921 г., № 20 и 37.

Остальную очень обширную литературу можно найти, начиная с 1917 года, „Compt. rend. des scienses" и в „Compt. rend. de biologie".

Внутри-атомная энергия [1].

А. К. Тимирязев.

Если мы сравним состояние естественных наук в начале XX столетия с тем, что было сто лет тому назад, нас поразит, на первый взгляд почти необъяснимое, противоречие между блестящими—почти сказочными—успехами самой науки и тем разочарованием, тем недоверием к ней, которое стало развиваться особенно сильно с конца XIX века в широких кругах образованных людей на всем земном шаре.

Более чем сто лет тому назад французский математик Лаплас—один из величайших умов своего века—достигший небывалых успехов в применении математики к изучению движения планет, с юношеским задором и увлечением говорил: „Ум, который в данный момент знал бы все силы, действующие в природе, который знал бы взаимные расположения частей, из которых построен мир, и который мог бы обработать эти данные математическим анализом, был бы в состоянии одной и той же формулой охватить движения величайших мировых тел и самого легкого атома: его взору предстало бы сразу и прошлое и будущее!" В этих словах видна уверенность человека, преодолевшего громадные трудности, видна уверенность в том, что, когда будет во всех деталях изучен механизм любого сложного явления, нам удастся путем математического расчета узнать, что будет и что было, подобно тому, как астроном с громадной точностью может предсказать на сколько угодно веков вперед, когда будет затмение солнца или луны, или рассчитать с не меньшей точностью, когда и где были затмения в очень отдаленном от нас прошлом.

Эта бодрая уверенность в своих силах великого ученого подхватывалась тогда, можно сказать, на-лету всеми мыслящими людьми того времени. Старый буржуазно-капиталистический мир, который на наших глазах трещит и расползается, переживал тогда пору цветущей юности: он спокойно мог заглядывать в будущее: оно было ему не страшно, а потому и убежденный голос ученого, уверенного в грядущих победах науки, был близок и понятен.

Как мало походит эта картина на то, что происходит теперь и происходило в сравнительно недавнем прошлом на наших глазах. Наука достигла таких успехов, которые превзошли самые смелые ожидания; реальной основы для уверенности в будущих успехах сейчас гораздо больше, чем во времена Лапласа,—и в то же время, как часто мы

---

[1]) Публичная лекция, прочитанная в Научно-Техническом Клубе 15 февраля 1922 г. и повторенная в клубе Коммунистического Университета имени Я. М. Свердлова 7 апреля 1922 г.

видим попытки изобразить новые успехи науки, как ее крушение, как ее банкротство, как признак ее растущей слабости, и эти явления наблюдаются уже не один десяток лет. Надвигающаяся социальная революция заставила тех, кто ее предвидел и кто никак не может с ней примириться, повернуть назад: им не по пути с наукой, которая не может остановиться, которая вынуждена итти вперед, так как иначе она перестанет быть наукой. Тому, кто зашел в тупик, из которого нет выхода, хочется думать, что все и везде зашло в тупик. Этим и только этим можно объяснить себе радостные крики о мнимом банкротстве науки, которые в начале XX столетия стали раздаваться все громче и громче, несмотря на то, что наука идет от победы к победе.

Вот мысли, которые невольно приходят на ум, когда вспоминаешь, с каким злорадством, с каким глумлением над наукой было встречено открытие радиоактивных явлений, детальное изучение которых привело к открытию внутри-атомной энергии, т.-е. как раз к тому, что составляет тему нашей сегодняшней беседы.

Замечательное открытие радиоактивных процессов старались изобразить, как крушение двух основных законов, на которых покоится современное естествознание: закона сохранения вещества и закона сохранения энергии. Ученые утверждали, говорилось тогда—лет двадцать тому назад,—что вещество-материя не уничтожается и не созидается,—а вот из радия и других похожих на него тел беспрерывно вылетают материальные частицы, а вес радия от того не убывает! Ученые утверждали также, что и энергия не уничтожается и не созидается,—и вот тот же радий выделяет непрерывно энергию в форме тепла, при чем источник этот не иссякает!

В популярно-научных книжках, в газетах и так-называемых толстых журналах с нескрываемым злорадством заговорили, что всю науку надо создавать сызнова, а может быть и вообще ее нельзя будет создать, что мы вообще ничего не можем знать и т. д.

Надо отдать справедливость специалистам ученым—они, нисколько не смущаясь этими досужими философствованиями, продолжали заниматься делом, и за 20—25 лет упорного тяжелого труда им удалось создать новую главу физики—учение о строении атома.

Впервые о радиоактивных явлениях ученый мир узнал из доклада Анри Беккереля (теперь уже умершего),—доклада, который им был прочитан на заседании парижской академии 24 февраля 1896 года.

История этого исследования такова. Всего за несколько месяцев перед тем Рёнтген открыл новые лучи, носящие и по сей день его имя. Эти лучи получались из стеклянных трубок, наполненных разреженным газом при пропускании через них электрического тока. При действии такой трубки, т.-е. при прохождении электрического тока через нее, стекло самой трубки светится зеленовато-желтым светом. С этим характерным свечением тесно связывали появление невидимых глазу лучей Рёнтгена, действующих на фотографическую пластинку. С другой стороны, это видимое свечение стекла напоминало т.-н. фосфоресценцию некоторых солей урана, т.-е. способность этих солей испускать свет и притом также зеленовато-желтой окраски под влиянием лучей света того или другого источника.

Беккерель решил попробовать, не будут ли фосфоресцирующие соли урана испускать лучи, похожие на лучи Рёнтгена. Он завернул в черную, непроницаемую для видимого света, бумагу фотографическую пластинку (лучи Рёнтгена действуют на фотографическую пластинку

так же, как и видимые лучи) и положил на нее препарат урановой соли, которая была освещена лучами солнца.

Через несколько часов на пластинке появилось, после проявления, темное пятно как раз в том месте, где лежал препарат урановой соли. Дальнейшие опыты показали, что свечение урановой соли тут не при чем. Существует ряд солей того же урана, которые не фосфоресцируют, и тем не менее они давали на фотографической пластинке ясный отпечаток и притом независимо от того, освещались ли эти соли светом или нет. Наконец, был получен отпечаток на пластинке, вызванный препаратом, пролежавшим несколько лет в темноте, да и самый опыт был произведен в темной комнате. Далее было установлено, что кроме урана существует целый ряд веществ, обладающих тем же свойством, при чем некоторые среди них—как, например, радий—обладают этим свойством вызывать почернение фотографической пластинки в гораздо более сильной степени, чем уран. Таким образом были открыты так-называемые радиоактивные вещества.

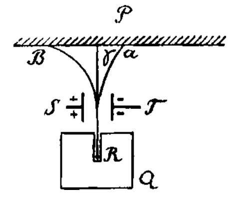


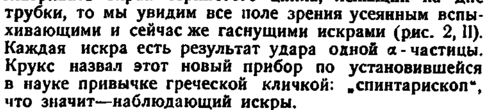
Рис. 1.

Очень скоро однако выяснилось, что действие радиоактивных тел на фотографическую пластинку гораздо сложнее, чем это по началу думал Беккерель. Если поместить небольшое количество соли радия *R* (см. рис. 1) в углублении, сделанном в куске свинца *Q*, задерживающего излучения радия, то на завернутой в черную бумагу фотографической пластинке *P*, помещенной над углублением, получается маленький след в γ как раз против углубления.

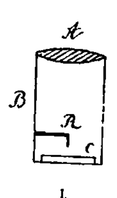
Если однако пучок лучей радия пропустить между двумя металлическими пластинами—*S* и *T*, соединенными с полюсами электрической машины, то на фотографической пластинке вместо одного пятна—γ получается три: α, β и γ. Одно—γ—остается на прежнем месте, другое—β—смещено в сторону положительно заряженной пластинки *S* и, наконец, третье смещено в противоположную сторону α, но смещено значительно меньше, чем пятно β. Это явление объяснили так: радий испускает три рода лучей—их назвали тремя первыми буквами греческого алфавита α, β и γ, при чем по существу одни только γ-лучи заслуживают названия лучей: это лучи Рёнтгена. Таким образом, как мы видим, поиски Анри Беккереля были не напрасны. Что касается α и β-лучей, то это не лучи, а потоки заряженных электричеством частиц, при чем α-частицы заряжены положительным электричеством, оттого они и притягиваются отрицательно заряженной пластинкой Т (см. рис. 1). Частицы β заряжены противоположным электричеством, поэтому они отклоняются в противоположную сторону, а кроме того, так как они примерно в восемь тысяч раз легче α-частиц, они отклоняются значительно сильнее. Эти β-частицы представляют собой так называемые электроны, которые входят в состав любого атома любого вещества. Они сами по себе представляют громадный интерес, но в интересующем нас сейчас вопросе они играют значительно меньшую роль, чем частицы α.

В 1903 году знаменитый химик сэр Вилиам Крукс сделал открытие, позволившее наглядно доказать частичную природу α-лучей, т.-е. показать, что это поток отдельных частиц. Крукс построил следующий

прибор (см. рис. 2, I). В трубке B на небольшой игле R смазанной клеем, прикрепляется еле видимая глазу крупинка радиевой соли. Недалеко от кончика иглы на дне трубки помещается пластинка C, покрытая слоем сернистого цинка; в противоположный конец трубки вставлено увеличительное стекло A. Если теперь в хорошо затемненной комнате мы будем рассматривать экран сернистого цинка, лежащий на дне



трубки, то мы увидим все поле зрения усеянным вспыхивающими и сейчас же гаснущими искрами (рис. 2, II). Каждая искра есть результат удара одной α-частицы. Крукс назвал этот новый прибор по установившейся в науке привычке греческой кличкой: „спинтарископ“, что значит—наблюдающий искры.



I.



II

Рис. 2

Мы можем с уверенностью говорить—и сейчас мы увидим, какие у нас к тому основания,—что каждая вспышка есть результат удара отдельного атома, так как оказалось, что α-частица есть заряженный положительным электричеством атом гелия, одного из так наз. благородных газов. По этому поводу на первых же порах после открытия Крукса посыпались возражения: как может невидимый глазу атом вызывать вспышку легко видимую — и даже не в микроскоп, а в обыкновенную лупу?

Это сомнение Крукс разъяснил очень простым и красивым сравнением. Если вы бросите, говорил он, в пруд маленький камень, то в том случае, когда камень попадет в воду далеко от вас, вы его перестанете различать глазом и в то же время вы ясно увидите те круги, которые расходятся по воде. Благодаря огромным скоростям, с которыми двигаются α-частицы, они вызывают сильное возмущение на большом протяжении вокруг места удара, и поэтому светлое пятно, сопровождающее это возмущение, может иметь значительные размеры.

Остановим теперь на время наше внимание на том, каким образом было доказано, что α-частицы представляют собой атомы гелия. В том же 1903 году, когда Крукс построил свой спинтарископ, спустя несколько месяцев, Рамзай и Содди показали, что радий выделяет из себя кроме тяжелого газа, называемого эманацией радия, еще и легкий газ гелий, атомы которого только в 4 раза тяжелее самого легкого из атомов—атома водорода. Эманация обладает также радиоактивными свойствами, как и радий и уран: из нее выстреливаются α-частицы, которые можно наблюдать при помощи спинтарископа. Эта эманация выделяет в свою очередь гелий. Если наполнить чистую запаянную стеклянную трубочку эманацией, то через некоторое время там оказывается гелий.

Все это дало повод Содди сделать предположение, что атом радия разрывается на две части: α-частицу и атом тяжелого газа, названного эманацией радия; в свою очередь атомы эманации, взрываясь, дают по одной α-частице и по одному атому вещества, названного радием A [1]).

Что касается α-частиц, то невольно напрашивается мысль, не тождественны ли эти частицы с атомами гелия? Ведь все радиоактивные вещества, выделяющие α-частицы, присутствие которых можно

[1]) Впоследствии был установлен длинный ряд последовательных превращений радия. В настоящее время установлено, что конечный продукт в этом ряде—обыкновенный свинец.

установить с помощью спинтарископа, выделяют и гелий. Тем наука и сильна, что каждое предположение, каждая смелая догадка сейчас же подвергается самой строгой и всесторонней проверке. Рассмотрим четыре независимых друг от друга доказательства того, что α-частица и атом гелия—одно и то же.

Начнем с опытов, проделанных Рутерфордом и Ройдсом. В тонкую стеклянную трубку *A* (см. рис. 3) со стенками толщиною в $^1/_{100}$ миллиметра вводят небольшое количество эманации радия. Стенки трубки настолько тонки, что сквозь них могут проходить α-частицы; по крайней мере, прикладывая снаружи к наполненной эманацией трубки А пластинку, покрытую сернистым цинком, можно без труда заметить на ней вспышки, как и в круксовом спинтарископе.

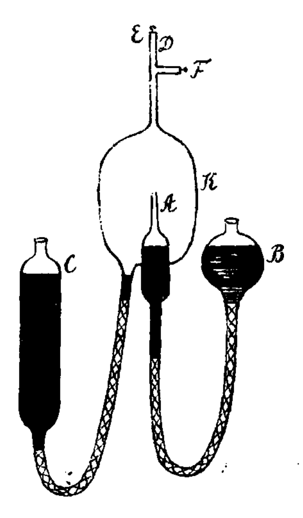


Рис. 3.

Трубка *A* впаяна в сосуд *K*, из которого выкачан воздух. Через несколько дней сосуд *K* заполняется ртутью; для этого поднимают сосуд со ртутью *C* и содержимое сосуда К вгоняется в маленькую трубочку *EDF*. При пропускании электрического разряда через *EDF* можно было обнаружить спектр газа гелия. Таким образом в сосуде *K*, куда сквозь тонкую стеклянную стенку проникали α-частицы, оказывался гелий, которого раньше там не было. Но можно возразить: может быть, гелий проходит через стекло независимо от α-частиц или, может быть, α-частицы пробивают стекло, а вслед за ними уже проходит гелий? Чтобы устранить эти возражения, Рутерфорд и Ройдс удаляли из трубки *A* эманацию и накачивали в нее под повышенным давлением гелий. Результат получился отрицательный: никаких следов гелия нельзя было обнаружить в сосуде *K* или в трубке *EDF*.

Переходим ко второму доказательству. Уже значительно раньше, чем были открыты радиоактивные вещества, были известны способы, правда, довольно сложные, которые позволяли измерять число атомов, заключающихся в кубическом сантиметре любого газа. Эти разнообразные приемы, представляющие собой сочетание непосредственных измерений с математическими расчетами, дают для числа атомов в кубическом сантиметре при нуле градусов и нормальном давлении атмосферы число, которое трудно себе наглядно представить, именно: двадцать семь с лишним триллионов! или 27.200.000.000.000.000.000. Хотя курс нашего советского рубля и приучил нас к операциям с большими числами, но с такого рода числами нам все-таки не приходится иметь дело! Всякий, кто сам не работал в этой области науки, готов подумать, что приведенная нами цифра фантастична—так думали и некоторые из ученых,—хотя в защиту этих расчетов можно привести хотя бы и то

соображение, что очень близкие к указанному числа получаются совершенно независимыми друг от друга путями, и число таких независимых друг от друга путей в настоящее время уже более десяти. Как бы то ни было, Круксов спинтарископ позволяет непосредственным подсчетом проверить все эти выкладки. В самом деле, подсчитаем число искр, получающихся из очень малого, но известного нам по весу, количества радия за какой-либо определенный промежуток времени, скажем, 5—10 минут; тогда нетрудно рассчитать, сколько выделится α-частиц в год любым количеством радия. С другой стороны, соберем из определенного количества радия выделившийся за год гелий и смерим его объем. Путем деления числа частиц на полученный объем мы узнаем, сколько α-частиц — или атомов гелия—приходится на один кубический сантиметр. Оказывается, что это число очень близко к 27.200.000.000.000.000.000! Таким образом мы имеем замечательное подтверждение атомной теории и кроме того еще лишний довод, что α-частица и атом гелия—одно и то же.

Переходим к третьему способу проверки. Радиоактивные вещества получаются нами в ничтожных количествах. Для изучения их, по мысли недавно умершего химика Рамзая, были построены специальные „микровесы“, на которых с большой точностью можно взвешивать ничтожно малые количества вещества. Таким образом удалось установить, что эманация радия имеет атомный вес 222, тогда как сам радий имеет атомный вес 226. Разница равна 4, т.-е. как раз равна атомному весу гелия. На опыте было установлено, что радий превращается в эманацию и гелий. Непосредственное измерение атомных весов подтверждает, как нельзя лучше, сделанное предположение о том, что атом радия разрывается на две части, которые представляют собой атом гелия и атом эманации.

Кроме того, на этих весах можно было наблюдать уменьшение веса радия, сопровождающее выделение гелия и эманации, потеря в весе оказалась равной весу выделенной эманации и гелия. Таким образом никакого противоречия с законом сохранения вещества не оказалось. Эти непосредственные измерения убыли веса, вместе с целым рядом более косвенных данных, показали, что радий распадается очень медленно, что от одного грамма его через 1.850 лет останется еще полграмма. Немудрено, что при таком медленном разложении, на первых порах совсем не заметили потерю в весе и что удалось эту потерю заметить только тогда, когда были построены специальные весы.

Наконец, переходим к четвертому доказательству тождества α-частицы и атома гелия. Мы уже видели, как подсчитываются α-частицы. Если мы это число знаем, то можно измерить их электрический заряд, заставляя падать на металлическую пластинку, соединенную с электрометром, поток α-частиц, в котором число было уже ранее подсчитано методом спинтарископа. Если мы таким образом выяснили величину положительного заряда α-частицы, то, измеряя отклонения потока α-частиц, вызванные электрическим полем (см. рис. 1) и производя аналогичный опыт с отклонением потока при помощи электромагнита, можно измерить массу частицы и ее скорость. Что отклонение α-частицы должно зависеть от массы следует из того, что, имея в распоряжении определенную силу, мы сможем вызвать значительно бо́льшее отклонение у малой массы, чем у большой. Так, например, если мы ударим крокетным молотком под прямым углом к направлению скорости катящегося шара, то мы добьемся несравненно большего успеха в том случае, когда перед нами будет катиться деревян-

ный крокетный шар, чем таких же размеров старинное чугунное пушечное ядро.

Далее, отклонение будет зависеть также от скорости движения. При большой скорости даже значительная сила не успеет подействовать: движущийся снаряд будет находиться в поле действия ее очень незначительный промежуток времени.

Теория показывает, что, сделав оба опыта, т.-е. измерив отклонения электрическим и магнитным полем, мы можем найти как массу, так и скорость α-частиц. Для этого однако необходимо знать величину заряда, так как чем больше заряд, тем больше отклоняющее действие электрического и магнитного поля, но эту третью неизвестную, как уже было указано, нетрудно определить независимым образом, измеряя заряд известного числа частиц. Произведенные Рутерфордом опыты с отклонением α-частиц подтвердили прежние предположения: масса α-частиц оказалась равной массе атома гелия. Таким образом, четырьмя независимыми друг от друга способами доказывается тождество α-частиц и атомов гелия. Мы остановились на изложении этих опытов для того, чтобы показать, как тщательно проверяются в современной науке все предположения и догадки, прежде чем их, так сказать, пускают в дело. Последний способ определения массы α-частицы интересен тем, что мы попутно измеряем скорость, с которой движутся α-частицы. Эта скорость оказалась громадной — около 20.000 верст в секунду.

Чтобы заставить двигаться с такой громадной скоростью хотя бы и один атом, требуется затрата энергии. Частица с этой громадной скоростью вылетает из атома радия—значит, в нем был запас энергии, достаточной для сообщения этой скорости; в нем должна была заключаться вся та энергия, которая проявилась в летящем атоме, вызывающем при ударе о сернистый цинк видимую глазу вспышку, подобно тому, как в том взрывчатом веществе, которое находится в заряженном орудии сосредоточена энергия, которую проявляет вылетевший снаряд.

Мы подходим, таким образом, вплотную к вопросу о внутриатомной энергии, мы можем даже подсчитать ее. В самом деле, мы видели, как подсчитывается число атомов гелия, выделяющихся из данного весового количества радия, мы знаем массу этих частиц и, наконец, знаем скорость, а этих данных вполне достаточно, чтобы определить общее количество энергии, проявляющееся в этих летящих осколках атомов радиоактивных веществ; так же как, зная скорость и массу, мы определим энергию каждого летящего снаряда, а зная число снарядов, узнаем и общую переносимую ими энергию. На следующей таблице приведем данные для радия и его ближайших продуктов распада, при чем энергия α-частиц выражена в калориях. На той же таблице приведены количества энергии, выделяемые β и γ-лучами, но мы видим, что их энергия составляет всего 8% общего количества, а потому мы можем в первом приближении с ней не считаться.

Табл I. Количество энергии, выделяемое радием в час, рассчитанное на 1 грамм радия и выраженное в калориях (малых).

	α	β	γ	Всего.
Радий	25,1	—	—	25,1
Эманация	28,6	—	—	28,6
Радий А	30,5	—	—	30,5
Радий В, Радий С	39,4	4,3	6,5	50,2
Всего	123,6	4,3	6,5	134,4

На-ряду с этим расчетом можно энергию α-частиц (а также и β-частиц и γ-лучей) измерить непосредственно и притом прямо в калориях. Если мы поместим препарат радия в свинцовую оболочку, то эта оболочка задержит летящие частицы—их энергия перейдет в тепло, подобно тому, как энергия ударов молота превращается в тепло, когда мы ударяем молотом по железной полосе. На рис. 4 изображен прибор, в котором производится измерение выделяемого радием тепла. Препарат радия, завернутый в свинец[1]), опускается в трубочку R внутри колбы A. Выделяющееся тепло согревает воздух колбы A и вытесняет жидкость в манометре из колена C_1 в C_2; тогда в трубку W вводят проволоку, по которой пропускают электрический ток, силу его подбирают так, чтобы уровни в манометре C_1 и C_2 выравнялись. В этом случае количество тепла, выделяемое током, которое легко под-

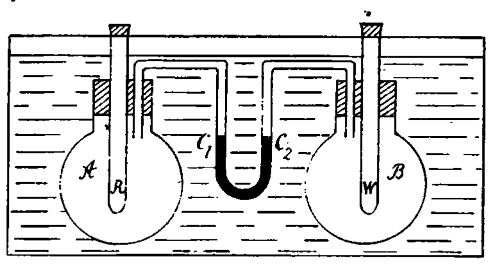


Рис. 4.

считывается по силе тока и сопротивлению проволоки, должно равняться теплу, выделяемому радием. Проделанные несколько раз тщательные измерения показали, что на один грамм радия (при поглощении лучей всех трех типов) в час приходится 134 малых калории. Таким образом, опыт блестящим образом подтвердил приведенные в табл. I расчеты. Для того, чтобы нагляднее представить себе количество энергии, выделяемое одним граммом радия в час, вспомним, что для нагревания одного кубического сантиметра воды, т.-е. количества, свободно помещающегося в наперстке, от нуля градусов, т.-е. от температуры замерзания, до температуры кипения требуется 100 малых калорий, т.-е. на 30% меньше, чем радий дает в час. Итак, мы можем сказать, что в один час грамм радия выделяет тепла приблизительно столько, сколько его требуется, чтобы вскипятить наперсток ледяной воды.

Сколько может выделить всего энергии один грамм радия? Мы уже видели, как медленно разлагается радий: через 1.850 лет остается половина. Таким образом, если мы имеем 1 грамм, который выделяет 134 калории, то через 1.850 лет радия останется $^1/_2$ грамма и в час он будет выделять 67 калорий. Отсюда нетрудно рассчитать, сколько всего выделит радий, прежде чем он не превратится нацело в свинец и

[1]) Подбирая надлежащим образом толщину свинцовой оболочки, можно добиться того, что поглощаться будут одни только α-частицы, тогда нагревание будет зависеть только от них. Если же взять оболочку потолще, то можно поглотить и β-частицы и наконец и γ-лучи, и таким образом измерить выделяемое ими тепло.

гелий. Для одного грамма это выходит 3.700.000.000 малых калорий или 3.700.000 больших. Один грамм бакинской нефти при сгорании дает 11 больших калорий. Отсюда видно, насколько запасы внутриатомной энергии превосходят известные нам запасы, заключенные даже в лучших видах топлива.

Но вся беда в том, что, во-первых, радия очень мало и его нелегко добывать, а, во-вторых, его энергия, как мы видели, выделяется очень медленно: хуже чем в час по столовой ложке! До сих пор физикам не удалось ускорить этого процесса. Радий пробовали нагревать до нескольких тысяч градусов, охлаждать до 200 градусов мороза, подвергали действию громадных давлений... ничего не помогает! А между тем простой расчет показывает, что, если бы израсходовать эти 3.700.000 больших калорий не в несколько тысяч лет, а в две недели, то запаса энергии, находящегося в одном грамме радия, занимающего объем мелкой горошины, хватило бы на непрерывную работу двигателя в 5 лошадиных сил на две недели! Не правда ли, заманчивая картина? И притом в этой картине пока фантастичен только быстрый расход энергии, количество же энергии и самый факт ее существования в атомах радия—прочно установлены. Может быть, конечно, мы в подсчете ошибаемся на десяток процентов в ту или другую сторону, но это ведь совсем не изменяет дела.

Сделанный нами подсчет показывает кроме того, что количество энергии, заключенной в атомах, огромно, но не безгранично и что не было никакого смысла кричать о противоречиях с законом сохранения энергии.

Обратимся теперь к дальнейшим работам Рутерфорда и его учеников. Эти работы привели к искусственному разложению атомов нерадиоактивных тел и к выделению из них внутри-атомной энергии. Начиная с 1908 года в лаборатории Рутерфорда были поставлены исследования, выясняющие, как α-частицы проходят сквозь тонкие слои материи того или другого вида. Прежде всего α-частицы, летевшие параллельным пучком, после прохождения через тонкий слой материи—например, прокатанный листок металла—рассеиваются в разные стороны. Искры на поставленном на их пути экране сернистого цинка оказываются рассеянными на значительном пространстве, вместо прежнего резко ограниченного пятна. Это объясняется тем, что, пролетая вблизи ядра какого-либо из атомов заряженного положительным электричеством, α-частица, заряженная также положительным электричеством, претерпевает сильное отталкивание. Степень рассеяния, наблюдаемая в прошедшем через слой металла пучке, зависит от величины зарядов, находящихся в ядре атома. Поэтому, изучая распределение частиц в прошедшем через определенный слой металла пучке, можно вывести важные заключения о заряде ядра атома. Таким образом было установлено, что чем тяжелее атом, тем больше заряд его ядра, который нейтрализуется отрицательными зарядами электронов, ащающихся вокруг ядра на подобие планет, движущихся вокруг солнца. Отклоняются α-частицы по преимуществу только ядрами атомов, так как ядра обладают для элементов с атомным весом более 4 массой большей, чем α-частицы. Электроны же очень легки, они сами смещаются при прохождении α-частицы, заметно не влияя на ее путь. Но нас сейчас интересует не эта сторона дела; наблюдая искры, можно показать, что прошедший пучок α-частиц будет не только расходящимся, но и не все частицы пройдут насквозь: часть будет отброшена назад, т.-е. мы заметим искры, если поставим экран спереди—с той

стороны, где пучок частиц входит в поставленную на его пути пластинку. Что же это значит? Это значит, что когда атом гелия налетает в упор на самый центр атома, на его ядро—он отбрасывается назад. Число таких случаев очень невелико, и это показывает, что размеры ядра атома очень малы и на основании только что упомянутых опытов мы можем их измерить. Представьте себе проволочную решетку или сетку и представьте, что мы начинаем бросать в эту сетку пригоршнями сухой песок: часть песчинок пролетит в отверстие сетки, часть же, ударившись о проволоки, полетит обратно. Взвесив общее количество песчинок, отброшенных назад, и сравнив с весом пролетевших сквозь сетку, мы можем судить о том, сколько места в сетке занимали проволоки и какая часть приходится на отверстия. Так как методом спинтарископа можно определить, какая доля общего числа α-частиц отражается обратно, то можно подсчитать, как велика площадь непроницаемого в данном листке металла, а так как мы знаем число атомов в любом количестве вещества, то можно подсчитать, какая площадь чего-то непроницаемого для α-частиц приходится на долю каждого атома.

Из данных опыта вытекает, что в среднем радиус ядра атома равняется приблизительно трем миллионным долям от миллионной доли сантиметра!

Представить себе наглядно такую маленькую величину чрезвычайно трудно. Но именно из этого маленького ядра и вылетают положительно заряженные атомы гелия—α-частицы и электроны, заряженные отрицательно—β-частицы. При превращении атома радия в свинец из него вылетает 5 α-частиц и 2 электрона. Принимая во внимание заряд α-частиц и то малое пространство, на котором они сосредоточены, мы приходим к выводу, что между α-частицами должны действовать громадные силы отталкивания, так как сила электрических притяжений и отталкиваний быстро возрастают с уменьшением расстояния между зарядами[1]). Эти силы и сообщают те громадные скорости, какие мы наблюдаем в явлениях радиоактивного распада. Таким образом два факта: измеренная величина зарядов и малое пространство, на котором эти заряды сосредоточены, объясняют, почему в атоме имеется такой большой запас энергии.

Но сейчас является возражение: а что же удерживает эти заряды, пока взрыв атома еще не произошел? Это возражение не трудно обойти; ведь кроме положительных зарядов в ядре находятся и отрицательные: при радиоактивных процессах выстреливаются атомом и электроны, только положительных зарядов всегда больше в ядре—ядро всегда имеет положительный заряд. Не надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе такое расположение положительно и отрицательно заряженных частей, чтобы притяжение разноименных зарядов как раз уравновешивало бы отталкивание одноименных. Такая группа может быть устойчива только при определенных расположениях ее частей, стоит только некоторым частям немного сместиться—и вся система, перестав быть устойчивой, разлетается в разные стороны.

Подобные модели неоднократно предлагались учеными; конечно, сейчас никто не может поручиться, что ядра атомов построены именно так: мы имеем пока что еще очень мало данных о строении ядра, но,

---

[1]) У нас есть данные, что на очень малых расстояниях обычный закон притяжений и отталкиваний неприложим, но вплоть до расстояний, сравнимых с радиусом непроницаемого ядра, упомянутого в тексте, приложим обычный закон Кулона.

как и всякая модель, они имеют ту ценность, что дают нам возможность понимать то, что происходит в действительности. Раз мы знаем, что такая модель возможна, для нас уже в той реальной действительности, которую мы наблюдаем, нет больше ничего таинственного и непонятного, и, кроме того, мы получаем новый стимул, заставляющий нас искать новых опытных доказательств, выясняющих сходства или различия действительного атома и придуманной нами модели.

В опытах, о которых у нас шла речь, атомы гелия, вылетающие из взрывающихся атомов радиоактивных тел, пролетали мимо ядер атомов, имевших значительную массу по сравнению с атомом гелия; а что случится, если пропустить поток атомов гелия или α-частиц через слой, занятый более легкими атомами, например, атомами водорода? Ясно, что если атом гелия налетает в упор на в четыре раза более легкий атом водорода, то этот атом водорода должен начать двигаться со скоростью, значительно превосходящей скорость α-частицы. Расчет, выполненный Дарвином (внуком знаменитого Чарльза Дарвина), показывает, что при наиболее благоприятном столкновении — при лобовом ударе, скорость атома водорода должна превосходить скорость α-частиц в 1,6 раз, т.-е. более чем в полтора раза. Но как проверить этот расчет? Конечно, можно было бы попытаться измерить скорость атомов водорода, получивших эту скорость благодаря бомбардировке водорода α-частицами, отклоняя эти частицы магнитным и электрическим полем—это и было с успехом выполнено Рутерфордом в 1920 году,—но оказывается, что существует гораздо более простой и удобный способ для измерения скоростей частиц, способных вызывать искры в спинтарископе.

Если в спинтарископе (см. рис. 1) мы будем отодвигать иглу R от экрана все дальше и дальше, то при некотором определенном расстоянии иглы от экрана искры вдруг пропадают—это расстояние, которое нетрудно бывает определить с большой точностью, называется средним пробегом α-частицы. Пролетая через воздух, частицы теряют постепенно свою скорость, а когда скорость достигнет значений немного меньших некоторой вполне определенной величины, свечение вдруг исчезает. В зависимости от величины начальной скорости, т.-е. от той скорости, которая получается при взрыве атома, мы будем иметь различной длины средний пробег. Так для самого радия средний пробег выделяемых им α-частиц равен 33 миллиметрам, для эманации этот пробег оказывается равным 41,6 миллиметра; для радия C - 70 миллиметров. Так как различные виды радиоактивных тел выстреливают α-частицы с разными скоростями, т.-е. дают α-частицы с средним пробегом различной длины, то по длине пробега можно определить, что служит источником этих α-частиц. На этом принципе основан способ определения радиоактивных веществ —это один из методов радиоактивного анализа.

Непосредственные измерения скорости α-частиц, о которых у нас уже шла речь, показали, что средний пробег в очень сильной степени зависит от начальной скорости данной группы частиц. Если скорость уменьшить вдвое, то пробег уменьшится в $2 \times 2 \times 2 = 8$ раз.

Поэтому по величине среднего пробега, т.-е. определяя наибольшее расстояние, при котором искра еще видна между источником и экраном, на котором наблюдаются искры, можно хорошо судить об изменениях скорости, вызванных тем или другим фактором.

Мы только что видели, какие у нас имеются данные ожидать появления быстро движущихся атомов водорода при бомбардировке его

α-частицами. В 1914 году Марзден, сделав опыт, нашел, что при бомбардировке водорода получаются частицы с пробегом в 29 сантиметров, по расчету Дарвина так и должно было получиться: α-частицы радия *C*, которым пользовались для бомбардировки, имеют пробег 7 сантиметров, по Дарвину скорость водородных или „*H*-частиц", как их теперь называют, должна быть в 1,6 раз больше, но средний пробег при этом должен увеличиться в $1{,}6 \times 1{,}6 \times 1{,}6 = 4{,}1$ раз, т.-е. должен получиться пробег в 28,7 сантиметров, т.-е. очень близкий к тому, что наблюдал Марзден. Эти водородные или *H*-частицы дают очень слабую вспышку на экране сернистого цинка, пришлось даже строить специальный микроскоп для их наблюдения, но это имеет и свои хорошие стороны: опытный глаз без труда различает α-частицу от *H*-частицы, т.-е. на глаз может сказать, ударился ли об экран атом гелия или атом водорода!

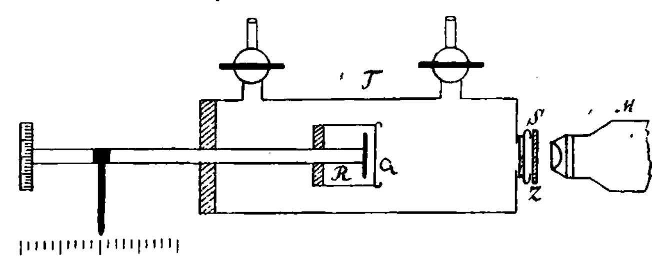


Рис. 5.

Дальнейшие опыты показали, что водородные частицы получаются не только из водорода, но и из целого ряда других тел: из азота, натрия, аллюминия, фосфора и притом независимо от того, находятся ли эти тела в чистом виде или в виде химических соединений.

Таким образом систематическое исследование прохождения α-частиц через слои того или другого вещества привело к открытию искусственного разложения атомов. Быстро летящие α-частицы могут разбивать атомы азота, натрия, аллюминия и т. д., выбивая из них входящие в их состав атомы водорода [1]). На первых же порах было установлено, что **выбиваемые α-частицами из атомов азота, бора, фтора, натрия, аллюминия и фосфора водородные частицы имеют больший свободный пробег, чем водородные частицы, полученные непосредственной бомбардировкой водорода.** Это было доказано Рутерфордом с помощью весьма несложного прибора (см. рис. 5). Латунный диск *R*

[1]) При бомбардировке кислорода, кальция и серы получаются какие-то другие частицы, природа которых еще не установлена. Вообще выбивать атомы водорода удалось пока из легких атомов до фосфора (атомный вес 31) включительно, при чем водород выбивается из атомов, имеющих атомный вес $4n+1$, $4n+2$, $4n+3$, где n целое число; атомы типа $4n$ не дают водородных частиц: например, кислород 16 ($n=4$) и сера 32 ($n=8$). Это дает некоторое основание для гипотезы, что водородные атомы могут образовать очень стойкие группы по 4 атома—атом гелия, из которых нельзя выбить ни одного атома водорода теми средствами, какими мы в настоящее время располагаем.

покрывался налетом радия *c*, дающего α-частицы с пробегом в 7 сантиметров; трубка *T* наполняется чистым водородом; окошко *S* закрывается листком серебра, толщина которого подбирается так, чтобы на экране сернистого цинка не появлялось больше искр, что можно установить с помощью микроскопа специальной конструкции *M*. Таким образом, листок серебра задерживает все частицы с пробегом в 29 сантиметров и меньше. Если теперь в трубку *T* вместо водорода внести азот, то искры вновь появляются, а, перемещая источник *R* или экран *Z*, можно показать, что средний пробег водородных частиц, выбитых из азота, будет около 40 сантиметров. Помещая перед источником α-частиц *R* в *Q* листок аллюминия, мы получаем *H*-частицы с пробегом в 80 даже 90 сантиметров! Что это доказывает? Это доказывает, что атомы водорода, входившие в состав атомов азота и аллюминия, получают энергию не только от α-частицы при ударе, но сверх того они обладают запасом внутри атомной энергии, которую они несут с собой, вылетая из искусственно разрушенного атома. В самом деле, если бы они этой энергией не обладали, то от удара α-частицы они могли бы получить скорость, соответствующую maximum 29 сантиметрам пробега, а для атома водорода, выбитого из атома аллюминия, пробег равен 80—90 сантиметрам! Расчет показывает, что от 25% до 45% всей энергии водородных частиц, выбитых из атома аллюминия, должно быть отнесено на долю освобожденной внутри-атомной энергии атомов аллюминия.

Сделаем теперь самый скромный подсчет энергии, освобождаемой при разрушении атома аллюминия, т. е. возьмем меньшую цифру 25%. Это значит—цифры, приведенные нами для радия, надо разделить на 4; но не забудем, что атом аллюминия почти в 10 раз легче атома радия; поэтому в одном грамме аллюминия будет в 10 раз больше атомов, следовательно, при расчете на 1 грамм надо умножить все цифры на 10: разделить на 4 и умножить на 10—значит умножить на $2^1/_2$.

Итак, в грамме аллюминия находится в 2,5 раза больше энергии, чем в грамме радия, предполагая, что процесс распада радия оканчивается свинцом.

Таким образом, внутри-атомная энергия содержится не в одних только атомах радиоактивных тел. Если оценить с экономической точки зрения этот искусственный процесс разложения атомов аллюминия, то он далеко не блестящ; во-первых, нам нужен источник α-частиц, а скоростью радиоактивного распада мы еще не умеем управлять, и во-вторых, искусственно вызванный распад получается очень редко: на полмиллиона столкновений α-частиц с атомами аллюминия только одно бывает благоприятное в том смысле, что атом разбивается. Как будто α-частица должна попасть в какое-то особое, так сказать, уязвимое место атома, чтобы вызвать процесс распада атома.

Но, как бы то ни было, успех, достигнутый Рутерфордом, громадный: впервые рукой человека разбит атом; до сих пор мы могли только наблюдать естественные процессы распада,—теперь мы этот процесс вызываем и при том в обыкновенных, нерадиоактивных телах. Эти опыты несомненно составят эпоху в истории физики.

Но что же будет дальше? Можно ли надеяться овладеть этим процессом? Возможно, что вызываемые в электрических разрядных трубках потоки атомов—так называемые положительные лучи,—когда мы научимся сообщать им скорости такие же, какие имеют α-частицы,—

помогут нам разбивать атомы—это вполне возможно, но поручиться за это пока еще, конечно, нельзя.

А пока приходится поневоле терпеливо ждать, прилагая все усилия к детальному изучению вновь открытых явлений. В науке, так же как и в экономической политике, приходится часто отказываться от штурма и переходить к правильной осаде. Но чем же, спрашивается, занимаются сейчас те ученые, которые открыли эти замечательные явления? Судя по последним известиям, Рутерфорд исследует теперь, по каким направлениям вылетают водородные частицы из аллюминия при бомбардировке их α-частицами. Любой практик, который, узнав о существовании внутри-атомной энергии, ждет-не дождется, когда наконец можно будет носить годичный запас топлива для большого завода у себя в кармане, скажет, что Рутерфорд занимается пустяками. А разве не пустяки были с точки зрения близорукого практика опыты Анри Беккереля с действием урана на фотографическую пластинку? И, тем не менее, эти пустяки открыли существование несметных запасов внутри-атомной энергии! Я этим вовсе не хочу сказать, что наука не должна быть связана с жизнью и техникой; наоборот—мысли ученого невольно приспособляются к тем техническим средствам, какими он располагает. Талант ученого в том и состоит, чтобы использовать все, что у него есть под рукою для открытия в природе того нового, что явится фундаментом для будущей техники. Потому-то так часто и приходится отказываться от штурма очень заманчивых позиций. Чем лучше ученый умеет использовать то, что у него в руках, тем скорее он приходит к изобретению новых средств, новых технических орудий, позволяющих итти все дальше и дальше. Всякое на вид ненужное специальное исследование, производимое с надлежащей строгостью в лаборатории, есть первая разведка для техники. И вот поэтому в деле использования того, что существует в природе, мы добиваемся прочных успехов только тогда, когда впереди техники идет наука!

На текущие темы.

С. Ингулов.

I.

Церкви лишь слегка коснулось жаркое дыхание революции. Кое-где сильнее, кое-где едва заметно. Кое-где оно проникло за стены храма и развеяло пыль коленкоровых мощей, кое-где лишь скользнуло по золоту купола церковного и слегка у краев его отлегло запекшимися пятнами.

У революции нет путей заказанных. И то, мимо чего прошла она сегодня, лишь слегка обдав своим теплом, завтра окажется раздавленным ее сокрушительной стопой.

— Мир хижинам, война дворцам!—И великий князь Николай Николаевич клянчит о приюте у сербского короля. И генерал Шиллинг, командующий войсками „новороссийского" фронта, страшилище рабочих и крестьян на юге Украйны—конторщик пароходной конторы в Константинополе.

— Разверстка.—И гоголевский герой взялся за „рушныцю". И зовут его не Тарас Бульба, а Нестор Махно.

У революции нет путей заказанных. Мимо церкви шла она. И если для свержения дома Романовых достаточно было одной империалистской войны, то для разрушения омертвевшей, твердокаменной церковной „династии" потребовалась еще трехлетняя жестокая война гражданская и потрясающий, чудовищный голод.

Бесполезно спорить, что́ происходит сейчас в церкви: Февраль или Октябрь.

Но с какой оценкой ни подходить к движению внутри духовенства, оно больше чем „дворцовый переворот".

Как ни обходила ее революция, церковь не могла оставаться вне ее влияния. В свете революции она не могла скрыть своего уродливого, дегенеративного тела и своей извращенной, вырожденческой души. Один за другим—и пред глазами духовенства, и пред глазами верующих—спадали пышные парики.

Еще не были ясны размеры голода, еще не стучались мертвые руки голодных в двери церковных сокровищниц, когда в Воронеже на суде губревтрибунала архиепископ Тихон воронежский и задонский вынужден был заявить, что чудесное обновление икон—вздор. Слушалось дело о „массовом" обновлении икон. И сами священнослужители изобличали своих сослуживцев в кражах из алтарей, в вымогательствах, в фабрикации святынь, в кощунстве, драках и обысках в церкви. И это тогда, когда церковь вела форменную „кампанию„

обновления икон. Это была ответная кампания на начатую коммунистами антирелигиозную агитацию. То в киргизском ауле, то в украинском селе, то в хате куркуля, то у сруба колодца вдруг засверкает золоченым лицом новая чудотворная икона.

И внезапно—авторитетное заявление архиепископа: „вздор". Это свидетельское показание достаточно веское, чтобы считать его и показанием компетентного эксперта. Авторитетность этого показания подчеркивается еще показаниями самих подсудимых. Они говорили, что на служение в церкви они смотрят, как на скучное, тяжелое ремесло. „В сан нас загнала нужда",—жаловались они. „Боязнь потерять приход заставляет итти на подлость". Священник Кузьмин в своем последнем слове заявил, что он „теряет веру в то, чему служил всю жизнь".

Это не случайно сорвавшаяся с уст фраза. Не случайно сошло с языка „владыки"—вздор. Архиепископ Тихон прошел уже солидную „революционную" школу. Он пережил вскрытие мощей в обоих монастырях своей епархии—и Тихона Задонского, и св. Митрофания, и он раньше других священнослужителей столкнулся лицом к лицу с современной действительностью, и он раньше других отцов духовных усвоил: когда пойман с поличным—не отпирайся.

Этому научила его воронежская Губ. Ч. К. еще в начале 1919 г. после вскрытия мощей Митрофания. Архиепископ Тихон, повидимому, не забыл предательской 2-копеечной марки „керенского" происхождения, оказавшейся в сатиновом корпусе нетленного святого, безжалостно опровергнувшей все уверения владыки, будто в последний раз перекладывали мощи в гробнице лишь несколько десятков лет назад.

Не по архиепископу судить надо. Его „правдивость"—следствие выучки, полученной за время революции. „Мы шли на подлость"—это сознание служителей церкви на скамье подсудимых знаменует все покаянное движение более честной части духовенства, оказавшегося на голгофе народных страданий не в силах продолжать преступную игру своих святых командиров.

Внутреннее кипение в церковной банке началось давно. Оно было невидно. И если пар покаянного негодования начал сейчас высоко подбрасывать кверху крышку, то это только потому, что состояние покоя было, как это сейчас уже ясно, только кажущимся.

* * *

На вопросе об изъятии ценностей раскололась церковь. Но раскол мог произойти и из-за общей церковной политики, и из-за мелочного вопроса об институте церковных старост. Дело не в поводе. Старая церковь разлагалась сама в себе и противоречия между требованиями живой жизни, и путь всемерного служения политической реакции, на который настойчиво толкал церковь штаб святейшего патриарха,—способствовали ускорению этого развала.—Падающего толкни.

За два месяца русская церковь вынуждена была пережить то, от чего она старательно, со злобой отгораживала себя на протяжении четырех лет революции. И потому стремительным, мутным потоком вырвался наружу весь накопившийся в ее омертвевшем теле гной. И выступили сразу все ее язвы. И каждому верующему, и каждому запутавшемуся в суеверии темному крестьянину стало сейчас ясно, что воронежский отец Кузьмин, пошедший „на подлость"—вовсе не один,

что Кузьмин—это не собственное, а собирательное имя, что он—всюду— и в Воронеже, и в Иркутске, и в Баку, что он—сама церковь.

— „Воры в рясах"—вот заголовок, который не сходит со страниц наших газет.

В Витебске предстал перед судом трибунала священник Капустинский, похитивший, в целях сокрытия, золотые и серебряные вещи из Крестовоздвиженской церкви. Он приговорен к расстрелу.

В Иванове-Вознесенске, в Покровском соборе, священниками и церковным старостой похищены четыре иконы с серебряными ризами, жемчугами и бриллиантами... Разумеется, тоже „для сокрытия от изъятия".

В Москве „ограблена" Иверская часовня. В Петербурге похищены все ценности церкви Скорбящей Божией Матери. В Ростове священником Гуричем и дьяконом Капустиным украдены ценности, подлежавшие изъятию. В Георгиевске, Терской губ., из местного собора исчезли все золотые и серебряные вещи. В одесском соборе, после изъятия, в ризницах найдены утаенные духовенством ценности, а в архиве собора—ящик серебра и весьма ценная чаша. Установлено, что в ночь, предшествовавшую изъятию, во многих церквах были произведены кражи. У настоятеля Ильинского монастыря при обыске найдено золото греческой церкви, а в стене обнаружена замурованная касса с драгоценностями.

В Александровске (Запорожьи) у церковного сторожа Покровского собора найдено несколько икон в серебряных ризах, вынесенных по поручению настоятеля в сторожку. На квартире у одного батюшки здесь при обыске обнаружены спрятанными большая серебряная чаша и дароносица.

В Вятке игумен Трифоновского монастыря Черников утащил много ценностей.

В Иркутске из кафедрального собора продано паникадило. Епископ Анатолий показал, что оно распродавалось по частям. Весило оно, по одним указаниям, 9 пудов, по словам Анатолия—3 пуда. Из иконы Божьей Матери в этом же соборе исчезло три алмаза, платиновая с бриллиантами звезда Александра Невского, орден с бриллиантами, золотой камертон, крест на клобук, серебряный лом, серьги с бриллиантами, серебряный престол весом 184 фунта.

Это то, что называется в нашей печати „вести отовсюду". В самом деле, нет почти города, откуда не шли бы такие телеграммы. Крадут везде, где плохо лежит. А лежит всюду плохо, потому что описей нет, потому что первое распоряжение патриарха Тихона—замуровывать в стены, прятать от „захватчиков" все ценности храмов, отданные еще в 1918 г., показало, что красть церковное имущество можно чрезвычайно легко и что техника воровства в современных условиях заметно упростилась.

Труднее искусство сбыта. Внутренний рынок не приемлет церковной утвари; по крайней мере, открытая продажа не производится. Торговля церковным имуществом из-под полы сопряжена с большим риском. Остается один выход—сплавлять золото за границу. Так и делают. На Самаро-Златоустовской ж. д. задержано два священника и один член приходского совета с шестью пудами церковного золота и серебра в мешках, направлявшиеся за границу для реализации этого имущества на деньги. 5-го апреля при обыске в двух эстонских дипломатических вагонах на Николаевском вокзале обнаружено у сотрудников миссий 13 слитков серебра. Арестованные показали, что

серебро церковное переплавлялось в слитки, а затем перепродавалось на спирт, сахарин и пр. Среди арестованных участников много священников и член церковного совета.

Тащат из церкви все, что можно, тащат с таким же усердием, с каким в начале революции таскали в церковь золото банкиров и купцов, чтобы укрыть его от реквизиций и конфискаций. Ведь, совсем еще недавно церковь служила и антикварно-комиссионным магазином, и ломбардом для богатств Рябушинских, и мелочной бакалейной лавченкой. Церковь принимала все на комиссию. И поэтому нет ничего неожиданного, что в Минске, например, из одной часовни, вместе с 13 ф. 16 зол. серебра были изъяты большая библиотека, каким-то образом попавшая сюда, и сложенная, как в магазине, мебель, много какао, шоколода, чаю, кофе и проч.

Конечно, отцы духовные старались прикрыть свои подвиги легендами о новых „чудесах". Спасаясь от грешных большевиков, чудесным образом, исчезла икона в Оптиной Пустыни, разумеется, вместе с драгоценной ризой. А когда вмешалось ГПУ, икона быстро таким же чудесным образом вернулась на место. В с. Дворцы, Калужской губ., при приближении большевиков серебряная чаша обратилась в медную. Когда перед кое-кем встал призрак Ревтрибунала, серебряная чаша чудесным образом объявилась в церковной печке. В Тихоновой пустыни вознесся на небо самый большой серебряный ковчег. Это видели все священники. И никто из отцов святых не заметил, как он возвратился с неба и занял скромное место на дне церковного сундука, под грудою риз.

Так раскрадывалось достояние верующих и так, но еще с большим цинизмом, с еще большей наглостью, обкрадывалась душа народа. С особенной яркостью показывают, как глумились священники над этой доверчивой, опакощенной и оплеванной душой, примеры со снятыми иконами в Оптиной Пустыни. Газеты сообщают:

„После снятия ризы с висевшей на царских вратах иконы Благовещения, на доске, которую попы выдавали за икону, вместо Богоматери, оказалась нарисованной румяная дева, сидящая в кожаном, вольтеровском кресле у резного стола стиля „Рококо" и одетая в платье по французской моде XVIII века, а вместо архангела Гавриила—под ризой оказался какой-то миловидный барчук, напоминающий скорее Ленского из „Евгения Онегина", чем святого. Когда сняли ризу с иконы калужской Богоматери, то на присутствовавших выглянуло самодовольное лицо дородной помещицы времен крепостного права".

Во владимирском соборе вышел еще бо́льший конфуз. Вместо скромного священного рисунка оказалась картина, которая впору разве только для квартиры холостяка: распахнувши одежды и обнаживши всю свою женскую красоту, дева энергичным жестом давит свою грудь, выжимая из нее молоко в рот мужчины. Смущенный увиденным изображением, присутствовавший тут же иеромонах Никон растерянно объяснил, что это не божественное, а штатское письмо.

Может ли после этих „чудесных" обращений, которые несомненно использует ловкий режиссер в качестве эскизов для фарса с переодеваниями, явиться даже для верующих неожиданностью сообщение „Трудового Дона", что „граждане хутора Государева, Кагальницкой волости, Ростовского округа, продали соседнему хутору Коханову за несколько сот пудов пшеницы и три деревянных амбара свою церковь... за ненадобностью".

Удивление вызовут не продавцы-государевцы, которые „с пением

Интернационала везли из Кохановки амбары и зерно для посева", а простофили-кохановцы, которые „с церковными песнопениями тащили по льду разобранную церковь", не понимая еще, что государевцы сбыли им этот товар, исходя из принципа — „На тебе, небоже, что мне не гоже".

Церковь, как предмет товарообмена. Церковь с торгов. Церковь — порнографическая галлерея „для некурящих"!..

Только слепой, только безнадежный негодяй, только олух небесный может не видеть проступающую наружу сквозь ветхие одежды лицемерной святости безобразную наготу подлинной церкви, всю трагическую уродливость этой „божественной комедии".

* * *

Сменовеховство в церкви. Оно пришло на почве общего гниения церкви, точно так же, как сменовеховство политическое пришло на почве распада политической реакции. И как страдания, подвижничество и героическая борьба рабочего класса России привели к расколу в лагере контр-революционной эмиграции, так корчи голода, скрючившие изнеможденные, измученные народные массы, усилили „обновленческие" течения среди той наиболее отзывчивой части духовенства, которая не потеряла способности мыслить и глаза которой не совсем ушли под поповский клобук.

Сначала было одно чувство гуманности, порыв сострадания к умирающему и стонущему: „Мы не можем спокойно молиться, когда жители Поволжья питаются трупами своих братьев" (обращение епископа Иннокентия Бийского); „живые люди, христиане, не должны ли мы обратить золото в хлеб, чтобы спасти голодных? К этому подвигу любви обязывает нас настоящий голод" — говорит в своем обращении протоиерей Введенский.

И ни протоиерей и никто из тех, к кому шло это обращение, не полагали, что через 2 месяца Введенский окажется Ключниковым от церкви. Как не предполагал и святейший патриарх Тихон, что он может еще фигурировать в жизни в качестве гражданина Белавина и что его обращение к верующим и иерархии может привести к его свержению с патриаршего престола...

За два месяца „прогрессивная мысль" внутри духовенства проделала небывало крутую эволюцию. И тем резче была она, чем отчетливее и ярче выявлялась в глазах верующих и церковников черносотенно контр-революционная политика высшего духовенства.

— Бунт попов, — сказал один из приближенных патриарха.

Но бунт — это неудавшаяся революция. А удавшийся бунт — революция. И если пока все еще идет речь о свержении патриарха, но не патриаршества, то это ведь только первый этап борьбы, тот этап, который в 1917 г. проделали Шульгин и Гучков, убедившие Николая Романова подписать акт об отречении и тут же попытавшиеся подобрать нового царя — сначала Михаила, а потом Николая Николаевича.

Уже с первых дней борьбы „новой" и „старой" церкви выдвинута некоторыми сторонниками первой мысль об „учредительном собрании", „полноправном хозяине" и т. д. — о поместном соборе. И кто бы ни был этот высший иерарх, к которому временно перейдет патриаршая корона, как бы ни пыталась командующая верхушка сохранить внешнее благополучие и „благолепие", церкви не скрыть ни от себя, ни от верующих, что она вошла в новую полосу развала, в „керенщину" церкви.

Первый период развала. Он начался с безобидных выступлений низшего, а затем „среднего" духовенства за сдачу церковных ценно-

ностей. Это были обычные призывы пастырей к любви и самоотверженню, но они оказались „крамольными“, так как шли против директив высшего духовного начальства.

„Несите эту жертву,—обращается в своем воззвании к духовенству и верующим кунгурский съезд священников,—и веруйте, что за спасение множества погибающих Господь воздает сторицею, и усердием Вами спасенных святые храмы не оскудеют“.

„Тяжело расстаться с драгоценностями,—сказал на духовном концерте в пользу голодающих епископ Серафим Муромский.—Как бы ни бедно и убого было в наших жилищах, но приятно притти в храм, где взгляд мог бы отдохнуть на благолепии. Но... если нужно, мы отдадим и душу и последнюю ризу“.

Грозный манифест патриарха только подстегнул и напряг стремление наиболее чуткой части церковников—притти на помощь голодной Волге—и родил оппозицию там, где ее не было. Один священник Пермской губ. Леонид Анисимов вынужден был выдержать длительную борьбу со своим приходом, пошедшим за патриархом Тихоном. „Пусть приходят и силой берут, а мы не Иуды, чтобы отдавать принадлежащее церкви“,—заявляли прихожане, и отцу Анисимову ничего другого не оставалось, как жаловаться в газете на... волостную власть, которая упорно не присылает комиссии по изъятию ценностей. „И таким образом я оказываюсь лжецом перед верующими, сказав им, что рано или поздно, а ценности из церкви будут взяты“.

Сельский священник живет „в миру“ и он не может не раствориться во внешней обстановке, в быте и интересах своего села. И потому—пусть он не тот „советский батюшка“, который с амвона провозглашает „многие лета просветителю коммунизма Владимиру Ильичу Ленину“ и губкому и губисполкому (как это было в Уманском уезде Киевской губ.), но он не может мыслить не по-советски, не по-комбедовски.

„С своей стороны добавляю,—пишет священн. Анисимов,—что духовенство в большинстве случаев—и, главным образом, низшее—не виновно в том, что ничего не может сделать для Советской власти. Его деятельность все время ограничивается „высшими“ и приходскими советами, в коих заседают по большей части люди сытые и „благодетели“ бедноты, дравшие и дерущие с нее последние лохмотья за кусок хлеба и суррогата“.

„Крамола“ растет стихийно. В устах епископов появились слова необычные. Слова „Советская власть“ произносятся без раздражения. Епископ Иннокентий Бийский лойально в своем воззвании говорит о „правительственной Советской власти“, которая одна не в силах накормить голодных. Росту этого „крамольного“ движения и уже не только на низах, а и в средних и частично даже высших слоях духовенства—способствует непримиримая враждебная против Советской власти погромная и воровская политика патриарха Тихона.

Сказав А остается только произнести и Б. Пароксизм раскаяния заставляет служителей церкви пересматривать все пройденные за четыре с половиной года революции пути и со всей болью отчаяния обрушиваться на тех, кто вел их по ложной дороге, по пути насилия, угнетения и околпачивания доверчивых, трудящихся масс.

Свящ. Медведев в „Трудовом Доне“ погружается в воспоминания о недавнем прошлом, о керенщине, когда духовенство отдавало на поддержку помещичье-купеческого временного правительства „наперсные кресты, содержимое кошельков и даже безделушки жен“.

„Не так давно это было, а вспомнить сейчас обидно. Ведь мы знали тогда, что жертвы наши пойдут на орудия братоубийственной бойни, на то, чтобы гибли от них „единые от малых сих". Ныне же, когда нас призывают жертвовать для спасения погибающих братьев наших от голода, мы молчим... Не забудьте того, что ведь мы, священники, не должны иметь даже определенного пристанища. Сколько погибло нас за то, что сразу же мы сумели заявить себя сторонниками беднейших классов. Неужели же мы будем слепо повиноваться указке князей церкви".

Шуйский и Московский процессы тихонцев ускоряют ход событий. От пассивных причитаний остается перейти к активным выводам—действиям. В одно и то же время в Ростове, в Москве, в Саратове, Петербурге, совершенно самостоятельно возникают организации прогрессивного духовенства. Они делают попытку наскоро связаться. Они не имеют организационных навыков, у них нет опыта общественной жизни, но они все мучительно, как чеховские герои, сознают:

— Что-то надо делать!

Путаясь в выборе путей, без стройной программы, без конкретного плана действий, лидеры „прогрессивного духовенства" тем не менее чувствуют, что амвон перестал быть той трибуной, с которой можно разговаривать с массой верующих. И они ищут эту трибуну в советской печати, выпускают собственный печатный орган, устраивают публичный диспут... на эстраде, с которой накануне Шаляпин пел „Дубинушку".

Они не определили еще новых форм строительства церкви, но они горячо чувствуют, что „так дальше продолжаться не может", что церковь не может, по выражению протоиерея Введенского, оставаться „политическим клубом, политической санаторией". Они еще не знают, что они будут делать завтра, но они твердо знают сегодня, что церковь разбил паралич, что во главе ее стоит помещик, жадный и мстительный.

„Мы считаем необходимым немедленный созыв поместного собора для суда над виновниками церковной разрухи, для решения вопроса об управлении церковью и об установлении нормальных отношений между ней и Советской властью. Руководимая высшими иерархами, гражданская война церкви против государства должна быть прекращена. Каждый верный и любящий сын церкви несомненно поддержит наше заявление, с коим мы обратились к государственной власти о предоставлении нам возможности скорейшего созыва поместного собора для устроения церкви и умиротворения народной жизни". (из обращения прогрессивного духовенства. „Правда" № 106).

Конечно, это не программа и даже не программа-„минимум". Это программа сегодняшнего дня, которая вытекает не из ясно выявленной, стройной декларации действий, а из напора внутренних чувств гнева и раздражения против нынешних правителей церкви. „Церковь была ведомством православного исповедания,—заявляет в журнале „Живая Церковь" священник С. Калиновский.—Она сделалась достоянием чиновников в рясах, клобуках и даже сюртуках. По вине старого бюрократического иерархического строя взаимоотношения между православной церковью, руководимой старыми ставленниками бывших правящих классов, и советским государством стали абсолютно невозможными... Довольно молчать!"

Зато внутренние задачи церкви у идеологов обновленческого движения выявлены с большей отчетливостью: 1) от мертвого ритуала—

к живой церкви на подлинно „евангельских началах“, на началах любви к ближнему, а не ненависти и вражды, 2) демократизация церкви.

Первую задачу епископ Антонин ставит как вытекающую из того, что „культ превратился в бальзамировку мертвечины испепелившейся старины, боящейся свежего духа, в магические сеансы бессознательных знахарских заклинаний“ и что—по выражению протоиерея Введенского—„маразм разъедает церковь, паралич лишает ее последних живых сил“. Эту формулу протоиерей Шавельский перевел на житейский язык, предлагая духовенству ухаживать „за Невестой Христовой ради нее самой, а не ради ее приданного“.

Вторая задача выражена прот. Введенским так: „Пусть наше пресвитерство перестанет быть замкнутой скомпрометированной кастой, не желающей никаких новых сил, занимающейся постоянным и непрерывным интриганством. Пусть наши протоиереи увидят в меньшей церковной братии—диаконах и псаломщиках—своих родных братьев и сотрудников“.

Все же законченной программы у наших инсургентов церкви нет. И несмотря на это—и вследствие этого—они, повинуясь инстинкту, действуют решительно... революционно... Пока представители московского и петроградского духовенства убеждали патриарха Тихона отказаться от короны, в Ростове образовалось исполнительное бюро по делам православной церкви, действующее против местного епископа Арсения и из органа агитации за новую церковь превращающегося в орган управления церковью. „Церковный Ревком“—называют это исполнительное бюро газеты.

Сумев принудить патриарха к самоотречению, правда, к „временному“, правда, в пользу „одного из высших иерархов“, группа проявила все же достаточно революционной настойчивости, чтобы, хотя бы частично, осуществить принцип приближения „новых людей“ к управлению церковью. Создан Временный Высший Комитет по управлению православной церковью, в которую вошла вся группа, подписавшая обращение к „верующим сынам православной церкви“ („Правда“ № 106).

Каковы дальнейшие пути? Поместный собор? Но как он будет созван? Кто будет на нем решать судьбы церкви? Будет ли он состоять из „меньшей церковной братии“, из Анисимовых и Скворцовых, или из пресвитерства—„замкнутой, скомпрометированной касты“ из Арсениев Ростовских? Будет ли он „учредилкой“ или съездом „церковных ревкомов“?

Неясны пока дальнейшие пути неоцерковников. Трудно пока также сказать, кем останутся и самые основоположники этого движения, не сойдут ли они со своей „революционной“ дороги и не обратятся ли они на путь мирного реформаторства.

Но одно несомненно—это должно было случиться. Старая затхлая феодально-крепостническая церковь, задыхавшаяся от застоявшейся, пыли средневековья, не могла не развалиться от первого сотрясения, от первого соприкосновения с живой жизнью, с революционной действительностью.

Какова бы ни была новонарождающаяся церковь, как наивна ни была бы ее новая вера и старые евангельские начала, как беспомощны ни были бы ее попытки приблизить эту веру к современной революционной обстановке—она все же пока прогрессивна в своем движении, она через свою новую веру приближает массы к полному безверию, к погребению и старой и новой церкви, к высвобождению верующей части населения из-под обломков языческих суеверий, из-под влияния религии вообще.

И в этом положительное, революционное значение движения за „живую церковь".

Живой она не станет. А полуживой, как известно, равен полумертвому.

II.

В марте в ходе помощи Поволжью должен был наступить перелом. Но он не наступил. Главным образом из-за слабости и перегруженности нашего транспорта. Железные дороги в течение февраля, марта и апреля были заняты перевозкой семян. Это не дало возможности доставить продовольствие в голодные губернии в достаточном количестве.

В феврале число голодающих повысилось, помощь пала. В январе в 16 голодных губерниях Поволжья было 13.722.623 чел., из них кормилось—государством, помголовскими и заграничными организациями—3.712.391, т.-е. 27%. В феврале число голодающих возросло до 14.167.937, из них кормилось только 3.524.903,—25%.

В марте количество голодающих возросло до 15.901.000 человек. Число питающихся же повысилось непропорционально мало: к концу месяца оно составляло 4 миллиона. Подъем есть, но в этот месяц он еще не знаменует собой перелома. В ходе помголовских поступлений даже произошло новое падение: в январе поступило продуктовых пожертвований 340.892 пуда, в феврале 718.903 пуда, в марте 884.613 пудов. Все же улучшение наметилось.

В апреле оно начинает развиваться. В мае, по приблизительным данным, уже кормится до 75% всего числа голодающих, несмотря на то, что число голодающих превысило уже 16 миллионов.

Кризис позади. Не все, правда, голодное население будет обеспечено. Но положение уже не так грозно, как в феврале, когда свыше 10 миллионов населения было обречено на смерть, когда всего можно было прокормить одну четверть общего количества голодных.

Одновременно с увеличением количества пайков происходит и усиление самого пайка. Вместо прежних $^3/_8$ ф. паек достигает фунта и больше. Скверно только, что это увеличение запоздало к моменту посева. Ибо для посева нужны не только семена, но и работники и рабочий скот.

Разумеется, эти улучшения не сразу могут сказаться на хозяйстве, на населении, на быте голодных губерний.

Город в общем сохранился. Он живет своей обычной жизнью, если не считать только лихорадочного оживления на вокзалах и вокруг них. Люди едут. Они бегут из деревень. В погоне за жизнью.

Конечно, голод наложил свою суровую печать и на лицо города. Бродят и по его улице толпы голодных, увеличилось число просящих, падают от истощения на асфальт тротуара. Там, где сильно мертвящее дыхание голода,—туда оно относит потрясающие куски распыленного мрачного быта раздавленной деревни. В Казани на базаре продают трюфели из человеческого мяса. И там, где голод только засыпал вокзалы горою человеческих тел, а на улицы выбросил сотни бесприютных детей, нищих и проституток,—там потухли горевшие голодным блеском окна кафе и паштетных.

„Губернский Исполнительный Комитет, выполняя решение городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, постановляет:

1. Воспретить на территории Саратовской губернии производство и торговлю кондитерскими изделиями, кроме белого хлеба, булок и конфект.

2. Воспретить продажу и потребление всякого рода вин, кроме отпускаемых с медскладов по рецептам врачей".

(Из обязат. постановл. Саратовск. губисполк. от 4 марта 1922 г.)

Одной из причин городского голода является—безденежье. Город страдает все время от отсутствия денег. Особенно это заметно на Юге Украйны. В Николаеве, Одессе, Херсоне, Екатеринославе, в Запорожьи—всего вдоволь. Но рабочие и служащие, тем не менее, испытывают большую нужду из-за чрезвычайно нерегулярной выплаты заработной платы. На этой почве закрываются школы, разбегаются работники учреждений, приостанавливается деятельность предприятий. Косит тиф. От голода и болезней умирают ежедневно сотни людей.

Царицын больше других городов подвергся разрушительному влиянию голода. Местная „Борьба“ отмечает одно явление, которое характеризует общее состояние города в голодном кольце: „За последние две недели на окраинах города наблюдается исчезновение целых кварталов. Обезумевшие от голода граждане продают на слом и сами ломают свои дома, чтобы на вырученные деньги просуществовать лишних 2-3 недели. Продав за бесценок дома, голодающие ютятся у родственников, зачастую в холодных мазанках, и с утра до вечера осаждают канцелярии райкомпомголов, требуя пищи“.

В положении осажденных находятся в городах голодных районов не только канцелярии райкомпомголов, но и все без исключения канцелярии советских учреждений вообще. Губсобесы живут такой же нервной жизнью, как и Губоно, а Губоно, как и Губэваки. Тысячи сморщенных человеческих рук стучат в двери больниц, столовых, детских домов, заводов, ища хлеба, работы. Конечно, не все могут получить удовлетворение. На этой почве растут кражи, грабежи, преступность.

В казанских „Известиях“ напечатано такое письмо в редакцию: „В настоящее время в городе идет поголовная кража скота по ночам. Шаек воров не удерживают от краж никакие запоры, и если не предпринять против этого зла никаких мер, то можно быть вполне уверенным, что в непродолжительном времени в Казани скота не будет ни у кого, разве только у тех, которые будут охранять свой скот в квартирах. Ввиду этого, по примеру крестьян некоторых селений, жители данного района должны свой скот сгонять на один какой-либо двор и с оружием в руках охранять его. В единении сила! Н. Морозов“.

Так и кажется, что вот-вот кто-нибудь предложит начать рытье вокруг домов глубоких рвов,—таких самых, какими обводили свои поселения в патриархально-родовой период. В г. Елабуге, как указывает та же газета,—несмотря на введение военного положения, кражи скота и вещей не прекращаются даже днем.

При всем этом город все же сохранился. Он живет воспаленной, нездоровой жизнью. Но в то же время он проявляет пламенную энергию, исключительную бодрость духа и небывалую, непостижимую в обстановке смерти и разрушения творческую кипучесть в борьбе за хлеб, в борьбе за жизнь.

* * *

Хуже с деревней. Она молча вымирает. Заколоченные дома. Мертвые дома. Дома мертвых.

Те, в ком силен был инстинкт жизни, заколотили свои избы и отправились искать пищи,—кто в соседнюю волость, кто в соседний уезд. Жажда жизни родит иллюзии: бродят слухи—в Корсунском уезде—что хлеб уродил в Симбирском уезде, в Симбирском—что уродил в Корсунском. Ходят люди с котомками, и те, что сидят в своих домишках, доедая последние запасы березовых сережек и лебеды,

прячутся от них. „Часто больные, иззябшие за день унизительного торчания под окнами крестьянских изб, к вечеру они не имеют пристанища для ночлега,—рассказывает симбирский „Экон. Путь".—Боясь заразы, боясь грабежей, жители не пускают их к себе в дом. Сельсоветы приходят на помощь,—отводят им ночлег в порядке общей повинности, по очереди в каждом доме".

Голодный голодного не разумеет... Но ведь это по той причине, что там всякое человеческое чувство притупилось. „Страшные стороны человеческой души через эту голодовку выглядывают наружу,—пишет Влас Подгорный в казанских „Известиях".—Часть помголовских пайков (25%) уделяется на взрослых и в большинстве случаев кандидатами на эти пайки является все дряхлое и калечное, а молодое трудоспособное население и еще больше половины детей корчится и вымирает от голода. И вот по этому поводу самые степенные мужики говорят:

— А старых-то чертей для чего тянут?.. Отжили уже, пора и честь знать... Так напрасно доброе (хлеб) тратят...

Так рассуждают те, в ком очерствело чувство человечности, но в ком сильно чувство жизни, еще сохранившейся в этой жестокой чудовищно-тяжелой обстановке вымирания...

Смерть трудоспособного—это смерть работника, смерть сельского хозяина,—с его смертью обнажается участок невозделанной земли, открывается новая перспектива тяжелого голода. Но вся беда именно в том, что эта трезвость, отшелушившая все гуманные наслоения, граничит с трезвостью безумия, с сумасшествием. В с. Гостевке, Вольского уезда, на собрание сельсовета явилась женщина и внесла деловое предложение—разрешить ей съесть своего умершего мужа. Саратовская газета „Советская Деревня", разбирая некоторые факты людоедства и трупоедства, приходит к выводу, что эти явления есть не что иное, как грозная эпидемия, массовый психоз, страшная душевная болезнь, сумасшествие, которое захватывает целые группы населения. К числу этих явлений надо отнести и участившиеся случаи самоубийства на почве голода. Так, в Дергачевском уезде за один февраль месяц зарегистрировано 10 таких самоубийств.

Перелом наступил в апреле. Не сразу почувствует его население, ибо в марте обреченных все же оставалось свыше 10 миллионов.

А число голодающих в некоторых уездах—почти все население уездов. В Саратовской губ.—в Новоузенском уезде голодает 99% населения, в Покровском—97%. В Буинском кантоне Татреспублики всего жителей 170.360, из них голодает 164.228, т.-е. 95%, остальные 6.132 человека доедают суррогаты, скот, падаль. В Свияжском кантоне—155.000 населения, голодает из них также 95%. В Арском кантоне 57% голодающего населения, но зато огромный процент смертности от болезней. Из общего числа детей в кантоне 75% сирот—30.154. Мрут от человеческих и скотских болезней. На-ряду с тифом на людях появились и сап, и сибирская язва, перешедшие на них от поеденной падали. В Спасском кантоне, как сообщают казанские „Известия", из 231 тысячи жителей после усиленной смертности и эвакуации осталось лишь 150.000 чел. Убыль 35%. Однако,—добавляет газета,—смертность и истощение настолько развиваются, к новому урожаю останется, повидимому, не более 25-30% населения. В Тетюшском кантоне за 1921 г. от голода и эпидемий погибло 14.520 чел., а за один январь 713 чел. В Бузулукском уезде за 10 дней февраля умерло 1.740 чел.

На почве невероятной смертности в голодных районах возник новый своеобразный кризис: невозможность убирать трупы. Вопрос об уборке трупов довольно часто фигурирует в порядке дня работ Губэкосо и составляет большую трудность для волисполкомов. Из Новоузенска саратовским „Известиям" сообщают, что уездной комиссией общественных работ отпущено 150 п. хлеба на производство работ по уборке трупов. Но в некоторых уездах Саратовской губ. волисполкомы вынуждены прибегать к помощи обязательной повинности. Из Калмыцкой Балки сообщают царицынской „Борьбе"—умерших невозможно хоронить. Рыть могилу некому: все больные, опухшие.

Так гаснет жизнь в деревне, вспухшая, примирившаяся, с мертвеющими тканями.

* * *

И на-ряду с этой безмолвно разлагающейся, ослепшей, стынущей деревней—другая, жадно, цепкими руками хватающаяся за жизнь. Она настойчиво ищет выхода, увертливо вырывается из объятий смерти, одну за другой рвет мертвые цепи голода. Она шлет ходоков в губернию, в область, в Москву. Она ищет и находит помощь на месте. Она организует комитеты взаимопомощи, строит собственными силами столовые, питательные пункты, бараки для беженцев. Она ведет борьбу с хищениями голодных грузов. Она организует контроль в столовых, чтобы не раскрадывались продукты на кухне.

Представителей этой, не потерявшей способности двигаться и действовать, деревни вы увидите всюду: и в укомпомголе—выторговывающие часть хлеба на еду:—голодный человек сеять не будет... И в комнате дежурного по станции—грозящими кому-то „чекой" за задержку в перевозке грузов;—и в конторе местного уполномоченного АРА—убеждающим его в необходимости более рационального использования продуктов и открытия столовой в соседней волости.

Это она выдвинула идею обращения церковного серебра в хлеб. Это она взвалила на себя задачу спасти урожай будущего года, строго учитывая каждый пуд, каждую лошадь, каждое зерно, каждый вершок посевной площади.

Борьба с голодом, борьба за жизнь—борьба за новый урожай. А борьба за урожай свелась к борьбе за сохранение рабочей скотины, к борьбе за лошадь. В ней, в лошади все дело.

С семенами сейчас уже относительно благополучно. Всего Наркомпрод должен был отправить в разные губернии 19.900.800 пудов. Подвезено было уже в конце марта к железнодорожным станциям для отправки на места 23.227.122 пуда. Из них погружено 20.248.611 пуд., т.-е. 101,7% наряда. Это помимо 7-ми миллионов заграничного зерна. Вышла задержка из-за транспорта. И не даром все взоры активной части голодной деревни перед посевом обращены были к железнодорожникам, которых крестьяне призывали бороться одинаково решительно как с разгильдяйством и халатностью, так и с расхищением грузов для голодающих губерний.

„Мы должны всем нашим братьям, всей республике и по эту и по ту сторону Поволжья показать, как мы расправляемся с хищниками,—пишут саратовские „Известия".—Дело помощи должно быть основано на доверии всего пролетариата и всего крестьянства".

С некоторым опозданием, но все же семена доставлены полностью. Тем не менее дело не в семенах, по крайней мере не столько в семенах: нет тяговой силы, нет лошадей. По приблизительному под-

:чету только по сравнению с предыдущим 1921 годом недостаток лошадей в голодных губерниях составляет около 4 миллионов штук. Каков дефицит рабочего скота по отдельным губерниям, лучше всего можно видеть по данным Самарского губземотдела: в 1911 году было 862.600 шт. крупного рабочего скота при 2.820.000 десятин, что составляло приблизительно 3,25 дес. голов; в 1921 же было 427.124 шт. скота при 1.370.000 дес. земли, что дает 3,2 десятины на лошадь. В 1922 году по предварительным данным к началу весны рабочего скота у нас может быть приблизительно 150.000 голов при 750-1250 тысяч десятин. „Таким образом,—заключает Гр. Соколов в самарской „Книге о голоде",—по отношению рабочего скота мы будем отброшены назад лет на 50 самое меньшее".

Если раньше на 1 лошадь приходилось от 2 до 4 десятин, то теперь на ее долю приходится до 10 десятин. Разумеется, обработать всю площадь наличным числом рабочего скота невозможно, особенно если принять во внимание истощенность крестьянской лошади от страшной голодовки. Такая же приблизительно картина, по данным подворной переписи скота в 1922 году, в Симбирской губернии. Здесь количество рабочих лошадей сократилось от 40 до 60%. Однако ввиду сокращения посевной площади количество десятин, падающих на одну лошадь, не составит большой разницы по сравнению с 1921 годом и будет равна приблизительно $2^1/_2$-4 десятинам и только в Сенгилеевском уезде оно составит 9 десятин на лошадь.

Более тяжелое положение с рабочим скотом в Татреспублике, где число десятин на одну лошадь почти нигде не спускается ниже 8-ми. Во всех кантонах сокращение числа рабочего скота достигло 57-70%. Процент сокращения будет еще увеличиваться. Кошки, собаки, падаль съедены. Поэтому население татарских деревень продолжает резать скот. „Известия ТатВЦИК'а" отмечают, что вошла в обычай очередная резка скота: „Несколько семейств уговаривается об очередной резке скота и разделяет его между пайщиками".

В исключительно тяжелых условиях находится Тетюшский кантон. В 1921 году коров было здесь 21.000, теперь осталось 4.700; лошадей было 18.000, осталось 5.096. Мелкого скота было 86.000, осталось всего 6.000. По сведениям тех же казанских „Известий", на каждую лошадь падает 30-40 десятин. Целые волости остались вовсе без скота,—в них нет ни одной коровы, ни одной лошади. То же—в ряде сел Царицынской губернии.

Лошадь... В крестьянском хозяйстве она была всегда ценнее работника. А сейчас при нынешней дешевизне человеческой жизни лошадь в тысячу раз вздорожала—и как рабочая скотина, и как продукт питания. „Лошадь—последняя позиция в деревне в борьбе со смертью,—пишут казанские „Известия".—Уцелеет лошадь—не все еще погибло".

И та часть деревни, которая не потеряла способности жить, научилась в беде не только очередной резке скота, но и совместному коллективному уходу за лошадью. Беда сблизила крестьян и утвердила их в мысли, что другого выхода, как только коллективная обработка земли, в нынешнем положении нет. Десяток лошадей на 100 дворов—что поделаешь, как не дать соседу скотины, чтобы и его землю вспахать?!

Уж не раз в беде крестьянство—даже то, которое не раз восставало против „коммунии"—вынуждено было сорганизовываться в коммуны.

Так было в 1919 г. в Донской области. Восставали против Советской власти зажиточные казаки в станицах: Вешенской, Мигулинской и Казанской. Туда стекались все недовольные „коммунией" кулацко-красновские башибузуки. И рядом в соседних станицах оставались старики и женщины, тихо, про себя ворчавшие на Советскую власть, за то, что она пришла „не с большевиками, а с...коммунистами", но не шедшие в мятежные станицы. Горячая была пора—как раз пахать, сеять. А работников мало. И почти все станицы рядом с восставшими приступили к обработке земли „обчеством", используя брошенный хозяевами инвентарь и рабочий скот. И пришли к заключению:

— Миром—спорее дело!

Но, разумеется, оставались убежденными противниками „коммуны".

Так было в 1921 году и в Тамбовской губ. во время антоновского мятежа.

На миру и смерть красна. Но миром и за жизнь бороться легче. Это подсказал инстинкт жизни...

* * *

Появление семян родило надежду, новые силы. На посев пошли, как на праздник. Не узнать деревню.

Здесь, в Москве, мрачно смотрели на судьбу весенней посевной кампании. Пессимисты говорили: 50% семян будет съедено, оптимисты—30%. А из деревни идут сведения—все сто процентов брошены в землю.—Из Царицына сообщают, что там наблюдалось много случаев, когда у семейств, умерших от голода, семена оставались нетронутыми.

„Умоляя дослать недополученные до обещанной нормы семена, сельсовет Новокордановской волости просит разрешения у исполкома употреблять в пищу человеческие трупы".

Так же крепко держатся крестьяне за скотину. Ввиду посева, просят разрешить не резать последнюю лошадь, а питаться трупами умерших. Мотивировка: „не пожирать же семена".

Вся наша провинциальная печать—сплошь сельско-хозяйственные газеты. И ведутся они, надо отдать справедливость, лучше, нежели... Марк Твен вел свою сельско-хозяйственную газету. В другое время редактора наших провинциальных газет не были бы так же, как и американский юморист, застрахованы от тыквы, растущей на дереве. Но сейчас беда сама один из соредакторов.

„Как сеять турнепс (кормовую репу)"... „Улучшение животноводства при помощи сельско-хозяйственных товариществ"... „О распределении покосов"... „От трехполья—к многополью"... „Кукуруза"... „О кукурузе"... „Культура кукурузы"...—вот необычные для наших газет темы, сейчас не сходящие со столбцов провинциальной печати.

„Очерский волостной съезд Советов, Оханского уезда, постановил в обязательном порядке использовать все имеющиеся семена в волости только для ленточного посева. Кроме того, съезд призывает все население волости к обязательному переходу на новую улучшенную культуру овощей". Редакция разверстывает эту резолюцию на две колонки и помещает заголовок:—„На новом пути".

Царицынская губерния организует не „простые" сельско-хозяйственные товарищества, а мелиоративные. В Николаевске, этой губернии, сорганизовалось такое товарищество—„Вода". Состоит из не-

скольких семей. Товарищество засевает 8 десятин поливного поля и 50 десятин без полива. Для полива имеется двигатель. Товарищество „Первое Лебяжье“ засевает 12 десятин поливных плантаций и 75 десятин яровых. Оно собирается осушить озеро в 10 десятин под картофель. Предполагается создать орошаемое поле в 320 десятин.

Так ведет борьбу с голодом само крестьянское население, уставшее истощенное, обглодавшее себя и вновь поднявшееся для решительной схватки со смертью.

Но... беда никогда не приходит одна. Идущие утешительные сведения о состоянии всходов омрачаются перспективой—на этот раз довольно реальной—нового бедствия: нашествия вредителей. Всего заражено саранчевыми вредителями 13 губ., сусликами 6 губ., общей площадью до 6 миллионов десятин. Заражены Поволжье, Киркрай, Приуралье, Сев. Кавказ. Если иметь в виду способность саранчи передвигаться довольно быстро, то площадь, которой она угрожает, составит 8-10 мил. десятин. В переводе на хлеб это вместе с площадью, зараженной сусликами, составит угрозу потерять свыше 200 миллионов пудов хлеба, т.-е. немножко меньше, чем вся цифра продналога 1921 г.

С мест уже давно тревожные вести. На расширенном пленуме Донисполкома заведующий земуправлением Квиринг сообщил:

„Если вы проедете на автомобиле хотя бы от Ростова до Новочеркасска, то вы увидите тонкие полоски посевов и вокруг них кошмарное море сусликов. Борьба с ними тем более затруднительна, что на незасеянных участках земли крестьяне не вытравливают сусликов и они чрезвычайно развились“. („Труд. Дон“, № 221).

„Из Персии на Кардолинский и Мусатински участки, лавиной двинулась отродившаяся саранча. На Мугани саранча шла непрерывно полторы суток. Ввиду того, что урожай в этих местах небывалый, крестьянство напрягает все силы, чтобы спасти хлеб от саранчи.

„Были приняты решительные меры. 300 десятин посева было опрыскано, а затем, кроме того, обработано сжиганием 250 десятин. На протяжении 3 верст были проведены загоны и канавы. На персидской стороне также было опрыскано 110 десятин. И кроме того, для задержания саранчи были выставлены щиты, и саранча была уничтожена в громадном размере. В Саатлинском районе открыты новые залежи саранчи на 300 десятин. 5 мая саранча двинулась к посевам селения Саатлы. С наступлением ночи она остановилась в нескольких шагах от посевов. За ночь население приступило к лихорадочной работе. Были вырыты защитные канавы для ограждения посевов, и рано утром двинувшаяся на посевы саранча вся свалилась в приготовленные канавы, где и была погребена“. („Правда“ № 102).

Новая гроза надвигается с той-же роковой стремительностью, с какой шел на русскую деревню голод. Но деревня, возбужденная новым приливом жизненной энергии, готова ринуться в бой со всеми „казнями египетскими“, валящимися на ее обессиленные плечи. За ночь воздвигаются стены, выкапываются рвы, создаются отряды для преследования „противника“.

Новое студенчество.

Н. Мещеряков.

Было время—шестидесятые и семидесятые годы,—когда учащаяся молодежь составляла главный общественный слой, на который опиралось революционное движение. Тогда студенчество было авангардом и в революционной борьбе, и в развитии русской общественной мысли. Литература внимательно следила тогда за изменениями в настроении студенчества, за появлением и развитием в нем новых типов. Студент был тогда излюбленным героем романов.

Но это было очень давно, тогда, когда революционное движение было еще очень слабо. А по мере того, как в России развивалась классовая борьба, по мере того, как в эту борьбу втягивались могучие силы широких общественных классов, роль застрельщиков революции—учащейся молодежи—все более отступала назад. Борющиеся классы вырабатывали своих идеологов, своих вождей, которые мало-по-малу вытесняли из этих ролей студенчество. На долю последнего все более стала выпадать служебная, вспомогательная роль в движении. Решительным моментом была революция 1905-1906 годов, во время которой ярко выявилось стремление пролетариата и крестьянства в серьез, до конца вести революционную борьбу за свои классовые интересы, за захват всей помещичьей земли, за социализм. А эти требования совсем не отвечали интересам студенчества. И студенчество, на-ряду с другими слоями интеллигенции, уходит из лагеря революции. Но и в буржуазном лагере студенчеству, как политической силе, делать нечего. Буржуазные партии никогда не имеют массового характера. Это всегда только группы вожаков, политиканов плюс необходимый для работы партии аппарат. Этот аппарат состоит из квалифицированных интеллигентов, которых в рядах буржуазных партий не мало. Недоучившийся студент, как общее правило, здесь не нужен. Студенчество может играть здесь только подсобную роль статистов, „толпы“. И студенчество уходит из области политики; оно замыкается в область „академизма“. В литературе образ студента бледнеет. Революционные беллетристы рисуют этот тип в виде „белоподкладочника“.

И они оказались вполне правы. Когда вспыхнула революция 1917 года, когда студенчеству нельзя было оставаться в роли бесстрастного к политике академизма, когда оно должно было проявить свое политическое лицо, оно в подавляющей массе стало в лагерь буржуазных партий. А когда ударил гром октябрьской революции, то в лагерь противников ее ушло почти все студенчество до меньшевиков и эс-эров включительно. Но и в этом лагере студенчество не образовало особой характерной группы: оно смешалось здесь с прочими

›одственными элементами в группе белогвардейских добровольцев. \ та часть студенчества, которая, хотя и сочувствовала белогвардей-ıам, но все-таки по тем или иным причинам осталась в России, не ıграла никакой самостоятельной роли. Вместе с прочей обывательской ıнтеллигенцией это студенчество ворчало, шипело на Советскую ласть, по мере возможности саботировало работу, а больше всего ıумало о пайках, о том, как бы сохранить свое существование. Эта ıассивная роль, это тесное общение с обывательской интеллигенцией ıе прошло даром для студенчества. Оно превратилось в нудную обы-ıательщину, в которой нет ни каких-нибудь порывов, ни глубокого ıнтереса к науке, ни увлечения этой наукой. Это—серые обыватели, :оторые уныло тянут лямку, чтобы стать потом интеллигентами-ре-ıесленниками. Этот тип студенчества господствует на двух последних :урсах наших учебных заведений.

Но революция не только больно, на-смерть ушибла старое сту-.енчество. На-ряду с ним она создала и новое. Это молодежь, кото-ıая выросла в огне, в муках и в работе революции, которая до сту-.енческой скамьи сплошь и рядом работала—и подчас самостоятельно аботала—в армии. Она рисковала там жизнью во имя революции; это ривязало ее к революции, крепко спаяло с последней. Эта молодежь ıривыкла своими силами выходить из очень затруднительных поло-кений, привыкла смолоду добывать хлеб не только для себя, но и ля семьи. Это развило в ней энергию, которая прежде убивалась ‹изнью на всем готовом. Эта молодежь—дитя революции со всеми емными и светлыми сторонами, которые должна выработать в моло-ежи трудная, мучительная, сплошь и рядом уродливая, но в то же ремя и геройская эпоха революционной борьбы.

А на-ряду с ней появились совсем новые никогда не бывалые ка-егории студенчества—рабфаки—молодежь, из рабочей или крестьян-кой среды, еще недавно работавшая на заводе у станка или в де-евне за плугом.

Перевернувшая все вверх дном революция перевернула также и туденчество. Она создала среди него новую формацию, новый тип гудента.

Этот новый студент еще только вступает в жизнь. Он завоевал ли почти завоевал еще только два первых курса. Его тип еще только кладывается. Он еще не привлек к себе внимания литературы. Да и е до него пока ей, ибо перед ней стоят пока более важные, насущ-ые задачи, настоятельно выдвигаемые жизнью. Эти последние во-росы пока привлекают все внимание литературы.

А все-таки к этому новому студенчеству нужно приглядеться. С им надо познакомиться, ибо близко время, когда это новое студен-ıество вступит в ряды строителей новой жизни.

Поэтому нужно приветствовать появление в Москве нового не-ольшого журнала „Пролетарское Студенчество", являющегося „орга-ом Московского Бюро студенческой фракции Р. К. П. и революцион-ого студенчества".

К сожалению, нужно сознаться, что первые номера этого журнала 'радают серьезными недостатками.

Редакция журнала не хочет отстать от других журналов: она одражает им. Она гонится за литературными именами, желая щего-ıть ими. В результате мы находим в журнале ряд статей, иногда ıтересных, но не имеющих никакого отношения к студенчеству. А ежду тем задачей журнала должно было помочь новому революцион-

ному студенчеству осознать себя, выявить свою физиономию, познакомить посторонних, интересующихся читателей с новым нарастающим типом. Поэтому—думается мне—главное место в журнале должны занимать статьи самих студентов или статьи о новом студенчестве. А такого материала первая книжка дает немного.

Гораздо больше дает в этом отношении первая книжка нового петербургского журнала „Новая Россия", в которой помещены две статьи: „Молодежь" Ю. Фаусек и „Рабфаки и студенчество", подписанная „Профессор".

Недостатком статьи Ю. Фаусек является то, что автор говорит о современных студентах (или вернее о студентках), как о едином целом, не различая два резко разграниченные типа—старых и новых студентов. А между ними есть глубокая разница, которая сразу чувствуется, как только приходишь в столкновение со студенчеством.

Студенты старших двух курсов еще не примирились с революцией. Они настроены к ней более или менее враждебно. Коммунисты имеют среди них мало сторонников. С другой стороны большинство их относится апатично, без интереса ко всему, что выходит за границы той науки, которую они хотят изучить как ремесло. А если они и интересуются чем-нибудь, то или какой-нибудь идеалистической философией, или подходят к интересующей теме с какой-то академической точки зрения. На публичных лекциях, на посторонние специальности темы эта категория студенчества ходит сравнительно мало. Многие из этих студентов принимали прямое или косвенное участие в борьбе против революции,—некоторые из них были в рядах белогвардейских армий. Эта борьба, кончившаяся для них и их единомышленников поражением, придавила их и наложила на них печать уныния.

> Не расцвел и отцвел
> В утре пасмурных дней.
> Что любил, в том нашел
> Гибель жизни своей.
> Дух уныл, в сердце кровь,
> От тоски, замерла...

Эти стихи Полежаева часто вспоминаются мне, когда я сталкиваюсь с этим типом современного студенчества или наблюдаю его.

Молодежь первых двух курсов представляет совсем другую картину. Здесь гораздо более бодрое, живое настроение. Большинство этой молодежи сжилось с революцией. Многие из них боролись за революцию на фронте, рискуя жизнью, выстрадали ее. Революция воспитала их демократами. Они не боятся труда. Процент коммунистов среди этой части студенчества значительно выше. Многие до университета прошли через кадры коммунистического союза молодежи Так, среди студентов, принятых в 1921 г. на медиц. факультет в Москве коммунистов оказалось 37%. Значительный процент среди них составляют рабфаки. Но даже и студенты не коммунисты из молодежи в большинстве сочувственно относятся к революции. На студенческих собраниях эта беспартийная молодежь часто выступает на защиту коммунистов, когда на них начинают нападать студенты старших курсов. Среди них более интереса к вопросам, выходящим за рамки узкой специальности. Коммунисты играют среди них руководящую, организующую роль. Процент коммунистов в выборных студенческих организациях выше—а иногда значительно выше—того, какой полагался бы им, судя по их

количеству: беспартийная молодежь, часто голосует за коммунистов, как за более энергичные и передовые элементы.

Таковы мои впечатления от современного студенчества, которые я вынес, поскольку мне приходилось сталкиваться с ним.

Некоторые места статьи Ю. Фаусек заставляют думать, что, описывая современную молодежь, она имеет в виду вторую категорию студенчества...

Революция длится уже более пяти лет. Уже с первого своего дня она расстроила работу в средней и высшей школе, а это тяжело отозвалось на уровне занятий учащихся. Суровая жизнь не позволяла студенту или ученику средней школы сосредоточиться на ученьи. Школа давала ему мало. Часто жизнь надолго отторгала учащегося от школы, при чем не только не усваивалось за это время ничего нового, но забывалось и старое. В силу всего этого уровень знаний большинства современных студентов чрезвычайно низок как в области общего развития, так и в области наук, ими изучаемых. В этом громадная разница между современным студенчеством и молодежью семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов.

В одной из статей журнала „Пролетарское Студенчество" мы находим, например, такие сведения, рисующие уровень знаний современной молодежи:

„Был ряд случаев в практике испытательной комиссии, когда студенты не знали самых простых вопросов из курса элементарной математики. В отношении общего развития картина не менее печальная. Большинство оказалось совершенно не в курсе событий переживаемой нами эпохи и абсолютно чуждыми вопросов общественной жизни. Так, один из студентов не мог ответить, что́ такое Донецкий бассейн, и, когда ему стали задавать наводящие вопросы, он сказал, что слово „бассейн", очевидно, имеет отношение к внешней торговле. Резко пониженный уровень общего образования и общего развития— вот общее впечатление от испытаний".

Но студенчество само чувствует и сознает недостаток своих знаний и всеми силами стремится восполнить его.

„На разных курсах, недельных, месячных и годичных, сколько бы их ни открывалось,—пишет Ю. Фаусек,—всегда были и есть слушатели; и все народ занятой, все работники, служащие в разных учреждениях, большею частью педагогических. Многие из них после тяжелого дневного труда, особенно, если работа была с детьми, находят в себе силы приходить вечером на курсы, часто издалека, с окраины города, пешком; некоторые приезжали из окрестностей, оставались где-нибудь ночевать и рано утром на другой день отправлялись обратно".

И г. Ю. Фаусек, „Профессор" и ряд заметок и статей в журнале „Пролетарское Студенчество" единогласно констатируют „страстную жажду знания" среди молодого студенчества и в особенности среди слушателей рабочего факультета. Эта молодежь идет на всякие лишения, лишь бы получить доступ к знанию. Г. Фаусек рассказывает про группу молодых студенток, которые, чтобы добраться до Петербурга, должны были 6 суток плыть в лодке, подвергаясь опасности нападения бандитов. Она рассказывает про других студенток с далекого севера из местностей за Архангельском, за Мурманом. Им, чтобы добраться до жел. дороги, приходилось часто издалека итти пешком. Одна девушка прошла так 200 верст. В Питере она живет впроголодь, не получает из дому ни денег, ни продуктов и учится изо всех сил.

Вообще условия жизни современного студенчества очень трудны. „Большинство живет маленькими коммунами: в комнате, где помещается 4-6 человек. Эти четверо-шестеро представляют коммуну, в которой все продукты соединяются вместе, и неимущий считается таким же полноправным членом, как и имущий".

„Они учатся. С утра переходят они из одной холодной аудитории в другую, с одной лекции на другую... В кабинетах пальцы стынут от стужи, но они работают, сколько возможно. Нужно готовиться к лекциям, просматривать прочитанные, сдавать зачеты, писать рефераты. У себя в комнатах заниматься совершенно невозможно: опять-таки выбирают наиболее теплую комнату, топят там печку и собираются большой компанией, сидя вокруг „буржуйки" прямо на полу, и занимаются. Но чаще всего это происходит на кухне, у оттопившейся плиты. Тускло светит лампа, повешенная высоко под потолком большой высокой кухни. У плиты, тесно сбившись группами, сидят девушки. Головы их близко одна к другой склоняются над одной книгой... Книг нет; по одной книге приходится учиться нескольким сразу, и она переходит из рук в руки, от группы к группе. Устанавливают очереди зачетов; волей-неволей приходится затягивать их сдачу. Читать вообще для себя некогда, и книги доставать трудно, но их все же достают и все же читают; читают книги по педагогике, психологии, философии, литературе".

Во времена царизма студенчество организовывало тайные, нелегальные кружки самообразования. Теперь такие кружки устраиваются, конечно, вполне открыто, при чем главными организаторами являются студенты-коммунисты, как наиболее энергичный элемент студенчества. Кружки эти изучают политическую экономию, историю революционного движения, историю русской литературы и т. п. Устраиваются студенческие клубы.

„В прошлом году в институте,—рассказывает г. Фаусек,—функционировал районный клуб, где главное участие принимали курсистки. Клуб работал очень хорошо и много давал студенткам для души. Были разные кружки, в которых они принимали участие и помимо лекций приобретали и теоретические и практические знания: учились ремеслам, музыке, выразительному чтению. Особенно хорошо был поставлен курс музыки... Если вы пойдете на любую лекцию, доклад, дискуссию, где бы они ни читались, большинство слушателей—молодежь и преимущественно женская. С какой жадностью слушается все и с каким жаром обсуждаются вопросы выслушанного на той же кухне в институте. Мысль бьется, чистая мысль, чистое знание".

Но этому стремлению к знанию мешает то, что многим студентам и студенткам приходится зарабатывать себе целиком или в значительной части средства к жизни. А коммунистам сверх того приходится еще вести работу в партии. Значительная часть членов коммунистической ячейки московских студентов-медиков, по словам т. Борисова в „Пролетарском Студенчестве",—„обслуживает районы в качестве лекторов, агитаторов, по работе среди женщин, по ликвидации безграмотности и т. д. Работа в районном студенческом клубе имени Тимирязева тоже уже начинает налаживаться; уже организован целый ряд кружков. Очередная задача ячейки вовлечь всех членов в работу и упорядочить их обязанности, так как некоторые товарищи так перегружены партийной работой, что лишены возможности не отставать в своей академической работе".

А вот как рисует жизнь коммунистической ячейки саратовского студенчества корреспонденция в № 2 „Пролетарского Студенчества“:

„Бюро объединяет 10 ячеек с общим количеством 250 членов. Регулярно созывают общие собрания фракции для обсуждения принципиальных вопросов, совещания секретарей ячеек, различные объединенные заседания... Почти во всех ячейках организованы марксистские кружки, где ведутся занятия по строго разработанной программе под руководством теоретически подготовленных товарищей. Ряд товарищей посещает партийные школы. Бюро издается научно-политический журнал—„Высшая Школа“... Сильно тормозит работу перегруженность многих членов фракции разными партийными обязанностями и поручениями партийных комитетов, принявшими хронический характер... Последняя мобилизация вырвала значительное количество студентов-коммунистов“.

Вот, наконец, несколько строк из корреспонденции из Томска, помещенной в том же журнале:

„Коммунистическая ячейка ВУЗ'а Томска, кроме ответственной и трудной работы по ВУЗ'у, в рабочих и красноармейских ячейках, школах II ступени, сплошь и рядом ставится перед фактом изъятия из „высшей школы“ товарищей для переброски в уезд, на копи, ссыпные пункты и т. п., что несомненно сильно отражается на академической работе коммунистов“.

* * *

Особенно интересную группу среди современного студенчества составляют студенты рабочего факультета—так называемые рабфаки.

Если вообще громадна жажда знания среди современной молодежи, то среди пролетарской молодежи, для которой наука до сих пор была под семью замками и семью печатями, эта жажда еще громаднее. Вот, например, как рассказывает об этой жажде г. Ю. Фаусек:

„Мне приходилось слышать от девушек, бывших прислуг, портних, слушающих лекции на рабочем факультете, что они хотят теперь непременно быть „образованными“. Под этим словом еще недавно у таких же девушек, прислуг, отпускаемых иногда своими господами по воскресеньям в клубы для работницы, которых было, кажется, всего два в Петербурге и то под строгим контролем полиции, подразумевалось стать похожими на своих барынь, одеться по-модному и уметь писать письма; теперь же, когда я спросила, что это значит быть „образованными“, одна из них сказала:

— А вот географию надо знать, да еще алгебру.

А другая ответила:

— Да как же можно быть образованной без грамматики, я вот теперь синтаксис прохожу и совсем по-другому книжки понимаю, а когда пишешь, над каждым словом задумываешься, и так чудно кажется, что и слова друг другу, как люди, подчиняться должны.

— Не хочется итти назад, в нашу темноту,—говорила мне третья;—пусть я буду работницей, как и прежде, только жить хочу с „образованными“.

А вот как характеризует рабфаков „Профессор“ в № 1 журнала „Новая Россия“:

„Те образчики рядовых „рабфаков“, что попадали в мое поле зрения,—это все народ скромный, духовно крепкий, работящий, искренно относящийся к свету. Тип, должен сказать, необычайно

привлекательный и многообещающий. Их основной интерес—в приобретении знаний, на которые они набрасываются прямо с жадностью, пламенея самой чистой, даже восторженной верой в спасительность и величие науки. Эта вера помогает им, людям уже взрослым и жизненно зрелым, упорно сидеть над заданиями, которые своей сухостью способны отпугнуть школьника-подростка и не всегда ставятся перед ними с достаточным педагогическим пониманием. Они выносят по восьми часов в день напряженнейшей школьной работы, несмотря на обстановку, далеко не беспечальную".

„Материальное положение „рабфаков" вовсе не так блестяще. Вся система их занятий совершенно исключает возможность постороннего заработка, а казенное обеспечение—скудно, при том же и неверно. Вот вам „рабфак", который вынужден был последний свой летний отдых использовать на то, чтобы пробраться на юг и раздобыть там несколько пудов муки. Но ни одной горсти ее он не мог взять себе, потому что у него на руках семья, которая живет вне Петербурга и без его помощи не может существовать. Изнуренный продовольственной экспедицией в телячьих вагонах со всеми современными удобствами, он вернулся, чтобы продолжать занятия, буквально без куска хлеба и без гроша в кармане. А тут его встретила новость: он, как и его товарищи, оказались снятыми с государственного снабжения, на том основании, что завод, его командировавший, должен ему выплачивать средний заработок, пока он учится. Но пока завод раскачался выслать хоть что-нибудь, прошло несколько месяцев, „рабфак", как и его коллеги, сидели „буквально без ничего", и все-таки продолжали усердно учиться. Как они умудрились не умереть с голоду за эти долгие месяцы,—это их секрет".

Рабочие факультеты—учреждения новые; они еще только организуются. Это еще более увеличивает тяжесть материальных лишений и неудобств, которые выпадают на долю студентов этих факультетов. Приезжая осенью на занятия в какой-нибудь вновь открытый рабочий факультет, его студенты часто решительно не знают, где найти приют. В корреспонденции из Орла, помещенной в журнале—„Вестник рабочих факультетов", сообщается, например, что „студенты в буквальном смысле слова живут на улице, совершенно не имея приюта, и таких, к сожалению, почти одна третья часть всего состава".

Для устройства общежития вновь организуемым рабочим факультетам часто дают совершенно неприспособленные для жизни помещения, которые студентам приходится отделывать собственными силами. В Костроме, например, рабочему факультету было предоставлено для устройства общежития здание, в котором не было абсолютно никакой мебели, и часть приехавших студентов, „не имея ничего лучшего, поселилась в этом здании и живет без коек, без столов, без табуреток и т. п.". Плохо обстоит дело и с отоплением. Часто топливо студентам приходится заготовлять собственными силами. Об этой работе студентов рассказывает ряд корреспонденций в журнал „Вестник рабочих факультетов". В Иркутске, например, осенью занятия были прерваны на месяц и студенты были отправлены на заготовку дров и добычу угля. Они заготовили 200 сажен дров и 25.000 пудов угля. В средине лета они снова приступили к работе по заготовке топлива на зиму и на этот раз добыли уже 1.000 саж. дров и 60.000 пудов угля. В корреспонденции из Ельца сообщается, что „в течение весеннего триместра все мысли студентов были направлены на то, чтобы помочь президиуму оборудовать рабфак и заготовить на зимний период дрова". В Минске

уденты рабфака образовали хозяйственную комиссию, которая должна ıла заготовить топливо, оборудовать общежитие и заботиться о своеевременном снабжении студентов продовольствием.

В корреспонденции из Костромы рассказывается, что работы по готовке топлива студенты рассматривают, как трудовую повинность. 'и работы студенты должны выполнять сами; нанимать на работу ıесто себя другого нельзя: Это рассматривается, как нарушение труıвой этики. „За нарушение трудовой этики, выразившейся в найме ıесто себя другого, было возбуждено соответствующее ходатайство ред президиумом рабфака об исключении его из числа студентов .бфака, что проведено в жизнь одобрением общего собрания студентов. :от факт был некоторым моральным воздействием на малосознательıх товарищей, после которого подобные случаи не повторялись".

Кроме оборудования общежитий и заготовки топлива, студенты ıбочих факультетов в некоторых городах устраивают огороды. При ркутском рабфаке устроена сапожная мастерская, которая „обслуивает силами студентов нужды студентов и преподавателей, как ıбфака, так и университета".

Но хотя материальное положение студентов рабочих факультетов тяжело, они охотно откликаются на нужды тех, кому живется еще желее. Они охотно приняли участие в организации помощи голоıющим. В Орше они устроили для этого специальный воскресник и ıостановили производить ежемесячные отчисления от своего пайка размере 5% до того момента, когда отпадет надобность в таком :числении". Некоторые студенты сами, добровольно, совершенно откаıвались от своего пайка в пользу голодающих. В Костроме студенты ıбфака постановили отчислять в пользу голодающих 25% своего ıйка.

С каждым годом рабочие факультеты будут вливать в универıтеты все бо̀льшее количество своих слушателей. По данным одной ı статей журнала „Пролетарское Студенчество" в 1921 г. на медиıнский факультет в Москве было зачислено 17% рабфаков. Из другой гатьи того же журнала мы узнаем, что в Казани рабфак имеет 424 студента. В третьей статье того журнала же мы читаем:

„Правда, пролетарские элементы среди медицинского студенчества ока еще в меньшинстве, но своей активностью и организованностью ни уже завоевали себе определенное положение. В их лице Советская ıасть уже обрела надежную и серьезную опору в деле проведения воих начинаний в области строительства пролетарской высшей школы".

Со времени октябрьской революции состав и физиономия русского студенчества резко меняются. Студенчество перестает быть тем плотом буржуазного либерализма, каковым оно было перед революıией. „С притоком в высшую школу все большего количества пролеıрских элементов за последние годы влияние коммунистического стуенчества все растет и крепнет, и, если еще в прошлом году незнаıтельная группа коммунистов буквально утопала в этом буржуазном оре старого студенчества, то в настоящее время коммунисты на едицинском факультете представляют собой организованную и внуıительную силу".

Письма о поэзии.

(„Сестра моя жизнь“ Пастернака.)

Ник. Асеев.

Прежде и после всего. Условимся изъясняться без специальных терминов, якобы понятных друг другу и маскирующих обоюдную враждебность, недоговоренность, неприязнь. Условимся говорить без бравады, вдвоем, с глазу на глаз. Я знаю, многие усмехнутся наивности этого метода. Знаю, что многих, в особенности „спецов“, не удовлетворят недостаточно строгие рамки беседы. Но думаю, что когда нужно научить человеку человека языку чужому, и такому трудному, как живой язык поэзии, если при этом учитель не педагог, а ученик так прыток, что хочет здесь же в один урок обучить учителя своему темпераменту, право же, этот метод не плох. Этот метод—вслух, нараспев, заглушая могущие и не быть возражения только силой своего голоса, врезать, вжечь его в память слушателя настолько, чтобы он по чуждым ему звукосочетаниям загрустил о стране, в которой они в данный момент произносятся; чтоб он мгновенно или хотя бы только на мгновение, проник, пронизал и вобрал в себя весь воздух ее полей, весь говор ее базаров.

Но разве поэзия настолько чужая страна, чтобы ее языку нужно было обучать соотечественников? Поостережемся здесь парадоксальности такого утверждения. Но с оговорками оно должно быть принято. В самом деле. Разве она—страна эта—не представляема одними в виде ледяной пустыни, в которой спят, окостенев навеки, когда-то сотрясавшие ее мамонты? И другими—не мыслится ли она оазисом экзотического краснобайства—переводчицей скучных песен земли на язык взыгравших стихий?

Третьи... Но о третьих ни слова. Там Эллада, там система, номерочки музея, каталог и „священная тишина“. А на самом деле страна поэзии—это, конечно, то, что каждым днем путеводится в блеске его озарений. Каждым днем открывается, как огибаемым мысом, за которым—мелочи и встряски, куда весомее, чем фолианты прошедшего. Но о вкусах не спорят только люди с катарром. А потому об этой истинной, а не умозрительной, стране поэзии давай поспорим, поссоримся, быть может, но не разойдемся учтиво, не услышав друг друга. Потому что в этой стране мы с тобой оба живем, дышим, болеем, радуемся. Мы с тобой, а не я один и какие-то избранники, получившие домашнее воспитание со многими языками.

Итак, читатель, я постараюсь возражать себе за тебя. Постараюсь обрушиться на себя со всей тяжестью твоего непонимания, твоей правой обиды, твоего неотъемлемого права требовать точней-

ших разъяснений, потому что встретились-то мы с тобой сейчас не во сне, не в лесу и не в древней прекрасной (наверно) Элладе. А в истинной, истинной стране поэзии, окружающей нас вплотную, как рыбу окружает вода.

Итак: что же есть истина? По-моему она—выразительность. Она—выразительность хотя бы уже потому, что выразить ее нельзя иначе, как единовременно по-разному в отдаленнейших частях света. Она приходит внезапно поветрием, она окружает со всех сторон сразу с одинаковостью напряжения. Ей сдаешься без боя, хотя и на почетных условиях сохранения старого оружия, как свидетельства сопротивления. Но каково оружие поэзии? Не только ли страшная близость звучаний, толкающая на смешение словесных кровей? И если она сдаст в арсенал свои каменные копья и стрелы, свои пращи, которыми в мифах она побивала Голиафов мещанства, реформаторства, сторонников эволюции без судорог—с чем, как не с голыми руками жизни, пойдет она против ощерившегося львиного зева усталости, разложения, духовной реакции? Да она и пойдет так—но руки ее станут стальными, в ее мускулах охолодеет досель расплавленная лава—она станет гибким механизмом речи, способным сопротивляться острым клыкам прошлого дня.

Читатель, ты возражаешь? Вчерашний день,—может быть, он и есть твой завтрашний? А мой последующий,—может быть, давно изжит и изношен тобой? Но это не правда потому, что даже у петуха есть предчувствие зари. Потому что даже камень каждое утро умывается снова и снова. Потому что, в конце концов,—а концы концов придут и для тебя и для меня—ты не отдашь в конце этих концов даже получаса идущего пред тобой за века, тобой прожитые. Одним словом—спору об относительности здесь не место; спору об оружии—также место в методологии. Мы же в живой стране, грохочущей биением сердца жизни. „Сестра моя жизнь". Не сестра, а любовница его жизнь в книге. Любовница мощная, грозовая, высокая. Его сады и степи—почти запретное чудо внушения. Он близок к гипнозу строкой. Почти болезненно действуют строфы. Их разряд непереносим, как слишком близко ударившая гроза. И я не знаю, как может вместить человеческое сердце такую остроту напряжения! Читатель, ты возражаешь. Ведь это все—только восторги. Это еще не определения. А в чем же ключ к запертым этим садам?

Ты прав. Я тебе постараюсь ответить. Ключ—в длине волны, посылаемой радио в пространства. И если приемник знает эту длину—он всегда услышит этот, тайный только для невежд, шифр. Он ничего не затемняет: он—только способ не смешаться с другими волнами, пересекающими горизонт. И здесь встает ответ на возражение в асоциальности, в индивидуализме, навертывающиеся на язык вместо личности, своевременности. Ведь не пространственно же только мыслится общественность!? Ведь лишь в пол-поворота стоит Ленин в отношении своего дня, не интересуясь правильностью течения каждой минуты. Какими-то иными отрезками измеряет он время, измеряет он человечество. Если это делает „реальный политик", если он не знает иного пути, то как же быть с „сестрой моей жизнью" поэту? Неужто же выдать ее замуж, холодно, по расчету—то ли за нэповца, то ли за культуртрегера, цепляющегося трясущимися руками за обломки все того же „великого прошлого"?

Читатель, ты возражаешь: не нэповец, не культуртрегер—есть еще средняк, „человек просто", ты, я, гражданин вселенской Респу-

блики, свободный от предрассудков, рабочий, наконец, чья психология должна лечь первым венцом в здании строющегося миросозерцания.

Это—худшее из неправд. Этого середняка, этого „человека просто“ нет. Есть добрый французский буржуа, советский чиновник, американский „босс“, но человека „просто“ нет. Все они обременены всем грузом их детства, их юности, воспоминаний, привычек, культуры. И их они пока не хотят отдать за полчаса идущего впереди них. Их сознание выкристаллизовалось даже не в бытии, а в быте. Недаром двойные ренегаты („Наши за-границей“) возбуждают умиление в их сердцах. Ибо это—их быт, их установленное знакомое мироощущение.

И напрасно т. Ленин призывает не верить словам. Все равно им верят, а дела, события, поступки зачеркиваются, как черновые строки! Да и как же не верить словам, если они такие скользкие, простые, вялые, понятные—„психологически преемлемые“.

А рабочий? Рабочий, это—большое слово. Но ведь признайся, читатель: рабочий—кажется тебе—это тот, которого прежде всего можно нанять. Ведь не мыслишь же ты себе такого рабочего, который бы, зная радость труда, начал бы с песней без расчета ворочать глыбы твоего и моего мозга. Ворочать, поднимать, становить на дыбки?

А между тем необходимость взять на учет все виды энергии, необходимость электрификации воли ясна для всех. Большая область имеющейся энергии не использована. Эта энергия—воля к творчеству. Рабочая воля. Точно так же, как из материи—сырой и необработанной—вырастают вещи, организованные формально, так из материи мысли, ткущейся в бытии, ткущейся сестрой нашей жизнью, из материи разумного напряжения оформливаются познавательные процессы человечества. И разница ощущения мира вырастает на почве непосредственного соприкосновения с материалом, обращения с ним, познания его.

Человек, обращающийся с сырыми кожами, низок, мускулист, широкоплеч, напитан запахом этих кож; он груб в движениях, так как ему приходится напрягать все усилия для разминки ссохшихся, закорузлых кож.

Он и мир из своей работы видит—грубым, требующим насилия, надутых жил. Он смотрит на него жестко и пристально.

Другой—драпировщик. Он по-другому видит мир; он выбирает из него соцветия и складки, необходимые ему для подбора тканей, для расположения их в таком-то и таком-то мировом порядке.

Так поэт должен быть груб и разборчив одновременно. Он мнет сырую кожу языка своего века, создавая ему обувь, по следу которой узнают этот век грядущие. Он же убирает в цветные ткани сегодняшний день. И вот к такому ремесленнику предъявляются контр-требования: мягкости и одноцветности. Мягкости—так как разве же совместима грубость с шевровым ботинком? Одноцветности—потому что пестро и больно слабым нашим глазам. Ведь мы и в природе-то семь канонизированных цветов путаем чаще, чем номера телефонов.

Читатель, ты возражаешь: во-первых, почему ремесленник. Ведь всем известно, что ремесло и искусство не равноценны, что техника и талант совместимы, но не обязательно совпадают и т. д.

Однако, почему же тогда ни один союз печатников не примет в свое лоно литератора, поэта? Почему так опасаются этого „высшего“ вида техники?

А потому, что инстинктивно настоящий рабочий, даже и теперешний, еще ландскнехт труда, чувствует себя прочнее, прикрепленнее

к миру и его сердцебиению, чем—в большинстве случаев—в павлиньи перья выряженная ворона лени, похоти и идеологического киселя, каковой является до сих пор не признающий законов труда человек „свободной“ профессии.

Потому что этот последний, в огромном большинстве своем, является не производителем, а наследником какой-нибудь идеологии, чьих-нибудь редких уникумов, а то и просто затейливых побрякушек.

И потому, наконец, что, как следствие предыдущего, у него, у „творца“ за редчайшими исключениями, отсутствует дисциплина волевых и мышленных напряжений. Он живет взвивом, взрывом, возмущением воды. А так как ангелов в наши дни ожидать тщетно, то вода-то в большинстве случаев остается не возмущенной, а лишь замутненной слабыми конвульсиями бесформенных переживаний.

И не даром наши „жрецы искусства“ так тяготеют к группам и школам. Одному, слабовольному и живущему порывом, сиротливо одиноко и неуверенно. Нужно рядом чувствовать такое же мягкое, слабое, теплое плечо. Вот и собираются в стада, в косяки и отары. Так как прислониться к огромному плечу времени, почувствовать его трепещущие биением жизни мускулы—нет силы и воли. Быть внешне одиноким и внутренне скованным с веком—нет темперамента. Отсюда—ориентировка на какой-то специфически-поэтический язык, на специализированный образ, высиженный, вылелеянный совместно двадцатью-тридцатью содружественниками и воспринимаемый еще двадцатью-тридцатью противниками, ради выдвигаемого своего.

Отсюда вновь возрождение руссофильского „Ой ты, гой еси, добрый молодец“, начет, стилизация и, в конце концов, первоначальная анархия, хулиганская кепка, лихо заломленная на бок, или же, что еще отвратительнее, смиренномудрое припадание к стопам идеалистической философии и признание ее единственным существующим складом идеологических ценностей.

И среди этой ернической, рваческой, судорожной погони за известностью, среди ползающей у ног прошлого (пусть „великого“—мы не спорим) психологии, уже вырастают вещи и личности, способные противостоять общей дезорганизованности в искусстве, способные силой своих плеч поднять и вынести волю к труду на берег будущего.

Как узнать поэта? Кропотливым ли изучением всевозможных поэтик и эстетических теорий? По схожести ли его черт с общепризнанными профилями гениев? Нет, здесь возможны ошибки и заблуждения. По трудности усвоения выразительности, по прикованности к ней глаза, по мучительному усилию, все же оправдывающемуся завоеванным новым взглядом на мир. *Если поэт тебе труден и все же с ним жаль расстаться, если эта трудность утомляет, но не отталкивает,—перед тобой твой, за тебя запевающий современник.* Остерегайся, читатель, иллюзии легкости постижения: завтра ты о ней не вспомнишь, об этой легкой наживе. Она, как вода сквозь пальцы, уйдет, оставив пустыми руки. Сколько их за твою жизнь прошло сквозь пальцы. Бальмонт, Северянин и десятки других. Вспоминаешь ли ты их теперь? А ведь их легко было усвоить. Ну, там немного новаторства, немного рискованных положений—и уже согласился, уже „приемлешь“. А через день—год—пустые пальцы и разбитое корыто „литературного кризиса“.

Мы все слепорожденные для завтрашнего дня, но, как выпуклая азбука, лежат перед нами строки сестры нашей жизни. Почему бы нам не научиться читать осязанием этих знаков? Все равно ведь мы их не

увидим, даже когда они раскроются перед нами. Но на-ощупь, концами пальцев, пробежим и прислушаемся к их твердой речи.

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

Не будем ими, читатель. Брелоки и привески наших вкусов, желаний, смутных и мгновенных ощущений сменим на язык горячий, мятущийся, ощупывающий вновь весь мир, давая ему свои имена, свои соотношения, на ясный язык „целесообразной бесцельности", против которого:

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно—смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Ты чуешь, читатель, как странно и сладко звучат слова этого языка? Как его определения, при формальной их логичности, далеки от определений обычных, наскоро сделанных по трафарету, так называемых „поэтических образов"?

С чем сравнить себя человеку? Человеку, всего себя врастившему в пейзаж, кругозор, в окружающие его бури и грозы? Обычно максимумом ощущения бывает аналогия с выхваченным из природы отдельным впечатлением: бури, грозы, дерева, спаленного молнией и, в крайнем случае, для подновления впечатления—с импрессионистически подмеченным кустом: „осыпается, мол, головы моей куст". Но услышать напряженность всей тишины, отнять у нее трагичность ее роста, увидать себя в ней, как в зеркале—это почти что „сказать то, чего ты не можешь сказать".

Вот он „Плачущий сад":

Ужасный! Каплет и вслушается:
Все он ли один на свете?
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или—есть свидетель?

Но давится внятно от тягости
Отеков земля ноздревая
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев,
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое: скатывается
По кровле за жолоб—и через.

Смотрите, как впаян, не выделяясь ни движением, ни тенью в эту, готовую прорваться грохотом, тишину человек:

К губам поднесу и прислушаюсь
Все я ли один на свете
Готовый навзрыд при случае
Или есть свидетель?

Но—тишь. И листок не шелохнется,
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плесканья в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

Не будем приводить больше цитат, ограничась этими первыми попавшимися. В „Сестре моей жизни“ характерна каждая строка. И думается,—читатель, уже затронутый ее необычайной четкостью, сам отыщет его отражающие строфы.

Книга органически цельна. Она выросла под новым небом преображенного мира. Ее главное значение—в новом, сделанном поэзией шаге от замызганного, разъятого на части версификаторами размера, метрического, к живому языку речи; конструкция строф часто едва поспевает за рвущимся шифром посылок. Дисциплинированная мысль все время совершает такие чудеса технических возможностей, за которыми стоит только свобода импровизации. И вместе с тем это не импрессионизм, потому что выбор средств так строг, скуп и ограничен поэтом, что удивляешься неожиданному многообразию достижений. И всем, скулящим о „простоте“ гения, хочется указать на эту просквожающую через время простоту Пастернаковского метода, который, конечно, никогда не схож с усвоенной уже нами сложностью бывших до него разминателей кож речи.

После воздушного мальштрема, образовавшегося за походкой Маяковского, воронкой втянувшего в себя все попытки „обособиться“ в работе над словом, „Сестра моя жизнь“ является новым трамплином песен, новым поводом отыскивать, как будто уже найденное, сокровище общения людского через слово. Конечно, никто не будет так прост, чтобы утверждать, что все пути уже исхожены, что вот эта попытка последняя, за которой люди перестанут пытаться быть выразительнее.

Но свежий и светлый ливень, проливающийся на нас со страниц книги Пастернака, дает нам уверенность сказать, что близки всходы тучного урожая человеческой мысли, предшествуемого громами и молниями наших дней.

II. Литературные силуэты.

С. Есенин.

П. С. Коган.

I.

С первого взгляда, как-то непонятно, почему волнует поэзия Есенина, почему звенит звоном простора и дали без конца и предела, зовет к порывам таким же бескрайным и сказочным, как наше безумное и пьяное время.

Казалось бы, нет поэта, более далекого тому, чем наполнен воздух современности, этим от промышленной Европы занесенным идеям, этой революции без народного лица, без Бога, интернациональной и материалистической, в цифрах и сроках рассчитанной.

Он пришел от беспредельной русской равнины. Он крепко связан с землей, где заросший пруд и хриплый звон ольхи, где бедный крестьянин, как сотни лет назад, боится Бога и болотных недр. В шумный город принес он поэзию народных верований и дедовских преданий, сельских храмов, коровьего запаха и пастушеских песен. Есенин завершает вереницу поэтов, обретших неисчерпаемый источник вдохновения в природе и мифологии крестьянской Руси, в ее своеобразной мудрости, в ее красочном и образном языке.

Что общего между вихрем, вырывающим из земли корни векового уклада, и душою, расцветшей из этих корней, душою, которая жаждет молиться старому Богу, поклониться придорожью, припасть на траву?

Он знает, что ему не уйти от пленительных чар этого мира:

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Горе и тяжесть;—против них верная защита—крест и молитва. От рождения поверил он в „Богородицын покров". Колыбель его охранял Христос и святые, и до сих пор он продолжает их видеть среди родных лесов. Христос мерещится ему „Между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус". А ласковый угодник Микола, как и встарь, в лаптях и с котомкой на плечах ходит мимо сел и деревень, ходит „милостник" неспешной стопою, наклонивши лик свой кроткий. В этом эпическом мире, откуда вышел Есенин, неведомы гордые пути организованной человеческой борьбы за свое счастье. Бесконечный край бессилия и невежества, в рабской покорности ждет ограды от бедствий из тех далеких облаков, откуда светит и животворное

солнце, откуда приходят и опустошительные грозы. Господь с престола посылает Миколу, своего верного раба, обойти русский край, защитить там „в черных бедах скорбью вытерзанный люд". Всюду, где злые скорби поражают человека, он, жилец страны нездешней, приходит исцелить печаль забот, он, слуга давнишний Бога, молится „в алых ризах кроткому Спасу" за православных христиан.

II.

Вот эту смиренную Русь любит Есенин. К ней прилагает он эпитеты мирной и кроткой. Русь—„милая родина, сладкий отдых в шелку купырей". И даже тогда, когда грянул гром, и „повестили под окнами сотские ополченцы итти на войну", он постигает поэзию покорности в том, как „мирные пахари" собирались в поход—без печали, без жалоб, без слез.

Вместе с Тютчевым и Блоком он любит убогую Русь с ее однообразной природой, „край забытый, край родной", грустную песню—русскую боль, поля как святцы, рощи в венчиках иконных, дрожащую рябину. „Край заброшенный, край—пустырь, сенокос некошеный, лес, да монастырь", любит редкие забоченившиеся избы, их крыши, „запенившиеся в заревую гать", богомолок, идущих по дорогам.

Себя в своих грезах он видит убогим странником, „поющим о Боге с вечерней звездой". Он—светлый инок, бредущий в скуфейке степной дорогой к монастырям, с посохом и с сухим кошелем из хворостинок. Он странствует, как русский странник, в поисках вселенской правды, он хочет „концы земли измерить по отуманенной росе, и в счастье ближнего поверить на взбороненной полосе". Он „все встречает, все приемлет".

Эта „смиренная" Русь, Русь крестьянская, в наши дни стоит страшной и еще не разгаданной загадкой. С этой ли кротостью, молитвами и покорностью брать на себя миссию освобождения человечества! Ведь им, до сих пор не разгаданным русским крестьянином, быть может, решается сегодня дальнейший путь не только русской, но и европейской истории. Ведь здесь, среди этого необъятного темного моря, загорелся светильник последнего восстания, началась первая стычка последней битвы между трудовым и паразитическим человечеством. Зажжется ли это темное море самоярким светом, или зальет и загасит пылающий красный светоч? О чем шумят листья таинственных лесов, что несут революции молчаливые равнины и что происходит там, в глубине души многомиллионной деревенской массы?

Перед тайной крестьянской Руси все еще стоит в недоумении русская революция. Есть где-то пути, где в грозном согласном реве сливаются стихия народная и стихия международного восстания, где в непостижимом единстве сочетаются религиозное чувство народа и атеистический расчет революции. Но есть и такие пути, на которых их встречи враждебны, и тогда что-то неодолимое, страшное и упрямое возникает там, в глубине деревни и враждебными злыми глазами глядит на бунтующие города.

Эта Русь не только смиренная и кроткая. Там рождались стихийные бунты, бессмысленные и неорганизованные, как все стихийное, но к своей неведомой цели стремящиеся непреложно и прямо, как всякая стихия.

Там патриархальные идиллии усадебно-деревенского быта не раз озарялись заревом пылающих поместий. Там шли вместе с городом

на барина, но потом деревня замыкалась от города и недоверчиво косилась на него. Встреча города с деревней, мужицкого бунта с организованной пролетарской революцией—один из самых запутанных эпизодов переживаемого нами момента.

III.

Поэзия Есенина—хаотична и взрывчата, как наши дни. В его душе сталкиваются и бурлят разнородные чувства и настроения, возникшие в сердце деревенской Руси, перед лицом революции. В глубине России не только горят кроткие лампады и шепчутся тихие молитвы, но это одновременно и „буйственная Русь". И сам певец этой Руси не только смиренный инок. Его одолевают мятежные силы, душа жаждет битвы. И видя, как идут по дороге в Сибирь люди в кандалах, он чувствует в себе безудержную удаль и „нежит мечту", что и он кого-нибудь зарежет „под осенний свист".

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кажется, ему больше всех дано подслушать биение сердца современной деревни, перелить в ясные песни то, что загадочно и глухо звучит в ее неразгаданных глубинах.

И прежде всего стон и рев, и ярость и гибель, все, чем отмечен путь торжества городской культуры и умирания деревни. Город надвигается, как фантастическое чудовище, облегая поле со всех сторон. „Так охотники травят волка, зажимая в тиски облав", и поле стынет „в тоске волоокой, телеграфными столбами давясь". Затравленная бьющаяся в суживающемся железном кольце, деревня дорого продаст свою жизнь. Она припала, как зверь, чует, что „из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки", но последний прыжок—и „двуногого недруга" раздирают на части клыки.

Гибель носится над „миром таинственным", „миром древним". Предсмертная ярость отчаяния—вот чем может ответить деревня городу:

О, привет тебе, зверь мой любимый,
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты, я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты, я всегда наготове...
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний смертельный прыжок.

Тоска перед неизбежным, перед „электрическим восходом", не она ли сжимает душу многомиллионного русского крестьянства, с тревогой глядящего на первые лучи восходящего солнца новой жизни. Безжалостная история перерубает нити, уходящие в даль веков, к временам половецким. И как глубоко чувствует Есенин этот консерватизм деревни. Поезд на чугунных лапах, храпящий железной ноздрей, бегущий по степям и скачущий за ним красногривый жеребенок, закидывающий тонкие ноги к голове,—символический образ столкнувшихся стихий, стального победоносного города и наивной, неведающей природы. Куда он гонится, бедный жеребенок, милый, смешной дуралей, неужели не знает, что живых коней победила стальная конница, ужели не знает, что „в полях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок за коня продавал печенег".

IV.

Деревня—старая мятежница. У ее лесов останавливался не раз поток новой жизни, в ее степях и лугах затихали и глохли идеи и думы реформаторов, об ее вечный покой разбивались волны революций, она кричала „стой!" всякому отважному замыслу, всякому дерзкому начинанию, всякому поступательному движению. У ее границ кончается история.

Она всегда протестует, куда бы ни звали ее: к новой религии, к новым формам политической или социальной жизни, к новой технике, или к новым обычаям. Все это от цивилизации, от искусства. Ее религия, ее техника, ее обычаи—от природы; они развиваются по своим законам. В их нерушимости ее свобода. Поэтому деревня враждебна всему, что не похоже на нее. Ей нет дела до того, что творится за ее пределами, но она не допустит к себе ничего чуждого и непривычного.

Мятеж деревни, это—испытание от природы, от естественных запросов человеческого духа. Это—самое трудное испытание всякой системе, всякой революции. Консерватизм деревни, это—одновременно величайший бунт. Россия—страна крестьянская, потому она кроткая и молящаяся,—Русь „буйственная". Перед ее бунтом оправдана только та система, которая не станет самоцелью, не сожмет в тисках человеческую душу. И потому русские мятежи—мужицкие, от нутра, а не от организованного плана.

Есенин этой мужицкой бунтующей России так же близок, как и России кроткой, смиренной.—В нем живет „задор прежней выправки деревенского озорника". Он—„разбойник и хам и по крови степной конокрад". Ему бы „в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять". Его „отчарь"—мужик, которого учил вере седой огневик: он дал ему пику, грозовый ятаг и отметил его шаг силой Аники. Деревня не знает жертвы и отречения во имя отвлеченных идей или таких благ, оправдать которые может холодный аргументирующий ум. Она не боится гибели, но только во имя ясного для нее счастья. Ее удаль, ее отвага во имя счастья сегодняшнего, а сегодняшнее счастье дается волей, свободой творить свою жизнь, созидать свой уклад по своему, в условиях природы, которой определяются и формы труда, и мысль, и чувства крестьянства. Эту связь своего счастья с этой волей крестьянин чувствует. Вот почему он и практик и герой одновременно. За эту волю он станет горой, за свою вселенскую правду примет смерть и муки, но равнодушен он к идеям и реформам, где не учует связи с сегодняшним днем.

V.

Потому из прошлого перед взором поэта воскресают картины народных движений, в которых он слышит всю какофонию этих противоречий.

„Пугачев"—быть может лучшее из всего написанного Есениным. Потому, вероятно, что не сверху, сквозь очки историка смотрит он на события, а видит простых людей прошлого, их будничные интересы, их повседневные заботы. И нет ничего исторического, большого в этих сценах, а есть обыкновенные люди. От малого начинается движение, сотрясающее империю.

Пришел Емельян из далеких стран в Яицкий городок и о малых вещах спрашивает:

Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ли он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ли здесь, сломав зари застенок,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках от капусты пенных
Челноки ныряют огурцов?
Так же ли мирен труд домохозяек
Слышен прялки ровный разговор?

И так же буднично отвечает ему сторож:

Нет, прохожий! С этой жизнью Яик
Раздружился с самых давних пор.
С первых дней, как оборвались вожжи.
С первых дней, как умер третий Петр,
Над капустой, над овсом, над рожью
Мы задаром проливаем пот,
Нашу рыбу, соль и рынок,
Чем сей край богат и рьян,
Отдала Екатерина
Под надзор своих дворян.

И вот стонет Русь „от цепких лапищ". Народу нет дела до политических переворотов, дворцовых интриг и царственных честолюбцев. Он восходит к историческим событиям от своих „огурцов на грядках". Исторические имена для него образы, вокруг которых он создает легенды, вплетая в них свои радости и обиды. Екатерина нарушила вековой уклад земли, и Петра воображение народное возвело в защитники этого уклада. Пугачев знает, что „люди все с звериной душой, тот медведь, тот лиса, тот волчица, а жизнь—это лес большой, где заря красным всадником мчится". Он умеет затронуть самые отзывчивые струны в душе народа-практика. Да и сам он никаких великих замыслов не питает и своего исторического значения не сознает. Он пришел только для того, чтобы сбросить узду, мешающую жить и работать. И если стал самозванцем, если принял имя Петра, то не потому, что поцарствовать захотелось, а для того, чтобы ускорить дело. Он рассчитал, что этим „кладбищенским планом" можно поднять монгольскую рать, привлечь калмыков и башкир. Ему самому дороже всего его воля и „больно, больно ему быть Петром, когда кровь и душа Емельянова, человек в этом мире не бревенчатый дом, не всегда перестроишь на-ново". Ведь каждый зверь „любит шкуру свою и имя".

В этом опасность бунта стихийного, возникшего из непосредственной жажды счастья, мятежа, не скованного дисциплиной упорной длительной мысли и воли. „Жалко солнышко мне, жалко месяц, жалко тополь над низким окном... научите меня, и я что угодно сделаю, чтобы звенеть в человечьем саду". Этот страшный крик жизни заглушает все другие голоса, звучащие в душе, и соратники Пугачева выдают врагам своего вождя для того, чтобы спасти свои головы, и „как прежде в родных хуторах слушать шум тополей и кленов". К перлам нашей поэзии следует отнести монолог Творогова, ликующий дифирамб цветущей юности, трепещущий ужас перед увяданием и гниением.

VI.

Крестьянская Русь консервативна, и потому бунтовала сотни лет, ибо жила в тисках под романовским режимом, ибо клокотали природные силы и требовали исхода и нашли его только тогда, когда свергнуто было царское иго, когда „отчалила Русь" к искомым берегам. Революция для крестьянства скорее возврат к естественным формам жизни, чем потрясение основ.

Поскольку революция развертывается в путях пролетарского сознания, она во многом минует поле зрения Есенина, но ведь наша революция не движется прямым путем, она оттянута на боковые дороги могучим напором крестьянской стихии, она идет вперед с остановками и уклонами. И бунт Есенина, это—крестьянский бунт, без выдержки, бунт непрочный, срывающийся, и тем не менее близкий и сродный социальной революции. Революция близка ему по необъятности трудовых задач, поставленных ею, потому что ей не войти теперь в берега, пока она не довершит до конца начатого и не перестроит весь мир, ибо на меньшем она не помирится. И сочувствие Есенина прежде всего к беспредельности ее цели. Здесь жертва—не отречение, не аскетизм, а радостное действие, естественная игра сил.

Небо, как колокол,
Месяц—язык,
Мать моя—родина.
Я большевик.
Ради вселенского
Счастья людей
Радуюсь песней я,
Смерти твоей.

Есенин—один из немногих поэтов, душа которого бушует пафосом наших дней, который радостно кричит: „да здравствует революция на земле и на небесах", жаждет битвы и знает, что враги всякого движения, это—„белое стадо горилл". Он чувствует бурную динамику революции, как редкие из наших поэтов. Но он по своему протянул нити от крестьянской исконной воли к ее конечным целям.

Взвихренной конницей мчится
К новому берегу мир
. . . .
Разметем все тучи,
Все дороги взмесим.
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.
Ты звени, звени нам,
Мать земля сырая,
О полях, о рощах
Голубого края.

Критика и библиография.

Василий Казин. „Рабочий май“.

Василий Казин—самый молодой из поэтов Советской России. Таким определением, думается, следует сковать—вне существующих группировок—поколение, звучащее в унисон революции. Такое определение удобно еще и потому, что сразу прорезывает борозду между всеми бывшими сиренами российской действительности,—независимо от того, перевалили ли они благополучно границу Республики или продолжают в ней „удовлетворяться“ академическим пайком,—и теми, кто раздвигает психологические границы Советской России, вопреки пайку европейской „культуры“, скудеющему с каждым месяцем в своих „жирах“.

Один широкодумный критик из-за границы пишет: „вы там, в Москве, думаете весь мир покорить... А между тем мир был до революции, и после революции и вас останется также стоять“...

Вот именно, в ощущениях „стоячего мира“ и мира, двинувшегося под напором разогретого до-красна котла Москвы, и кроется психологическая грань, которою можно характеризовать новое поколение поэзии. И эту границу мы не думаем, „покоряя“ мир, „механически стереть“, но знаем и верим, что ее можно „психологически преодолеть“.

И уже преодолеваем.

Василий Казин—из нас самый младший. Его рост еще весь в ростках. Его свежесть—свежесть бледных зеленей. За него еще страшно как за неукоренившийся урожай. В особенности в засуху нэпа. В особенности в ледяные заморозки идеологического безветрия. Но свежесть и буйность роста на-лицо, а против погоды есть средство предупреждения. Но предупреждать нужно, в данном случае, не поэта, а ту тучу саранчи, идеалистической саранчи, которая собирается уже опуститься на вкусные, свеже-смоченные росой молодые побеги. Берегитесь, вчерашнедневцы, с жесткими, шуршащими смертью крыльями! Против вас уже приготовлены отряды аэропланов. Ваши сомкнутые ряды идеалистической каши будут раздавлены, сбиты и смяты стальными крыльями полета.

Поясним наши, несколько туманные для читателя, угрозы. У Казина, да и у большинства поэтов группы „Кузница“, есть хорошая выучка символических педагогов. Им привита любовь к стиху и отвращение к бесформенности. Это хорошо. Но всякая дальнейшая попытка „приручения“ людей трудовой воли к умозрительности должна быть сурово остановлена. Не думайте вновь возродиться, контрабандой просочась в корни трудовых ритмов. Вы—только удобрение всходящих полей. А белена, дурманящая головы прошлым днем, должна быть выполота. Одним словом: среднее образование закончено, мы поступаем в институт труда.

Это предупреждение вызвано необходимостью. Дело в том, что как раз той группе поэтов, к которой принадлежит Казин, приходится выдерживать двойной напор: со стороны антропософов и со стороны антропофагов. Эти дикие племена с одинаковым усердием напирают на поэзию, стараясь загнать ее на удобное плато, с которого только что были свалены незыблемые статуи традиции и с которого—как они убедились по опыту—очень удобно сваливать всех, прельстившихся его „возвышенным“ положением.

Теперь к Казину. Как уже указано, у Казина есть хорошая ритмическая школа. Его строка сотрясается конвульсиями жизни и эмоционально, и экспериментально. Но еще лучшая школа есть у него: это—школа его „дядюшки, портняжки, шумного пьяницы с чудесными руками“, знавшего усталость и радость мускулов, сокращаемых и росших в ритмических движениях труда.

...Цветут глаза, и слух и дух цветет, впивая
От каждой твари сочный, пестрый звон.
Но кто родней, мой дядюшка Семен
Сергеевич иль это солнце мая?
Он очень мил, мой дядюшка, портняжка,
Сердечный, вечный самогонки друг,
Зимой и летом пышащий так тяжко,
Что позавидует утюг.
. . . .
И как чудесны дядюшкины руки,
Когда, жалея мой влюбленный пыл,
Он мне так ревностно разглаживает брюки,
Чтоб я глазам любимой угодил...

Эта попытка соединить описание с самим процессом труда характерна для Казина.

Кусаю ножницами я
Железа жесткую краюшку.
. . . .
...Силится солнце мая
На небо крепче налечь,
В высь вздымая
Огонь разгоряченных плеч.
. . . .
...И ветер вешний и я
Мы так устали!
Мутится голова моя,
Мутятся дали.
. . . .
...Металась метла вдрызг;
И мы метались
В бисере брызг,
Запыхались, задыхались.

Не говорим уже об общеизвестном казинском рубанке, теплоту которого он вкладывает в руку каждому читающему его. И эта совместная работа, Казиным делаемая родной и близкой, отражена в строках с острой точностью. В том же „Дяде или солнце“ начинает стучать „малиновое сердцебиенье“—не потому что эта строка внешне отвечает „преемственности“ Фета, а потому, что усиленная лишним полуслогом, она действительно схватывает сердечный перебой, заставляет его повториться в сердце, почти мимически повторить:

Малиновое сердцебиенье.
. . . .
Малиновое сердцебиенье.

Одним словом, по-новому осязает мир. Он у него пахнет свежими стружками и здоровым потом труда. Но осязать, прикасаться, втягивать их в себя всеми ноздрями, это—первая половина работы поэта.

Еще отстраивать его заново, растить его и множить на глазах читателя нужно поэту. Не только считать и регистрировать мировые склады вещей, но и создавать самые вещи.

Что же, скажет мне Казин, разве стих — не вещь? Не надо смешивать понятий. Вещь вещает о себе не только формальностью своего существования. Она имеет биографию процесса своего создания. И здесь Казину грозит опасность созерцательности. Мы знаем, что его будут манить к ней дудочкой „чистого искусства". И мы предупреждаем товарища: берегись—здесь яма!

Не даром Казин—большой лодырь и зевака. У него слабость, усталость, изнеможение в большом почете:

...Как хорошо телесное изнеможенье!
Какая сладостная слабость разлита!
И эта тесная лень движенья,
И эта зыбкая мечта.
. . . .
...И ветер вешний, и я,
Мы так устали...
. . . .
Давно такого не было лентяя,
Такого солнца.
Желтый лежебок...
. . . .
За дверями мгла, а сам в истоме,
Сам в истоме, да в такую мглу—
Не пошел домой, а в новом доме
Сладко растянулся на полу.

А между тем эта потягота к истоме, эти „тихие мысли" могут постепенно отъединить лирику Казина от того, чем он, в конце концов, силен и нов: от ощущения мускулов, от знания экономии усилия этих мускулов, от наследственного чутья ритмического движения.

Сам Казин это чует лучше, чем кто-либо другой:

...Часы стучали, точно кузнецы.
И вдруг вздохнуло грузное мгновенье,
И тихих мыслей тусклые концы
Схватило длинное и мускулистое движенье.

Этот захват созерцательности в крутящийся вал действия и есть то, от чего всеми силами будут тянуть Казина всевозможные „спецы". И это—самый доподлинный новый путь поэзии, по которому, и только по которому, возможно ее движение вперед.

„Рабочий май" пахнет сосновыми стружками и мускулами, разогретыми до смоляности солнцем.

Ник. Асеев.

Н. Гумилев „Огненный столп". К-во „Петрополис". Спб. 1921. Стр. 80. Прод. моск. ц. 12 т. р. 1000 экз.

Ряд книг поэта Николая Гумилева, от первой его гимназической тетрадки, напечатанной, кажется, в Париже, „Путь конквистадоров", через „Жемчуга", „Чужое небо" и др. до этой последней—„Огненный столп", показывает даже самому придирчивому критику определенное творческое лицо, ясное и конкретно, достаточно осознанное направление, бесспорное уменье и желанье работать; да—все, одним словом, атрибуты стихотворца, от которого можно бы ожидать большого и серьезного искусства. Того же не скажешь о существе его поэзии, но гении редки и потребность в них обычно удовлетворяется уже пережитыми поэтами,—здесь же вполне возможно обойтись и установлением наличия немалого таланта.

История развития этого таланта начинается с махрового эстетизма, воспитанного на французах „парнасцах", „непогрешимых" Леконте де-Лиле, Эредиа, Теофиле Готье и др. Нам приходилось слышать, что Гумилев очень любил также (позднее, положим) Альфреда де-Виньи, может быть, самого крупного, по своей сосредоточенности, резкости, нервной подвижности—из французов. Несомненно также—сильное и благотворное влияние Валерия Брюсова. „Экзотизм"—стремление к необычным—по большей части гео-, этно- и зоографическим темам, к словарю, где большую и, разумеется, преувеличенную роль играли малоупотребительные слова из практики нарочитого и редкого коллекционерства, названия малоизвестных животных, растений, городов, драгоценных камней (особенно), упоминания прочно забытых авторов, писателей, скажем, и живописцев, стремление к миросозерцанию, вырастающему в таком, примерно, окружении: решительность культурного дикаря, которому претит золотая середина цивилизации, и который ищет себе друзей или среди гигантизма тропической природы, либо среди утонченных, сосредоточенных на гутировании не всякому понятных ощущений—умов. Своеобычный Руссоизм таких умственных положений определяет романтизм такого автора. Ему, очевидно, сродни тогда: грубое и тяжелое богоборчество неквалифицированной религиозной мысли, примитивный демонизм; последовательно проведенное мироощущение такого типа нисходит к очевидному копированию душедвижений, не связанного никаким коллективным уговором зверя из любой Сахары. Поэтому опасная охота (сам Гумилев, как нам говорили, был очень храбрый человек и любил это афишировать, как и во время своих африканских путешествий, так и на фронте, где был офицером), собственно-беспредметный подвиг, совершаемый во имя остроты положения и особо понятого благородства, с точки зрения которого порядочный человек—не порядочный человек, если он кого-нибудь хоть раз в жизни не резал (причина безразлична). Однако все это и достаточно афористично в конце концов. Налет определенной игрушечности, несерьезности, игры в охоту на слонов, а не самой охоты весьма определенен в первых особенно книгах Н. С. Гумилева. То, что он писал про своих „капитанов", „открывателей новых земель", типичный представитель которых—

Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что золото сыплется с кружев,
С розоватых брабантских манжет,

хотя и весьма увлекательно по форме (имевшей серьезное влияние на следующее поколение, до Маяковского включительно), но столь неправдоподобно по самому замыслу изложения, что очевидно этот „корсар"—просто балетный танцор, и, как у такового, у него: и бунт, и борт, и пистолет, и кружев позолота—один и тот же реквизит высокопарного чудака. Но с другой стороны здесь же коренился несомненный артистизм Гумилева, умевшего в такой позе, не впадая в слащавость, или повышенное актерничанье, показать во всяком случае небезынтересную физиономию, волком глядящую на нас из белониточных неуклюжестей каких-нибудь Макса Пембертона, Поля д'Ивуа и, очевидно, весьма живучую. Но ведь Гумилев, ранний Гумилев расценивал ее, как эстетическое завоевание мыслящего человечества.

Отсюда-то собственно и начинается история Гумилева-поэта. Годы идут, а с ними растет и требовательность человека и автора к самому себе. Тот же, может быть, де-Виньи, скепсис и пессимизм которого в

своей мрачной сдержанности далеко оставляет за собой по эффектативности и одноглазых вождей Эредиа и нарочитое язычничество Леконта де-Лиля, да, вероятно, и китайские замечательные лирики-философы, которым Гумилев очень недурно подражал (поскольку мы можем судить, зная переводы Алексеева, да кое-какие немецкие[1]), наконец, все окружение петербургской школы, все же (несмотря на нарочитый „акмеизм“ Гумилева, старательное отъединение от сограждан) жившей главным образом Блоком,—все это совершенно перекроило Гумилева. Любовная нежность („Колчан“) появилась наверно не без Блока, хотя больше там было очень хорошо понятого Брюсова из лучших вещей последнего (любовная лирика „Всех Напевов“), а также, как нам сдается, и де-Виньи. Позднее это, несомненно, здоровое движение было рассыроплено Ахматовой.

Тогда и здесь-то, одноглазый калека, бывший пират, отравитель и глава общества кровавых шантажистов, имеющий штаб-квартиру нигде, как в Индии, только что выросший из Стивенсона, Хаггарда, Конан-Дойля, выяснил, что от него до Кузминских героев, тоже, извините, путешественников—дистанция трансфинитного размера! Война и революция со всею безапелляционной ясностью конкретности показали, что и цивилизация не спасает нас от стычек с миром—лицом к лицу, а особенно русская цивилизация, тут игрушечный леопард обратился в живого и позвал своего убийцу к себе на родину, чтобы расправиться с ним („Леопард“), тут ряд каменных идолов, которые были так очевидно милы в своей Гогеновской орнаментике, обнаружили в себе определенное и совсем невеселое содержание („Звездный ужас“), тут русская цивилизация и механическая культура в русском изложении привели автора к трагедиям Пушкинского размера, к компонентам „Капитанской дочки“ и „Медного всадника“ („Заблудившийся трамвай“)—и душевная паника нацело схватила заглядевшегося эстета. Существование иного мира устанавливается наверно:

Понял теперь я: наша свобода
Только о т т у д а бьющий свет.
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет[2]).

Отсюда немедля с быстротой маниакальных ассоциаций вырос весь трагизм уже не напыщенного одиночества в Пустыне мира, как бы она ни называлась официально: Сахара, Красный Петроград, книгоиздательство „Петрополис“ и как хотите. Зоологический сад с экзотикой львиных шкур, бродящих по диагонали крепкой клетки, совсем не зоологический сад, куда можно ходить развлекаться, да вообще никаких развлечений нет и отныне не будет. Поэт?—никаких поэтов!

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше
В этом теле жили до меня...
. . . .
Он совсем не нравится мне, это[3])
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом...

---

[1]) Любопытно, что через китайцев Гумилев очень близко подошел к футуристической фразеологии.

[2]) Разбивка наша.

[3]) Непонятна пунктуация, напечатано: „Он совсем не нравится мне, это“, может быть нужно: „Он, совсем не нравится мне это,“?

„Вывеска поэта", „молчаливый дом", „я—угрюмый"—все это никак не эстетично и совсем не похоже на прежнего Гумилева. Женщина обращается то ли в колдунью, то ли в мрачную кликушу, и картины любви ассоциируются с древлянской баней. Человеческий интеллект неожиданно оказался выше подсознанья, и „я "отвечает своим душе и телу:

Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье;
А вы, вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на две его сознанья!

„Слово" оказывается слишком могущественным для несвязных целей обыденщины,—стихотворцу ли профессионалу такое исповедовать!

Так размыкается трагедия поэта Гумилева, который в этой книжке впервые подошел к трагедии человека, приблизился к заповедной зоне поэзии. Нет сомнений, он не вошел еще в нее,—спутанность представлений поэта не делает,—но он был близко, а его стихотворческий талант сумел бы его обставить в этой зоне.

Но собственная трагедия человека прервала эту, описанную нами, трагедию.

Не надобны, конечно, преувеличения ни в ту, ни в другую сторону: Гумилев большим поэтом никогда не был и было бы только курьезно спрашивать у него широкой и всякому нужной поэзии. Разумеется, и описанная нами трагедия пиитическая в значительной мере носит книжный характер.

Сергей Бобров.

Серапионовы братья. Альманах первый. Алконост. Петербург 1922 г. Стр. 125.

Петербургский альманах. Книга первая. Изд. Гржебина. Петербург—Берлин. 1922 г. Стр. 234.

Альманах серапионовых братьев составлен был около года тому назад. За это время кружок молодых писателей-серапионовцев далеко шагнул вперед,—настолько далеко, что недавно вышедший из печати альманах дает о них довольно отдаленное представление. И все же от альманаха веет здоровой обещающей молодостью, весенней свежестью, небесной синью.

Они, безусловно, даровиты—эти молодые серапионы,—из которых старшему 28—29 лет, а младшие еще находятся в возрасте, когда берет серьезное сомнение, следует ли брить первый появившийся пушок. Серапионы решительно порывают с некоторыми основными настроениями предреволюционной литературы, замкнувшей себя в узком кругу сверх-индивидуализма. У них—быт, народ, данное, то, что пред глазами, живая жизнь, окружающее. И в этом прежде всего—залог здорового развития молодого кружка.

Но следует сделать кое-какие оговорки.

Непонятно, почему Лев Лунц поместил в альманахе свой рассказ „В пустыне". Странствование евреев приобретает у Лунца довольно странный и двусмысленный вид. Почему-то Моисей—бесноватый старик, Аарон—палач, прекрасная легенда, в которой так много волнующей правды, является у Лунца повестью об одних жестокостях, зверстве, человеческой гнусности. Как отражение современности, это тоже никуда не годится. И кончается рассказ так: „над Израилем, и над временем, и над страной, текущей молоком и медом, черный и боро-

датый как Израиль, мститель и убийца—Бог—милостивый и долготерпеливый, благосклонный и истинный". Это уже от Блока из „Двенадцати" и не к лицу совсем Лунцу, написавшему остроумную, основанную на движении и действии пьесу „Вне закона". Не оставить ли тему о милостивом боге некоторым „из стариков". У них это куда лучше выходит.

Затем о сюжете. Думается, что серапионы правы, отдавая должное сюжету. Тут—верный подход к читателю. В наши дни его нужно преодолевать, заставлять читать, принуждать. Нужно писать так, чтобы каждая строка приковывала невольно внимание. Можно также согласиться и с „остранением" (от слова странность) сюжета, тем более, что подобные приемы оставляют много места для творчества самого читателя. Но, как и всюду, здесь нужно уметь сохранить меру. Сдается, что меры этой нет, например, в рассказе В. Каверина „Хроника города Лейпцига". Законное вообще, „остранение" сюжета переходит у Каверина в такую запутанную сложность, что у читателя начинает пухнуть голова. Между тем Каверин—человек безусловно талантливый, что явствует из того же рассказа.

Коснувшись вопроса о сюжете, не можем не сделать мимоходом еще двух замечаний: нужно избегать однотонности, одинаковости приемов, между тем такая однотонность у серапионов иногда чувствуется. Кроме того, в поисках сложных и странных сюжетов легко впасть в аверченковщинку, в анекдот и тогда открывается легкая и бесславная дорога в бульварные двухнедельники. Это так, вообще, безотносительно к данному альманаху.

Лучшими в альманахе являются рассказы М. Зощенко „Виктория Казимировна", Всев. Иванова „Синий Зверюшка" и Ник. Никитина „Дэзи". Зощенко по стилю, по манере возвращает нас к Лескову. Человек у Зощенко и хитр, и наивен, и жесток до изуверства, и туп, и смешон,—и еще за него, за его нелепости и жестокость грустно и тяжело. Язык свеж и меток. Выдержан, но не всюду. Встречаются „срывы". „Подошли к немецкой проволоке. Тень. Луны еще не было. Перерезали преспокойно лаз"... и т. д.,—это не гармонирует с общим стилем Синебрюхова. Синебрюхов говорит иначе.

Как всегда сочен, узорен, обвеян сибирскими ветрами и лесами и мужицкой исконной тягой к родному месту, рассказ В. Иванова. „А глаз у него (у Ерьмы. *А. В.*), как только что распустившийся листочек—зеленый липкий и блестящий"... Или: „и вдруг по столу ударила его рука—толстая, и жилы на ней как змеи". Сравнения всегда новы, неожиданны, метки и берутся походя: от тайги они, от гор, степей, от деревень.

Рассказ Н. Никитина „Дэзи" в начале намеренно разорван и дан читателю обрывками и кусками вплоть до имитации газетной хроники, дальше написан ровней и тверже, Никитин, впрочем, не пишет своих рассказов, а скорее высекает их: скуповат на слова и долго приноравливается к теме: это от строгости к себе. Вещей больших не пишет. Большой дар у Никитина и многое ему дано.

В „Дэзи" это чувствуется явно. Тема в сущности—старая. „Дэзи"—тигр. Жизнь зверя проходит среди людей в клетке, в новых голодных советских условиях. И конец рассказа обычный. А вместе с тем четкостью и свежестью своей вещь врезывается в память.

Характерен уклон нашей литературной современности к звериному. В альманахе серапионовцев этот уклон очень чувствуется.

Недурный рассказ К. Федина о песьей жизни. О зверином рассказывает В. Иванов, то же у Зощенко. А оглавление: „В пустыне", „Синий зверюшка", „Дикий", „Песьи души", „Дэзи". После утонченнейших художественно-психологических изысканий и самоуглублений кануна революции эта тяга к звериному особенно знаменательна. Тут переплелись: и наш обнаженный до звериного быт последних лет (голод, лучина), и реакция против самоуглублений, и закат цивилизации со стремлением к простому, непосредственному, и то, что революция раскачала и показала всю Русь с отдаленнейшими „медвежьими углами"— и оттуда идет теперь новый писатель на смену старым.

В целом первый альманах серапионовых братьев хотя и слабее их самих, но он, как просвет в светлое и здоровое будущее новой литературной жизни. Есть основания сомневаться в том, что серапионы сохранят и в будущем свою первоначальную сплоченность. Разнобой и различие настроений уже и теперь ощущается довольно явно. Впрочем, поживем—увидим.

Петербургский альманах, вышедший в издании Гржебина, несомненно лучший из всего, что появилось за последнее время на книжном рынке. Альманах открывается пьесой М. Горького „Старик". Написана пьеса до революции. Вообще, альманах прошел мимо революции и, если читатель будет искать непосредственного отзвука бурных дней последних лет, то его постигнет разочарование. Горьковский „Старик" задолго до напечатания ставился на сцене и пьеса шла с большим успехом, в чтении же проигрывает и нового к Горькому не прибавляет. В центре пьесы стоят: богатый подрядчик Мастаков и старик, появившийся неожиданно в доме Мастаковых. Когда-то Мастаков отбывал каторгу за убийство, по существу дела, не совершенное им. Каторгу отбывал и „старик". Мастаков бежал, жил под чужой фамилией, честно и скромно, строил дома (только-что кончил постройку школы для детей рабочих). „Старик" явился „за долгом" к Мастакову. „Я тебя семь годов искал... Любопытно мне было поглядеть смелого человека, который через закон перешел. Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел". „Старик" доводит Мастакова до самоубийства, но главная цель—месть—не достигается. В основе пьесы лежит хорошо знакомый читателю горьковский мотив: человек—превыше всего; человек есть мера всех вещей. „Старик"— воплощение сухой, формальной, жестокой, бездушной, бесчеловечной, отвлеченной справедливости—совести и правды, тиранствующей бесцельно и изуверской. Но есть тут и другой момент. „Старика" невольно вспоминаешь при чтении статей Горького „Русская жестокость", помещенных недавно в „Политикен". Истоки пессимизма тов. Горького—в „Городе Окурове" и, в частности, в „Старике", в этой окуровской тупой садической азиатской жажде коверкать мало-мальски выпрямленную жизнь человека, в мести, прикрытой подозрительной верой в „закон", в „правду", в „возмездие", в „совесть". И очень легкомысленно часть нашей советской прессы подняла шум вокруг статей Горького, шум, по правде сказать, неумный и легковесный. Но это—тема особая. Во всяком случае, о какой-то перемене фронта говорить и писать на основании недавних статей Горького—вещь совершенно ни с чем не сообразная.

Очень интересна повесть Е. Замятина „Север". Замятин—большой художник и умный человек. Это доказано „Уездным", „Островитянами", замечательной статьей его об Уэльсе. Октябрь больно ударил

Замятина. Такие вещи, как сказочки „Церковь", „Арапы" с присвистом и веселым ржанием перепечатаны зарубежной эмигрантской прессой,—и в самом деле, им там более уместно, чем в осажденном советском лагере. Это агитки худшего качества. Чем-то заразился художник от „Уездного"—в наши дни явление, обычное для многих писателей, вышедших из прежнего круга интеллигенции. „Север", может быть, лучше других вещей, обнаруживает духовную расколотость автора. Повесть дышит первобытной суровой хмуростью севера, его студеностью, хвойным лесом, чащами девственными, зеркальными, холодными озерами, морошкой. Язык кован, отточен, ничего лишнего, Замятинский, только его язык, сильный, хлещет, как бич. „Из всей мочи по небу кнутом—и кровеет заря: но ни звука, ни оха: все равно никто не услышит"... В этой далекой окраине, где даже солнце „мерзлое", помор Морей загорается любовью к Пельке—олицетворение дикого Севера и его прелести и, одновременно, к дальнему неведомому им Петербургу. Ему рассказали: там в огромном городе—фонарь „по самой середке" и светит всем круглый год. И вот Морей хочет тоже осветить Север. Нужно сделать такой же фонарь, как в огромном городе. „Будет вся жизнь по-новому". Не стала она такой. Не осветил фонарь тысячеверстной мерзлой северной тьмы. И Пельку Морей потерял, ушел от нее в свои фантазмы. Разрыв идеала и действительности, фантазмы убили живую жизнь. Вывод, к которому осторожно и умело ведет читателя Замятин не в пользу порывов Мореевых. В этом выводе, пожалуй, главное, почему так обескрылились последние замятинские вещи. Понятно, почему эти выводы делаются Замятиным. В этой мерзлой тьме нет еще данных для трезвого разрешения противоречия между идеалом и действительностью: звериный быт, нравы, люди как звери. Тут рождаются беспомощные, наивные фантазмы, в этой глуши, где сказки о нежити, кажутся правдой. В ограниченном, узком, условном смысле это верно. Но Замятин распространяет выводы на всю нашу современность, по крайней мере русскую. И здесь—ошибка, неправда: ибо в той же русской революции, в пролетарском русле ее антиномия между идеалом и действительностью находит свое разрешение. В результате же у Замятина иногда белые агитки. Они отсюда: от неумения видеть в идеале ничего, кроме фантазмов, отрешенных и насилующих жизнь.

Прекрасен рассказ Ремизова „Жизнь несмертельная". Написан он гораздо проще, чем многие другие ремизовские вещи, насквозь реалистичен, ведьмовский элемент отсутствует, и к лучшему. Хороший рассказ Вяч. Шишкова „Крокодил" примыкает к рассказу Ремизова по теме. Вообще во всем альманахе—отзвук тяжелой мещанской окуровщины, где гаснет мысль и воля растрачивается на злобное своекорыстное, часто бесцельное, жестокое. Сборник окрашен одним настроением и безусловно целен. А читателя ведет кривыми дорогами к тому самому большевизму, которого так чурается часть авторов сборника, вывод неожиданный, но, думается, справедливый.

Особняком стоит очерк Б. Зайцева „Виареджио" об Италии. В нем—золото, и прозрачность, и солнце Италии и есть в очерке соленый морской ветер, жемчужность и простота мудрая, воздушность художественной кисти и легкость и легкая опьяненность от солнца, моря, гор и людей. Это гораздо лучше „нематериальных" последних рассказов Б. Зайцева в „Пересвете" и в „Северных днях".

А. Воронский.

„Пересвет“, литер.-худож. альманах, кн. II, изд-во Н. В. Васильева, Москва 1922 г. Стр. 108. Цена не указана.

„Костры“, кн. I. Москва 1922 г. Стр. 190. Цена не указана.

Среди произведений обоих сборников останавливает на себе внимание молодой беллетрист А. Яковлев. Цельность, непосредственность чувствуются в нем. Зоркий глаз наблюдателя, непринужденность выражения, мягкая лирика, гармонирующая с простотой повествовательного тона. Вот признаки, рисующие настоящего писателя. Это плюс. Но автор еще на путях и моментами колеблется. Нет твердой писательской поступи. Есть уклоны к недоговоренности, неясности, получается налет какого-то мистицизма, так невыгодного для молодого писателя, переполненного здоровыми ощущениями жизни—земного, реального. В рассказе „Рок“ („Пересвет“) проходят первые дни революции. Генерал Рогов с женой бегут из столицы в уездный городишко на Волге спасаться от гнева „взбунтовавшейся“ черни. Сначала в городке—тишина, потом—красный октябрь. Генералу когда-то цыганка предсказала: „бедный будешь, жалкий будешь, и твой сын убьет тебя“. Действительно, сын генерала Дмитрий Рогов, принявший Октябрьскую революцию, расстреливает отца, как противника революции. Это—логика, воля революции, но автор подменяет этот закон каким-то предопределением, волею рока. Не в меру обвеян мистицизмом и священник Герасим в его взглядах на революцию, на русский народ в его исторической перспективе. Другого взгляда не указано. Получается впечатление, что и автор так же воспринимает мир, так же умиленно стоит перед церковностью.

— Скоро подует тихий ветер, и мы увидим Господа.

В рассказе „Жених полуночный“ („Костры“) после шума революции автор погружает нас в деревенскую тишину, далеко от города, „с его дешевой суетой“. По полям ходит дрема. Петр Николаевич, герой рассказа, вошел в этот сон, остановившись ночевать в деревенской семье, и тут с ним творится что-то невероятное. По крайней мере он и сам не мог понять.

„Старуха дошла до самой кровати и вдруг опустилась перед ней на колени. Бородач (мужик) и высокая женщина опустились тоже чуть позади старухи.

— Батюшка, не погуби!—зашамкала старуха, кланяясь в землю.— Помоги Христа ради!

Все трое кланялись в землю, просили:

— Помоги.

— Внучку-то мою возьми на ночь. Пусть с тобой поспит. Невеста она у нас, а еще не рожала. А кто ее возьмет замуж, если у нее ребенка не было? Ребенка надо. Возьми, кормилец, на ночку с собой.

Петр Николаевич не мог ни проснуться, ни понять. Пришла внучка. Легла под одеяло. Так и произошло все в каком-то сне.

Петр Николаевич после спрашивал:

— Сон или не сон?

Закрыть глаза—и все явь „было, было, было“. Открыть... „Ямщик в запыленном чапане, поля, тарантас, дорога“. „Нет, это сон“. „Что же, что же было?“

Автор и здесь как будто намеренно не договаривает, чтобы сохранить дымку навеянной поэзии от простоты и цельности взглядов деревни на половую жизнь. Рассказ выдержан в строгих тонах, лишен

обычной сексуальности, неприятного привкуса порнографии—облагорожен красотой целомудрия в высоком смысле. Но таинственный глазок автора и здесь выглядывает. Думается, что это у автора временно, „под влиянием", и он уйдет от этого, делающего его похожим кое-на кого, а у него должно быть свое лицо и очень интересное. Иначе — здесь опасный уклон.

Б. Пильняк оригинален по приемам, по подходу, по конструкции сюжетов, которые берет, но иногда образы его дробятся. Хорошо схвачены бытовые черточки, психологические моменты, юмор, немножко философии,—но иногда это не спаивается, а летит мелким пухом („Метель"). Он любит московскую старину как поэт. Она дает ему хороший музыкальный тон, чарует прелестью минувшего. Местами чувствуется деланность. Непринужденную музыку нарушает холодок рассудительности от обобщений, выводов. В рассказе хорошо показан дьякон. Очень хорош конец. В нем чувствуется подлинное дыхание революции.

Евгений Замятин в рассказе „Сподручница грешных" („Пересвет") обвеян иносказаниями, смыслами не от мира сего. Конечно, он—большой мастер, знает, где слово поставить. Не обвесит и походу не даст. Скупой человек, слова ценит на вес золота. С этой стороны комар носу не подточит. Но то, что он дает—не ново для наших дней. Таинственно и не нужно для тех, кто „не зажигает лампаду".

Вот: „про какую-то собаку генеральскую, про Серафима Саровского. Напакостила собака на паперти, а он, батюшка, жезлом своим святительским тут же на паперти ее и пригвоздил".

Собака, это—не суть собака. Только присказка. Зиновий Лукич убил монастырского сторожа и решил убить еще игуменью по постановлению, чтобы „все денежные финансы монастыря в пользу крестьян села Манаенок". Пришли мужики убивать игуменью, а она их и „пригвоздила" любовью, да лаской, как Серафим—собаку, напакостившую на паперти. Развязка рассказа надумана и мало убедительна.

Леонид Андреев в посмертном романе „Дневник Сатаны" („Костры") уже совсем непонятен читателю. В каждом слове его нужно расшифровывать, разгадывать, отпирать. Вочеловечившийся Сатана ведет дневник, Андреев наполняет его схемами, афоризмами, умными, но холодными словами. В последнем своем произведении покойный писатель не поднялся выше себя и нового художественного слова не сказал. В одном месте дневника Сатана говорит: „Я становлюсь посредственным романистом из бульварной газетки и лгу, как бездарность". То же можно отнести и к Андрееву. Он охватывает период 1914 года и наших дней. Сатана-миллиардер все время чего-то боится, терпит первое крушение около Италии, ведет хитрую игру и в конце концов проигрывает. Конечно, в романе затушеваны большевики, революция и страх перед революцией и ненависть к ней. В сборнике помещена 1-ая часть романа. Подробная рецензия на роман в целом дана в книге 1-ой „Красной Нови" Нурминым.

Иван Новиков в рассказе „Жертва" („Костры") развел целую историю на 55 страницах про „ужасно" испорченных деревенских ребятишек братьев Болдыревых: Никандра 12 лет и Лёньку лет 9—10.

Ребятишки, конечно, испорчены „революцией“, принесшей развращение „темному“ люду. Отправились они в Москву за хлебом из голодной деревни, зашли к сестре Маланье, гулящей девке. Никандр хотел усыпить ее порошком, чтобы потом обворовать сонную—не удалось. Пригрела их добрая старушка, пахнущая просфорой. Никандр и ее решил обворовать ночью. Старуха проснулась от разбитой чашки. Никандр ее убил.

Несмотря на множество „психологических“ углублений, Новикову не быть Достоевским и из Никандра смотрит автор, авторская надуманность, потуги напугать, выявить страшное лицо революционного быта, раскрашенное в один черный цвет.

Конечно, революция имеет отрицательные стороны быта, этого никто не скрывает. Может быть, подобный случай и был в жизни—ребятишки-убийцы, но ведь нельзя же так „увлекаться“. Если это и было, то гораздо проще, и не к чему здесь делать „художественных“ обобщений темной России через ребятишек. Иначе надо было подойти, коли чувствовалась писательская потребность в этом. Не надо мудрить. В рассказе много длиннот. Нет художественной правды. Нет спокойствия художника, тлеет скрытый уголек обывателя, а этого не должно быть у писателя.

В стихах И. Эренбурга „Зарубежные раздумья“ слышится „виноватый стук“ в Россию, в Москву, где „люди шли с котомками и дни свои огромные тащили, как кули“. Поэт помнит

Старуший вскрик и бред
И на стене всклокоченный
Не вышедший декрет.

Однако верит:

... днями дикими
Они в своем плену
У будущего выкупят
Великую весну.

И Москва забудет „обиды всех разлук“.

Иван Новиков в московской повести „Липа“ („Пересвет“) мягко воспевает старую Москву. Нарисовав мрачную действительность „наших дней“ в рассказе „Жертва“, он говорит:

... Как некогда забьюсь
В тени ветвей и давней, давней былью,
Поэзией минувшего упьюсь.

Он видит:

Призраки той царственной Москвы,
Что пенилась в кружале и харчевне,
Но не склоняла гордой головы
И, гордая, держала стяг свой древний.

В „Продавце мяса“—сцены XI века—А. Глоба рисует ужасы голода и местами художественно вливает их в нашу действительность.

Борис Зайцев в „Дон-Жуане“ поет: „мир отошедшему, вечный покой отходящим в страну искупления“.

Нового слова „старыми“ не сказано, молодые обещают сказать.

А. Неверов.

Рабиндранат Тагор—„Дом и Мир“, роман, перевод с английского З. Журавской. Издательство С. Ефрон, Берлин. Стр. 358.

На заглавной странице написано „Роман“, открывается первая страница романа и там заголовок „Рассказ Бимала“. В романе 12 глав и каждая представляет собою один или несколько рассказов, которые ведутся от имени главных действующих лиц романа. Таким образом читатель как бы перемещается и под разными углами зрения рассматривает самый стержень романа.

Главных действующих лиц 3—это Бимала, жена богатого бенгальца, ее муж Никиль и приятель мужа, борец за независимость Бенгалии Сандип. В общем идея романа, как всякого цельного и большого художественного произведения—проста, она выражается двумя словами: „Банде Матарам“. В сноске переводчик романа указывает, что это означает буквально „Привет, Мать“—начальные слова одной из песен Баким Чаттерджи, прославленного бенгальского писателя. Песня эта теперь стала национальным гимном и „Банде Матарам“—национальным лозунгом, с тех пор как началось движение „свадеши“.

А Свадеши есть название освободительного национального движения в Бенгалии, одной из форм которого является бойкот европейских, по преимуществу английских, товаров. А отсюда бойкот само собою переносится на все английское: привычки, платье, язык и т. д.

„Дом и Мир“ называется роман. Дом—это Бимала. Неопытная, наивная, любящая, не знающая ничего кроме домашней семейной нежности.

Сандип—это улица, это страстность освободительного революционного движения. Он не хочет знать преград. Он не взирает на опасности. Наоборот, чувствуется по всему, что опасность еще больше его разжигает. Сандип переполнен большой силой.

И между ними Никиль. Он между двух огней и как всегда существо, находящееся в таком положении, ищет справедливого выхода. Искание справедливости это основное, что проступает у Никиля. И не даром он является из выведенных бенгальцев наиболее европейцем. Как у зараженного европеизмом, у Никиля неизбежно есть рефлекс: „Разве сила,—говорит он,—обязана не испытывать угрызений совести, топча ногами слабых?“ И вот видно, почему, как только Никиль испытывает в себе силу, так сейчас же вместе с ней ощущает и угрызение совести.

Его друг Сандип, с головой ушедший в освободительное движение рассуждает по иному: „Каждый человек от природы имеет право обладать, владеть и потому алчность—чувство естественное... А нравственные идеалы пусть останутся уделом тех хилых, малокровных существ, чья хватка недостаточно сильна... Природа покоряется, но лишь разбойнику... Стыдно? О нет, мне не бывает стыдно“. Может он поэтому и друг с Никилем, что на нем он оттачивает свои мысли. Сандип естественно ненавидит ложь, притворство, трусость. Сандип—это мир, Бимала—дом, а Никиль сделался дверью между домом и миром. И не дом вывел в мир, а наоборот: мир ввел в дом... Сандип буквально ворвался в самую сердцевину дома Никиля. Домашний покой был нарушен, потому что стержень, на котором он держался, сама Бимала—пошатнулся.

Бимала—бенгалка. В душе ее тлел тот же огонь, которым пылал Сандип—последний раздул его.

Но Рабиндранат Тагор, как большой и тонкий художник, оставляет Бималу все таки женщиной, да еще восточной женщиной. Она покорна не движению Свадеши, ибо она его смутно понимает, она покорна самому Сандипу. Сандип это чувствует („я не имею стыда", никогда не забывает напоминать Сандип), он требует у нее денег, необходимых для освободительного движения. Она покорно крадет их у своего мужа. И только тут, увидя, что она покорилась Сандипу в очень большом, она восстает против него. Гордость женщины, гордость женщины той нации, которая со всей страстью борется за свое освобождение, „проснулась в ней. Но... Бимала восточная женщина, она восстала на Сандипа для того, чтобы из мира опять обратиться к той двери, которая ведет в дом к Никилю.

Большой художественный талант Тагора очень хорошо тут ухватил эти бесконечные и, может быть, вечные колебания и противоречия жизни, в результате которых жизнь толкается вперед.

Вся эта простая картина романа вставлена в такую красивую оправу, что сначала кажется, будто оправа-то и есть главное. Но через несколько страниц читатель видит, как по изыскано украшенной дорожке он идет неизменно прямо к вершинам и пропастям тех противоречий, которые всегда являются самой жизнью и которые всего чаще или возвращаются к исходному, или остаются без „развязки".

Роман поражает своей художественной простотой.

Перевод сделан хорошо.

Ал. Аросев.

Кафедральная эротика. Раз—книжка, два—том, три—монография, четыре—ученый (!) труд, и создается впечатление, что ежели на это дело убито так много „труда", так это не зря—мы, в конце концов, люди терпимые, мы уважаем „культурное творчество", ну как же в конечном счете не признать и не вырешить, что все же, за оговорками, это—небезынтересно, мысль, мол, человеческая, головой работал и проч.

Петербургские ночи двуличны, о, если бы вы знали!.. С одной стороны, это—белые ночи (читатель помнит, конечно, что красных ночей не бывает и не заподозрит нас, разумеется, в каком-либо таком нехорошем политическом намеке,—о, это вполне аполитично!), с другой стороны, это—ночи Невского проспекта, улицы загадочной и чреватой последствиями. Там—новая Бовари—выросла Блоковская Незнакомка, милая женщина, но с предательски-кротким характером и некоторыми особенностями, которые плохо переносятся в благовоспитанном буржуазном обществе. И вот этими-то ночами зрела и вынашивалась Л. Карсавиным книжка „Noctes Petropolitanae" (Спб. 1922). Девять ночей занимался автор вышеописанными медитациями,—читатель попадает в положение праотца Ноя за сим девятидневным потопом словесности, расклубничившейся на Невском проспекте. И до чего же хорошо написано! Плакать можно. Если бы к этому еще и музыку столь же чувствительную написать, мелодекламацию, к примеру сказать. Вслушайтесь в эту „вечную" (как шарманка) мелодию:

Женственность—темная чуткая жизнь
Природы, одна во всем и везде;
Ночь, любимая мною, безмолвная ночь, ждущая света,
Который раскроет богатство, таимое ею.
Женственность—жгучая жажда оформленья,
Цепкая, ревнивая в единстве своем.

Она влечет и зовет таинственной бездной,
Многоголосой,
Поглощает, как мрак.
Но ждет она не победы своей,
А победы над ней.
Мужественность насильственно разверзает,
Расчленяет
Единство женственности,
Разрешая его во множестве.
Оно образует или оформляет, но—
Участняя,
Противопоставляя;
Развращая.
. . . .

И далее это соловьиное аллегро поет: „Властно мужественность разрывает послушную женственность, но в бесконечности разрыва теряет себя самое и гибнет, тонет в женственности, в пучине бездонной ее". Кстати уж—и раньше была проза, но ее высокостилистические достоинства выясняются только из „стихового" рассмотрения. Все хорошо, безгрешно, ангелокрыло здесь, в этой биологии Незнакомки, но вот, что было бы полезно выяснить,—о чем это авторик говорит? в чем дело? Эта благоуханная мистика и метафизика любви—каким же это образом через нежноликие термины „расчленения", „разрыва" и т. п.—все это кустпроизводство небесных асфоделических благоуханий ввергается, братия, во адские вони чистейшего армейского анекдота?

И воспоминания терзают мозги натужившегося читателя. Вспоминает он „Эрос" Вячеслава Иванова, там про это тоже оч-чень интересно написано:

. . . И зыблет лжицей
До дна вскипающий сосуд,
И боги жадною станицей
К нему слетят и припадут.

Это те самые „кумирические бози", которые в комедии о царе Максимилиане „подверзаются под нози" и с которыми добрый русский человек имел дело лишь в тяжелые припадки белой горячки.

Хорошая генеалогия у книжки Карсавина! А ведь книжка немаленькая—двести страниц (на отличной бумаге, у Голике отпечатана); исчерпывается же все это утверждением, что плотская любовь не противоречит существу христианского идеала. Так как об этом еще апостол Павел говорил с достаточной аргументацией, то, казалось бы, к этому вопросу нет надобности возвращаться, если только для вас требник Петра Могилы не выше апостолических свидетельств. Но у автора есть более серьезные основания ломиться в открытую дверь,—поговорить надо. На сладенькие темочки, с сюсюканьем, с улыбочкой сквернавческого умиленного слюнотечения и т. д. И в накручивании таких подробностей—вроде процитированных—смысл сотворенного. Чего только нет: и „чета Иисуса-Марии", и существенное рассмотрение знаменально-акцентируемого факта, Мария-невеста и Мария-мать одновременно, т.-е. эдипизм в самой грязненькой из своих тяжелых обложек, и триипостасность „всеединого" и кстати уж двуипостасность автора, который -ипостась первая—издатель, ипостась вторая—втор,—и сам с собою несогласен. Знаменательней же всего то, что это проделывается с воздыханиями, возношениям очес горе, нестерпимой рознью меж жестами правой и левой руки, из коей одна благословляет чтеца, другая же подносит ему триединую антиномию—сатанинский и инфернально отчетливый кукиш. Трагедия Буриданова

осла—ничто по сравнению с мучениями читателя сих творений... но недолгое раздумье властно влечет его к кукишу,—тот, по крайней мере, ясен и прост. А сулит в дальнейшем не менее блаженное прозябание и не менее благословенное пищеварение. И этим-то способом и постулируется тот папироснический нигилизм, который обнаруживается теперь в искусстве там и там; не все же могут удовлетворяться столь утаенной порнографией, как благолепное описание дефлорации у Карсавина, приведенное нами.

Так тяжело и мрачно разлагается символистическое миросозерцание, грязно разбрызгивая продукты своего разложения по нашей родине, которой, кажется, сейчас совсем не до этого—и так невесело. Увы, Карсавиным мало—накинь еще грязцы. И легче было бы им, когда они встретятся с будущим, если бы они получили жернов на шею...—это им не ведомо. Не ведают, что творят.

А. Юрлов.

Р. Виппер. „Иван Грозный". Изд. „Дельфин". 1922.

Изобразить Московскую Русь XVI века на фоне общеевропейских отношений того времени—чрезвычайно заманчивая задача. Ничем лучше нельзя опровергнуть господствующего доселе, даже в марксистских кругах, предрассудка о „примитивности", якобы, той экономической основы, на которой возникло русское самодержавие. Показать это самодержавие в его настоящей исторической связи, как один из аспектов торгово-капиталистической Европы, показать последних потомков Калиты, как младших товарищей Валуа, Тюдоров и Габсбургов,—это задача не только чрезвычайно интересная для историка, но и педагогически чрезвычайно важная для читающей публики: нет более радикального средства покончить с легендой о „своеобразии" русского исторического процесса.

У проф. Виппера имеются на лицо, казалось бы, все данные для решения этой задачи. Тонкий знаток истории Запада, он внимательно изучил „сказания иностранцев" о Московской Руси: в данной перспективе источник особенно ценный, ибо как раз иностранцы подходили к русским отношениям с „экономического" конца, которого туземные летописцы не замечали, как человек не замечает воздуха, которым дышит. Словом, от книги проф. Виппера об Иване Грозном можно ожидать многого.

Разочарование постигает читателя довольно жестское. Несмотря на новизну, казалось бы, подхода, несмотря на относительную свежесть материала, получается перепев—в начале Мишле, а потом Карамзина. Начинается с турок, кончается Баторием, и все это звучит ужасно знакомо. Ни нового образа Грозного, который вообще, как живое лицо, в книге отсутствует, присутствует только, как некий символ или алгебраический знак: ни нового объяснения его внешней политики (ей почти исключительно посвящена книга), более глубокого, чем дававшееся доселе. В этой последней области проф. Виппер, по части примитивности аргументов, перещеголял даже Карамзина: „последняя степень истощения" (стр. 90), „полное истощение" (стр. 93) Московского государства, без единой хотя бы иллюстрации, не то что анализа, который бы показал, в чем же это истощение состояло,—это уж не Карамзина, а плохие школьные учебники напоминает.

И вообще в книге „блеск"—чисто словесный—совершенно заменяет анализ. Откуда взялся московский империализм XVI века, так ярко—до, простите, лубочности—живописуемый автором, как возник, на чем держался: не ищите ответов на эти вопросы. И, кажется, автор хорошо делает, что не пытается их давать. Когда проф. Виппер хочет помочь своему читателю объяснениями, эффекты получаются иногда донельзя странные. „Государя сопровождает в поход разрядный дьяк с его канцелярией" (дальше следует описание ее функций). Как все это напоминает практику древнеперсидского государства! Великому царю, по описанию греков, сопутствует в походах часть канцелярии, которая „озабочена историографией предприятия и бухгалтерским его протоколированием" (стр. 25). „Параграф о вдовых боярынях удивительно напоминает статью одного старинного юридического памятника, именно судебника Хаммураби..." (стр. 39). Где ты, Михаил Петрович Погодин? Отчего тебя нет между нами? Ты бы порадовался—ты очень любил такие сравнения.

Но эффект получается прямо потрясающий, когда проф. Виппер затрагивает чисто-русские, туземные мотивы. Правительство протопопа Сильвестра затягивает объявление войны Ливонии. Почему бы это? Мы с читателем кое-что об этом знаем: правительство было боярское и торговое—при чем Сильвестр представлял специально интересы новгородского купечества. Боярам тяжко доставалась всякая война, где на свой счет им приходилось содержать целые полки: новгородской буржуазии было жалко рисковать последними остатками торговых связей с Западом, тем более, что и победа была бы использована, конечно, московским капиталом, а не новгородским. Оттого правительство Сильвестра и топталось на месте: объективные интересы исторического развития толкали его на дорогу, по которой мешали итти узкие классовые интересы правящих групп. Поток развития скоро снес этот камешек.

Проф. Випперу это объяснение (имеющееся в печати), конечно, не подходит: это материализм, марксизм, об этом говорить неприлично. Но объяснить как-нибудь ему все-таки хочется. И вот он догадывается. „Не значит ли это, что церковники не отказались от идеи унии с западно-христианским миром, что они были под известным обаянием политики римского престола..." (стр. 44).

Это предположение относительно церковников, русских церковников, которые пятьдесят лет спустя оправдывали революцию и цареубийство намерением царя заключить унию с Римом, это предположение вполне оправдывает мудрое воздержание проф. Виппера от предположений и объяснений вообще. Нет, для того, чтобы понять психологию русских современников Грозного, мало прочесть всю Rossica XVI века. И, ей-богу, даже Карамзин с Погодиным в таких случаях бывали ближе к истине.

В общем книга ничего не прибавляет, ни к русской исторической литературе о Грозном, ни к научным лаврам проф. Виппера. А жаль. Задача, повторяем, заманчивая—и материал в руках был богатый!

М. Покровский.

С. Л. Франк. Очерк методологии общественных наук. Книгоиздательство „Берег". Москва 1922 г. 124 стр.

„Очерк методологии общественных наук"—не научное исследование. И не потому он далек от науки, что „сжат", „схематичен", „местами умышленно элементарен", как разъясняет сам автор в преди-

словии. Пожалуй, эти, и подобные, грехи мы бы сочли за достоинство изложения. Мы имеем в виду другое. „Очерк" прямо-таки изобилует слишком субъективной предикацией и т. д. и т. п., что совершенно недопустимо в методологическом конспекте, как квалифицирует автор свой труд („сжатый конспект курса лекций"). Что значит хотя бы одно „смиренное постижение" в „области теоретического знания" (30). Это может быть известно только одному Франку; для нас оно необязательно ни в какой степени. Но такого рода методологические „принципы" являются в „Очерке" наиболее устойчивыми.

Книга С. Франка характерна уже по своей архитектонической структуре. Ни с того, ни с сего, на первых же страницах отвергается теория прогресса. „Положительные факты, твердо установленные современным историческим знанием, не подтверждают этой теории прогресса, т. е. учения о непрерывном поступательном движении человечества" (13); и там же: „уложить историю человечества в схему прямолинейного прогрессивного развития не представляется возможным". Тут сразу во всей наготе перед нами „метод" Франка в борьбе против взглядов инакомыслящих. Кто же говорил о непрерывном и прямолинейном прогрессе? Никто. И было бы поистине смешно слышать такие утверждения от историков и философов, которые не могут не знать явлений упадка целых цивилизаций. Только разобрав все относящиеся к этому явлению, „положительные факты", социологи сказали: „да, прогрессивное развитие—факт". Не желая заниматься опровержением голословных утверждений Франка, мы подчеркиваем, что эти утверждения находятся в самом начале очерка без всякой логической необходимости. Это придает всему „очерку" определенный оттенок и привкус.

Для уяснения социального смысла этого явления не мешает припомнить слова Г. Грееф и: „В периоде действительного упадка или в течение временных кризисов, неизбежных спутников всякого органического превращения, угнетенное состояние различных сфер общественной жизни сопровождается пессимистическими теориями и верованиями" („Общественный прогресс и регресс", 1896 г., 335). Эти слова, основанные на действительном изучении действительных исторических фактов приложимы всецело и к нашему времени. Шпенглер проповедует умирание западной цивилизации, отрицая поступательный ход истории. Проф. Виппер в своей книжке „Кризис исторической науки" (1922 г.) ополчается против теории прогресса и особенно против исторического материализма в целом. Карсавин грозит нам статьей „Мираж прогресса" (см. „Мысль", I) и т. д., и т. д. И тут же и Франк! Какое внушительное подтверждение основного положения исторического материализма, что „бытие определяет формы сознания"!

По существу философского credo проф. Франка, выявляемого им и в „Очерке", распространяться не приходится. Он заявил в 1915 г.: „мы признаем себя принадлежащими к старой, но еще не устаревшей секте платоников" („Предмет знания", Записки ист.-фил. факультета Имп. Петроградск. университета, стр. VI). Так как на эту свою работу он пока еще ссылается в „Очерке" (о работах 1910 года Франк заявляет, что они „основаны на психологическом направлении и потому в своей основной тенденции ныне не разделяются больше автором"), то следует предполагать, что проф. Франк в 1922 году пока еще платоник. Текст „Очерка" этому не противоречит. В основе обществоведения, по Франку, лежит „живое созерцание в форме самоуглубления" (103). Поэтому нечего сомневаться, что „все наибо-

лее ценное, плодотворное и влиятельное в области общего осмысления социальной жизни создано не положительным обществоведением, а заключено в философских размышлениях об обществе" (101). Само общество—„сверхвременное единство" (40), „сверхпространственное духовное общение" (45). Люди постигают его „на почве первичного единства" общества; „первое, что мне дано, есть не „мое сознание", а сознание вообще" (68). Из этого лона первичного сверхвременного и сверхпространственного единства духовного существа общества эманирует платонически, множественность конкретной реальности. „Мы должны прежде всего в общей форме констатировать, что всякое общественное явление, на-ряду с той своей стороной, в силу которой оно есть реальный факт, событие, состояние или процесс, имеет форму, в силу которой оно имеет „смысл", что-то „означает", выражает какую-то „идею", при чем этот „смысл" или эта „идея" образует конститутивный признак, вне которого оно немыслимо" (75), „идеально есть или имеет силу даже в тех случаях, где нет никаких реальных явлений или процессов" (75). Это так называемый идеалреализм, который путается в своих противоречиях[1]), как курица в пакле, а по Франку—„усложненно и углубленно ставит проблемы".

„Усложненно и углубленно ставят проблемы"! Так хвастаются все идеалистические системы, противопоставляя свое понимание якобы упрощенным концепциям материалистов. Но это сплошное недоразумение, а иногда и лицемерие. Как раз наоборот: идеализм во всех своих видах есть самое упрощенное миропонимание. Допущение „сверхвременных, сверхпространственных духовных начал" сразу решает три философских проблемы—гносеологическую, онтологическую и, наконец, космологическую. Эта линия наименьшего сопротивления—признак упадка заката. Исторически восходящие общественные группы выступают на арену под знаменем реализма и материализма, чувствуя в себе достаточно сил для изучения конкретной сложной действительности вместо ее осмысливания через посредство „эманирования" ее из сверхвременного и сверхпространственного начала. В наше время пролетариат является носителем материалистической философии и завоевывает мир, а имущие классы тонут в идеалистических упражнениях по уготовке себе места в Царствии Небесном. И в этом последнем своем занятии они часто возвращаются назад к старине. Автор „Очерка" вернулся к Плотину и Николаю Кузанскому. Нет худа без добра! Современные идеалистические течения, при одновременном распространении положительных знаний, действительно, дискредитируют враждебные нам идеологии, которые базируются всегда, для пущей важности, на той или другой разновидности идеализма; так расчищается путь для усвоения научного материалистического миропонимания.

В заключение один вопрос: зачем это „смиренное познание" проповедывать с кафедры, да еще в Институте Народного Хозяйства? Представляем, какие из него выйдут хозяйственники, если они будут обработаны такими философами. Это „смирение", действительно, может привести к фихтевскому положению: „философствовать, значит не действовать"... Куда же мы денем таких философствующих хозяйственников?

Карл Грасис.

---

[1]) Об этом нам придется говорить еще подробно в другом месте в обзоре состояния современной цивилизации, подготовляемом к печати. *Гр.*

Основные проблемы политической экономии. Сборник статей О. Бауэра, Л. Будина, Н. Бухарина, И. Г., Р. Гильфердинга, К. Каутского, Г. Кунова, Карла Маркса, А. Паннекука, К. Шмидта и Г. Экштейна.

Перевод под редакцией и с предисловием Ш. Дволайцкого и И. Рубина. Государственное Издательство. Москва 1922 г. Стр. 444.

Сборник, составленный из переводов статей, печатавшихся в свое время в „Neue Zeit" (некоторые в австрийском журнале „Der Kampf"), заполняет пробел в нашей совсем небогатой марксистской литературе по вопросам теоретической экономии.

Прежде всего, в нем впервые появляется на русском языке „Введение к критике политической экономии", писанное Марксом в 1857 г., которое сохранилось в виде незаконченного черновика, ибо Маркс не довел работы над ним до конца, так как ему казалось вредным предвосхищать во введении „еще подлежащие доказательству выводы".

Эта работа Маркса содержит множество глубоких и ценных замечаний. Каутский опубликовал ее впервые в 1903 г. Для всякого марксиста появление этого фрагмента, бросающего яркий свет на вопрос о методологических основах экономической теории Маркса, будет ценным подарком.

Из других статей, посвященных предмету и методу политической экономии, особенно интересна блестящая статья Р. Гильфердинга „Постановка проблемы теоретической экономии у Маркса". Удачна также статья Г. Кунова „К пониманию метода исследования Маркса".

Наоборот, весьма сомнительный марксизм излагается в статье Г. Экштейна „О методе политической экономии", где главной заслугой Маркса объявляется совпадение его метода с методом Маха-Авенариуса.

Группа интересных статей посвящена критике теории предельной полезности. Это весьма кстати, несмотря на то, что у нас есть блестящая „Политическая экономия рантье" Н. Бухарина.

Пять статей (Гильфердинга, Бауэра, Кунова и Экштейна) посвящены „Теориям прибавочной ценности" Маркса. Как известно, этот незаконченный трехтомный труд, составленный К. Каутским из черновиков Маркса, содержит историю экономических учений от В. Петти до Ричарда Джонса, причем в центре поставлено историческое развитие теории прибавочной ценности,—основной проблемы политической экономии. На русском языке есть два перевода I-го тома (кончающегося Адамом Смитом) и один перевод 1-й части II-го тома (Рикардо), ни 2-й части II-го тома, ни III-го тома по-русски нет. Для страны, где $4^1/_2$ года стоит у власти правительство из марксистов, где имеется Социалистическая Академия и марксистский Госиздат,—это не совсем нормально.

Во всяком случае, по появляющимся теперь статьям русский читатель получает возможность составить себе представление о содержании „теорий прибавочной ценности" в целом и о значении этого замечательного произведения для понимания системы марксизма, с одной стороны, и для изучения истории экономических учений—с другой.

Статья О. Бауэра „Накопление капитала" дает обстоятельную критику известной книги Розы Люксембург, носящей то же заглавие. При громадном теоретическом и практическом значении разбираемых

Р. Люксембург вопросов и при спорности ее выводов, статья Бауэра получает большой интерес, тем более, что на русском языке о книге Люксембург почти ничего не писали.

Статьи Бухарина и Будина посвящены критике Тугана-Барановского, как автора „социальной" теории распределения, как критика Маркса.

В общем, интересный и содержательный сборник. Перевод хороший.

С. Членов.

Hormann Angel. Версальский мир и экономический хаос в Европе. Пет. издательство „Право". 1922. 4+112 стр.

В прошлом году проф. Н. Любимов дал частью в переводе, частью в изложении поучительную книгу проф. Кейнса: „Экономические последствия Версальского мира". В настоящее время в Гос. Изд. печатается полный перевод этой работы.

Норман Ангел ставил такие же задачи, как Кейнс, и в общем приходит к таким же выводам. Но Кейнс—умный и вдумчивый экономист, который умеет подкреплять всякое положение фактами и цифрами. Поэтому, несмотря на многие умилительные наивности в суждениях, он дал работу, мимо которой никак нельзя пройти при изучении того, чем обязана Европа победоносному империализму Антанты.

Норман Ангел, как указано в небольшом предисловии к разбираемому изданию,—„популярный английский публицист". И, насколько можно судить по данной книжке, „популярность" достигается им большим упрощением приемов работы.

Автор не обременяет себя и читателей фактическим материалом. Он полностью исчерпывается несколькими выписками из Гувера, проф. Стэрлинга, из докладов нескольких английских офицеров, командированных для ознакомления с положением и настроениями в побежденных странах. И в этих выписках даны не столько факты, сколько общие впечатления наблюдателей. Очевидно, автор считается со вкусами и слабостями той обывательской публики, для которой в первую очередь предназначена книжка этого „популярного публициста".

Ангел не просто дает эти выписки. Он, с небольшими вариантами, повторяет их и еще раз, и еще раз, и еще. еще несколько раз. Только благодаря повторениям работа и разраслась в книжку.

Работа не блещет богатством идей. Их очень немного, и все они примитивны. Английская и французская промышленность не могут развиваться, если побежденным странам нечем будет оплачивать вывозимые из Англии и Франции товары. Лотарингские железные руды принесут мало пользы Франции без коксующихся углей, главные месторождения которых остались в Германии. Победители должны уразуметь, что их экономика может развиваться только при условии известной гармонии с экономикой стран побежденных.

Многое в соображениях Ангела звучит, как повторение фритредерских букварей первой половины прошлого века. Не пойдя дальше этих букварей, автор обнаруживает полную беспомощность, когда он подходит к опустошительной практике торжествующих современных империалистов. Это для него—трагическое недоразумение, случайная близорукость, результат нежелания вникнуть в истинные законы истинной экономической науки.

И опять автор повторяет и повторяет, с величайшим однообразием и надоедливостью, свои две-три идейки. Если бы не повторения, вся суть книжки могла бы быть изложена на полутора-двух десятках страниц.

Книжка положительно кишит наивностями. Было бы скучно приводить иллюстрации. Местами, наприм., на стр. 67—69, рассуждения становятся туманными, может быть, вследствие неудовлетворительности перевода.

В общем, перед нами обыватель, у которого начинают раскрываться глаза на тот кровавый обман и грандиозный грабеж, который проделали и проделывают империалисты. Но просветление для него только что началось. Он еще благоговейно цитирует лицемерные фразы, которыми для простаков освящался разбойничий поход. Он еще, продолжая работу Вильсона, составляет „экономические кодексы" для Лиги Наций, долженствующие внести гармонию в международные отношения. Он еще открывает „интернационалистов", „радикальных мыслителей", „идеалистов" в таких персонажах, которых всякий беспристрастный человек должен признать пройдохами империализма.

Местами Ангел обнаруживает полную растерянность. Он встретился, например, с фактами самой наглой лжи, самого беззастенчивого обмана, насаждаемого посредством газет, через которые воротилы империализма обрабатывают „общественное мнение". И перед лицом таких простых фактов автор бормочет что-то длинное, невнятное и невразумительное (94—105)

Сердце автора сжимается от страха за будущее Европы. Он снова и снова повторяет, что на почве экономической разрухи и голода „вырастает социальная неурядица". Слово „революция" автор старается избегать: оно слишком страшно. Версальский мир повергает его в величайшую печаль как раз потому, что „социальная неурядица" становится неизбежной.

„За последние месяцы,—пишет Ангел (31),—получила преобладание идея, что социальная неурядица является продуктом моральной заразы. Парижская конференция обсуждала возможность окружения Европы „санитарным кордоном", дабы воспрепятствовать проникновению к нам заразы.

„Английское правительство учредило специальный департамент для надзора за иммигрантами, чтобы этот яд не дошел до нас под видом пропаганды, а наш департамент полиции неутомимо ловит предполагаемых агентов, якобы заносящих заразу в Англию".

Однако автор не может спать спокойно и под ферулой неутомимо уловляющего департамента полиции, хотя бы он был подкреплен еще специальным департаментом. Ему приходит в голову совершенно естественное соображение: „если опасные идеи могут распространяться с такой легкостью, если агитаторы с несколькими тысячами отпечатанных памфлетов могут поколебать основы государства, или как кто-то выразился, „носить революцию в саквояже",—то какого можно ожидать влияния на столь легко возбуждаемые умы от настоящего „социального эксперимента", т.-е. от попытки осуществить идеи „социальной неурядицы" на практике.

„Если мы вспомним, что, правильно или нет, но большинство во Франции и Англии чувствовало, что установление коммунистического правления в России явилось бы прологом для остальной Европы, быть может именно силой своего примера, то станет очевидным, что эта вероятность увеличится, если Германия, при ее способности к го-

ударственной организации и при понятливости и дисциплинирован·ости ее населения—образует коммунистическое государство".

„Джервин, тревожась за консерваторов, хотя это касается не олько их, заявил в декларации, что „следующая вспышка убийств т.-е. новая война. *И. С.*),—если только демократия решится в таковой частвовать после того жестокого крушения, которое потерпели в по·ледние конфликты наши лучшие надежды,—приведет к **повсе·іестному ниспровержению и национализма и капита·изма**" (подчеркнуто мною. *И. С.*). И симптоматично в глазах автора о обстоятельство, что, как он говорит, „среди нас есть такие, кото·ые, оглядываясь на последствия старого порядка, мало устрашены іерспективой такого уничтожения" (32).

Обыватель, далекий от марксизма—да и от всякой теории,—на·инает чувствовать, что империалистская фаза, действительно, послед·яя, заключительная фаза капитализма, и что за нею последует социа·изм. Только он не умеет это ни как следует осознать, ни толково ыразить. И все еще тоскливо мечется, и все еще предается иллю·иям: все это—„недоразумение", еще не окончательно утрачена на·ежда образумить торжествующих каннибалов...

Приведенные выдержки могут служить иллюстрацией малой ли·ературности некоторых частей перевода.

Конечно, в Германии с величайшей быстротой перевели книжку ігела и пустили ее с характерным аншлагом: „За Кейнсом—Ангел". Это значило: вот еще один в лагере победителей начинает понимать, акими опасностями для них чревато разграбление Германии. Медленно, о неуклонно пробивает себе дорогу понимание действительного по·ожения, созданного Версальским миром. И, значит, подобно зайцу в цедринской сказке, все еще можно питать сладкую надежду: „может ыть, и помилуют".

Нам следует изучать разрушительную работу империализма. С той точки зрения особого внимания заслуживает влияние Версаль·кого договора на экономическую жизнь Европы, как и сам Версаль·кий договор, оставляющий по неприкровенности аппетитов все, что олько дала нам история. Но здесь книга Кейнса окажется бесконечно олезнее, чем легковесная книжечка Ангела.

И. Степанов.

Sidney and Beatrice Webb. „The Consumer's Coope·ative Movement" („Потребительская кооперация"). Издание Longman. 921 г.

Почти тридцать лет тому назад Беатриса Вебб (тогда еще мисс Пойнтер) выпустила свою небольшую книжку об английском коопера·ивном движении, в которой намечала линии его последующего раз·ития и приводила его в связь с другими формами рабочего движе·іия. Только что вышедший труд супругов Вебб с удовлетворением онстатирует правильность анализа того времени, подкрепленную ремя десятилетиями практики и опыта.

Новая книга Веббов посвящена детальному рассмотрению совре·іенного состояния и перспектив английской потребительской коопе·ации, которая в настоящее время снабжает $^3/_7$ населения Англии (эти $/_7$ населения покупают в кооперативах $^1/_2$ всего их продовольствия и $/_{10}$ остальных предметов хозяйства), которое включает в себе 1.379 по·ребительских обществ, с общим числом членов в 4,5 милл. человек, с капиталом свыше 86.000.000 ф. ст. Но цифровой и фактический

материал при всем своем богатстве и детальности отнюдь не загромождает книгу и не нарушает цельности теоретического анализа, в ней содержащегося. Авторы с особенным вниманием останавливаются на вопросе о том, какое место должна занять кооперация в общей схеме прогрессивного общества, в частности, каковы ее взаимоотношения с тред-юнионизмом, с государственным и муниципальным социализмом, наконец—с производственной кооперацией.

В отношении последней Веббы указывают на существование некоторого внутреннего конфликта между потребительской и производственной кооперацией. Та и другая исходят из разных предпосылок о значении производителя и потребителя. Преимущество, по мнению Веббов, должно быть отдано потребительской кооперации. В конечном счете, полагают авторы, всякая прибыль создается за счет потребителя, поэтому именно организации потребителей в силах создать такое положение, при котором прибыль будет вовсе изгнана из экономической системы. К тому же цели производственной кооперации достигаются и другими путями—гильдейским социализмом, системой copartenship'а и т. д. Далее авторы указывают на конфликты, которые долгое время происходили между потребительскими обществами и их наемными служащими и рабочими. Прошло много времени, пока первые согласились предоставить последним некоторое участие в контроле и представительство в правлениях. Необходимо выработать такой порядок, при котором интересы труда были бы в достаточной мере ограждены, но в конечном счете собственность, руководство и управление принадлежали бы организованному потребителю.

По мнению Веббов в будущем, как и в настоящем, кооперации предстоит разделить экономическую власть с государством и муниципалитетом—с одной стороны, с частной инициативой—с другой. Известные отрасли хозяйства должны быть монополизированы в руках государства и общин. С другой стороны широкое поле деятельности останется в распоряжении частного капитала, который будет владеть всеми теми отраслями экономической жизни, в которых наибольшее значение имеет личный стимул, риск, индивидуальная приспособляемость. „Важнейшей из таких отраслей является сельское хозяйство, которое еще долго будет находиться в частных руках, хотя нет причин, почему, собственно, рано или поздно и оно не сможет быть организовано на потребительско-кооперативных началах".

Грядущему торжествующему развитию кооперации не препятствует и то обстоятельство, что Англия находится в сильной зависимости от внешней торговли. Еще до войны оптовые кооперативные общества разных стран вступали друг с другом в торговые сношения, в настоящее время эти сношения возможны на еще более широком базисе. В связи с этим предстоит развитие кооперативного, финансового и банковского дела. Кооперативная внешняя торговля явится могущественным двигателем по пути сближения между народами.

В настоящее время, констатируют авторы, ни один экономический орган не может не вмешиваться в политику. За последние годы кооперация сильно страдала от действий различных налоговых и судебных властей. В результате среди кооператоров возникла даже мысль о создании своей собственной, кооперативной политической партии. Но Веббы против этой идеи и предлагают взамен этого, чтобы каждое потребительское общество организовало у себя политическую секцию, которая должна примкнуть к местному отделению рабочей партии.

А. Конторович.

Л. Троцкий. „Между империализмом и революцией“. 131 стр. Госиздат. Москва 1922 г.

„Нельзя отрицать того,—говорит Троцкий,—что пролетарская революция нанесла ущерб некоторым карманам и кошелькам, считающим себя самым священным из принципов, на коих покоится общение между цивилизованными народами“ (стр. 13). Империалистический Запад обрушился на нас за это критикой оружия. Однако успехи Красной армии и растущие симпатии к Советской России со стороны трудящихся масс всего мира принудили правительства буржуазной Европы и Америки и их лакеев из II Интернационала перейти на путь позиционной войны против нас, в которой средством борьбы им служит не оружие, а дипломатия, интриги и потоки грязной лжи, направленной к „омрачению обаяния революцией“. При этом „между буржуазией и ее собственной социал-демократией соблюдается... разделение труда: дипломатия ведет официальные интриги, социал-демократия мобилизует общественное мнение против республики рабочих и крестьян“, пользуясь „бумажными принципами“ демократии и права и воспроизводя при этом in octavo то, что ранее империалисты преподносили in folio.

Защищать сов. хозяйственную систему и суверенитет рабочего государства от дипломатических посягательств буржуазных правительств—дело нашей красной дипломатии и Чичерина.

Но против инсинуаций II Интернационала нужны не дипломатические „убеждения“, а беспощадное разоблачение всей предательской, лакейской, мелко-буржуазной сущности королевских и республиканских социал-демократов перед лицом рабочего класса и трудящихся масс всех стран.

Еще во время войны за самостоятельность Сов. России Троцкому не раз приходилось откладывать меч и браться за перо, чтобы парировать удары клеветы и лжи против Сов. Республики со стороны вождей, так называемого, II Интернационала. Из-под пера Троцкого не раз выходили политические памфлеты против социал-предателей рабочего дела Макдональд, Гендерсон, Вандервельде, Каутский и другие вожди, так называемой, социал-демократии, благословлявшие войну и одобряющие насилие своих империалистических хозяев, выдвигают, как очередной номер, „мобилизации общественного мнения против республики рабочих и крестьян“—совершенное якобы Сов. Россией „насилие над демократией и свободой национального самоопределения“ б. меньшевистской Грузии.

Т. Троцкий, как трибун революции и вождь Красной армии, которая будто бы и совершила это насилие, вновь берется за перо, благо теперь меч в ножнах, и дает сильную яркую отповедь на эту очередную клевету в своем новом, едва ли не самом блестящем, политическом памфлете, озаглавленном — „Между империализмом и революцией“.

В нем т. Троцкий разоблачает „миф о грузинской демократии и о большевистских захватчиках“, созданной „коллективной мистрисс Сноуден“, как насмешливо и метко называет автор вождей II Интернационала и глубоко вскрывает мелко буржуазную сущность грузинской демократии, которая, будучи поставлена между империализмом и революцией, все время плелась в хвосте первого, действуя против последнего.

Пользуясь „для большей убедительности“ документами, доставленными меньшевистскими „демократическими телятами“ после их бегства из Грузии, т. Троцкий шаг за шагом прослеживает историю грузин-

ой демократической республики. Начав с „выяснения личности" руководителя грузинской демократии,—„мелких дворян по происхождению, мелких буржуа по образу жизни и складу психологии, с фальшивым марксистским паспортом в кармане" (стр 83), т. Троцкий документально показывает, как эти грузинские демократы в начале 18 года бежали из Питера на Кавказ и там „самоопределили" Грузию, насильно отделив ее от Сов. революции и пушками установив ней демократический режим. Дальнейший их путь—„зигзаги, противоречия, измены, но всегда против революции пролетариата (стр. 34). Борьба с большевизмом"—белой нитью проходит через все существование меньшевистской Грузии, которая в этом являлась лучшим слугой мировой реакции. Ради этой борьбы меньшевики, „соблюдая строжайший нейтралитет", как утверждает Каутский, пригласили к себе войска Гогенцоллерна, затем сменили их на английские войска, заключили союз с казацкой Вандеей, отказали Сов. России на ее предложение совместно выступить против Деникина, помогали всеми средствами Врангелю создать армию, устраивали у себя легальную и нелегальную штаб квартиру контр-революции, рукоплескали каждой победе над Сов. Россией, раболепствовали и хвастались перед „цивилизованной" Европой и белыми генералами своими кровавыми победами над крестьянскими восстаниями и террором над внутренним большевизмом т. д. и т. д. Словом, меньшевики Грузии, при одобрении и восхищении хитроумных Каутских и елейных Сноуден, творили в этой стране настоящий „социал"-демократический и меньшевистский рай. Этот белый режим при помощи иностранных войск, „дополненный бумажными цветами риторики" (стр. 55) и ссылками на Маркса, привел в конце-концов к тому, что восставшие под руководством коммунистов рабочие и крестьяне Грузии, опираясь на силу Красной армии, которой они просили помощи, свергли демократический режим Жордания — Церетели и отправили их во II Интернационал жаловаться на насилие и обиды со стороны большевиков.

Но грузинская демократия меньшевиков есть воплощение сущности всего II Интернационала. Поэтому Троцкий пользуется грузинской жирондой, как политическим типом, и следующими словами характеризует, так называемую, социал-демократию: „национальные предрассудки и осколки социализма, Маркс и Вильсон, риторические увлечения и мелко-буржуазная ограниченность, пафос общих мест и плутовство, Интернационал и Лига наций, немножко искренности и много шарлатанства" (стр. 85)—такова сущность этих политических лакеев империализма—„амбициозных, многословных, всегда колеблющихся, всегда ненадежных, но лакеев до мозга костей" (45)... являющихся „плотью от плоти европейской цивилизации" (стр. 86).

Опыт грузинской демократии, которая является „амёбой" по отношению к великобританскому империализму, позволяет Троцкому еще раз „сравнить" демократию и Сов. систему и показать всю капиталистическую сущность первой и устойчивость, близость к массам и пролетарскую сущность второй.

Говоря о праве национального самоопределения, Троцкий показывает, что оно возможно только при Сов. системе, которая делает уступку национальным иллюзиям при условии хозяйственного единства всей федерации. Требование же самоопределения при империализме есть лишь одна из вывесок для его захватных стремлений.

В заключение Троцкий показывает, как создается буржуазное общественное мнение, которое „есть плотная психологическая ткань,

предохраняющая орудие и инструменты буржуазного господства от толчков и разрушения". И в создании этого общественного мнения одну из главных ролей играет компания господ из II Интернационала.

В конце книги приложено „Воззвание съезда Советов Грузии к трудящимся всего мира" по поводу инсинуации II Интернационала о Грузии.

Надо сказать, что в противовес „плутовато-уклончивому" стилю бумажной стряпни II Интернационала, стиль этого памфлета т. Троцкого пламенно-гневный, чеканный и неопровержимо убедительный. Стиль—это человек, говорит Троцкий. И это верно: в стиле своей книги Троцкий сказался весь, как революционный трибун и вождь Красной армии.

П. Сапожников.

Мих. Павлович (М. П. Вельтман)—Советская Россия и капиталистическая Франция. Комиссия по истории Октябрьской революции и Р. К. П. (большевиков). Государственное Издательство. М. 1922 г. Стр. 64.

Новая книга М. Павловича является первым выпуском задуманной им серии: „Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении". Как и следовало ожидать, в первую очередь появилась работа о русско-французских отношениях, представляющих и в наши дни острый интерес современности.

М. П. Павлович широко поставил задачу, решив изобразить историю сношений с нашей бывшей союзницей, начиная еще с прелиминарий знаменитого альянса. Автор выясняет те исторические условия, которые соединили, казалось бы, совершенно противоположные друг другу государства, сочетав их в причудливом, неравном браке. Да, в силе остается определение трезвых французских историков, чуждых романтизма наших восторженных трубадуров „belle France" данное союзу, как „браку по рассудку". Теперь мы прибавили-бы по рассудку, проявленному лишь одной стороной, сумевшей продиктовать свою волю другой.

К сожалению, вся книжка Павловича носит очень краткий, сжатый характер, являясь как бы эскизом большого и существенно-нужного труда. Поэтому описание подготовки франко-русского союза, перелома „традиционной" русской внешней политики, чрезвычайно живописных и характерных деталей самого заключения союза вышло недостаточно полным, излишне конспективным. Между тем, и во Франции, и в России как раз перед войной и в первые годы войны появился ряд публикаций, в той или иной степени относящихся к генезису франко-русского союза. Особенно примечательны новые данные по внешней политике Второй Империи и роли канцлера Горчакова, одного из первых поборников франко-русского союза. Из работ, появившихся на русском языке, здесь следует упомянуть статьи М. Н. Покровского, С. М. Горяинова и проф. Е. В. Тарле (последнего в издании „Россия и союзники").

Центральное место книжки Павловича занимают сношения России с Францией во время войны. Отметив все невыгоды для России военной конвенции, всецело подчинившей русское военное командование французскому плану войны, автор дает целый ряд фактических данных, наглядно иллюстрирующих это положение. Работы Валентинова и Маниковского, появившиеся в издании „Военно-Исторической Комиссии", дали обильный материал, показывающий, чего тре-

бовали союзники (в первую очередь Франция) от России и что они давали. Требования были безмерны. Русский штаб покорно выполнял их и слал на верную гибель войска, чтобы спасти союзников. Теперь уже ни для кого не тайна, что битву при Марне выиграли русские, что „сам Париж“ спасли русские, что в твердыне „неприступного“ Вердена есть много от русской силы. Только тысячи и тысячи русских солдат, погибших в мазурских болотах и на бесконечных полях битв, являются многоговорящим воспоминанием об этих поистине кровавых жертвоприношениях за спасение мнимого друга. А в ответ на это кислосладкие советы „молчальника“ Жоффра, да негодные ружья и плохие снаряды. Даже по односторонним материалам ставки, теперь опубликованным, можно судить о наглости и цинизме французов, вызывающих нередко чувство негодования у ответственных руководителей русской армии. Ни в один самый критический момент, который переживала русская армия, союзники шагом не поступились в своем военном плане. „Белые негры“ должны были выполнять директивы свыше.

Само собой разумеется, что русская революция не вызвала восхищения у французов. К сожалению, в книжке Павловича почти не освещен вопрос об отношении французской республики к февральской революции. А между тем, здесь многое чрезвычайно интересно и как бы предвещает грядущее. Если англичане с кадетствующим Бьюкененом приветствовали первый фазис революции (особенно ее Милюковский период), то французы с самого начала заняли позицию противоположного характера. Мемуары французского посла Палеолога, печатавшиеся в „Revue de deux Mondes“, дают много любопытных деталей для характеристики взаимоотношений русских высоких сфер и официального представителя Франции, любимейшего „causeur'а“ аристократических салонов. К сожалению, до сих пор не опубликованы донесения посла Франции о революционных событиях в России.

Октябрьская революция и выход России из войны переполнили чашу терпения, и Франция стала активно действовать против революционной России. Эта борьба, хорошо памятная и до сих пор, в сущности не изжитая, выпукло и отчетливо очерчена в своих основных фазах в книжке Павловича, в ее второй части. Автором и здесь использован свежий, ценный материал.

Видя в настоящей книжке эскиз большого труда, пожелаем автору поскорее осуществить его, дав необходимое дополнение к его известным работам о мировом империализме.

И. Бороздин.

Caillaux. „Où va la France, où va l'Europe?“ („Куда идет Франция, куда идет Европа?“). Paris 1921.

Радикал, бывший министр, обвиненный во время войны в сношениях с немцами и посаженный по этому обвинению в тюрьму, Кайо, в своей книге, бросает вызов крайним элементам французского национализма, равно как и мирового империализма вообще. В настоящее время, полагает Кайо, перед Европой—одна дилемма: или полнейшее варварство и нищета (по этому пути толкают ее нынешние господа положения, в частности французские политики) или реконструкция настолько глубокая, что для описания ее Кайо считает возможным прибегнуть к слову „революция“. Кайо дает в своей книге картину современной Европы, разъединенной, обнищавшей, „бальканизированной“. Предвидя будущие войны, каждое государство стремится к [illegible]

:ической замкнутости, к независимости от соседей. Повсюду господ-
ует мания продавать, не покупая. Франция, в частности, ухватилась
ıротекционизм; ее фискальная политика так плоха, что за два года
не обновила ни одного торгового договора. Во внутренних делах
сюду—и в особенности во Франции—правит плутократия; банки
тролируют прессу, а пресса давит на палату. Инфляция, дезорга-
ованные бюджеты—такова обычная картина финансового положе-
. Там, где оно улучшается—это происходит за счет косвенных на-
ов, всей своей тяжестью падающих на беднейшие классы населе-
. Повсюду демократия подавлена и придавлена. Наблюдается огром-
ı рост трестов. Колоссальные организации, вроде Стиннесовской,
только накладывают свои лапы на уголь, сталь или электрическую
ргию, но подготовляют полнейшее порабощение общественного
ния путем бумажных картелей, проникновения в издательское дело
эдержания сотен газет.

Кайо с некоторыми оговорками „принимает марксистское пони-
йе истории". Европейский капитализм движется по пути верти-
ьной концентрации. Это угрожает нашему континенту полнейшим
ством. Повсюду идет нападение на демократию и демократические
нципы. В поисках выхода Кайо анализирует различные рецепты.
отбрасывает коммунизм. Точно также он не согласен с идеей Ра-
ау—идеей треста, контролируемого государством—отчасти вслед-
ие своей нелюбви к регламентации экономической жизни вообще,
асти потому, что, как он полагает, в смешанном управлении маг-
ы капитализма окажутся для представителей государства и рабо-
непосильными противниками. В качестве радикального интелли-
га, Кайо предлагает свой собственный весьма эклектический план,
орый начинается с свободной торговли и экономического интерна-
нализма и приводит к несколько видоизмененному гильдейскому
иализму. Он предлагает совместить идею советов (прямое профес-
нальное представительство) с политической парламентской систе-
ı. Он требует далее налога на капитал, контроля над предприятием
стороны всей совокупности его рабочих и служащих, начиная с ди-
тора и кончая поденщиком, и принимает также идею ограничения
были определенным, фиксированным процентом.

Характерное свойство книги—противоречие объективного реализма
нки современного положения Европы и слишком очевидного наивно-
ектического и фантастического идеализма предлагаемых лекарств.
той последней части Кайо обнаруживает, что Маркс, которого он
инял" впервой, не принес ему особенной пользы и не прояснил
понимания.

А. Конторович.

Edward Alsworth Ross. „The Russian Bolschevik Re-
ution". New York The Century C-nie. 1921. (Русская большевист-
я революция).

Автор этой книги—известный американский социолог, профессор
іверситета в Висконтине. Он много путешествовал, был, между про-
ı, в России и наблюдал в 1917 году русскую революцию. В своей
іге он излагает историю этой революции, начиная от падения ца-
эма и до захвата власти советами: т. е. с февраля по октябрь 1917 г.
ига Росса выгодно отличается от большинства заграничных писаний,
вященных той же теме, сравнительной объективностью своего из-
кения и уменьем автора разбираться в сложной исторической об-

становке. Основная мысль Росса—убеждение в неизбежности именно коммунистической революции в России. Он указывает на неправильность обычного представления, приписывающего чрезмерную роль в направлении хода событий небольшой группе эмигрантов во главе с Лениным. Значение этой группы и ее „козней“ значительно преувеличено. Если бы знаменитый запломбированный вагон, заявляет Росс, который привез в Россию Ленина с тридцатью его сотрудниками, вовсе не достиг бы своего назначения, все равно последовательность событий приняла бы тот же самый оборот. Росс подтверждает свое положение множеством исторических и психологических доказательств. Книга Росса будет, без сомнения, значительно способствовать правильному представлению американцев о ходе русской революции; в частности, она непосредственно направлена против господствующего в известных кругах Америки предрассудка, будто с момента соприкосновения с западом Советское правительство окажется неспособным удержать за собою власть.

А. К.

Я. Шафир. „Тайны меньшевистского царства“. С предисловием М. Орхелашвили. Гос. Издат. Тифлис 1921 г. Стр. 152.

О Грузинской Жиронде и о роли ее в период гражданской войны накопилось уже изрядное количество литературы, как в России, так и за границей.

Тов. Я. Шафир в названной книжке предлагает читателю ряд новых неопубликованных документов, которые должны доставить много неприятных минут бывшим властителям Грузии. Тов. Шафир—председатель специальной комиссии, посланной в средине прошлого года Коминтерном в Грузию для расследования архивных материалов, сохранившихся после бегства правительства Грузии. Говорим „сохранившихся“, ибо, к сожалению, самые ценные (и, видимо, самые компрометирующие) документы были ими (вместе с казной) увезены.

Но и сохранившиеся материалы, попавшие в руки комиссии, достаточно красноречивы и сами за себя говорят.

Когда Советское правительство сделало Грузии (в начале 1920 г.) предложение о совместном выступлении против Деникина, со стороны Грузии последовал категорический отказ, мотивированный намерением сохранить строгий нейтралитет в гражданской войне. Подоплеку этого отказа и его лицемерную сущность можно увидеть из слов главы Грузинского правительства, почтенного Ноя Жордания, который, докладывая об этом Учредительному Собранию, обмолвился замечательной фразой: „Предпочту империалистов Запада фанатикам Востока“. Этими классическими словами определяется все содержание политики меньшевистского правительства.

Недостаток места лишает нас возможности привести хотя бы некоторые перлы из документов, опубликованных в книге. Каждый из них говорит либо о лакейской угодливости по отношению к варягам в образе американцев и англичан, либо о подлинном предательстве по отношению к Советской России, либо, наконец, об активной помощи Деникину и Врангелю („строгий нейтралитет“) со стороны „демократической республики“.

Особенно ярки и красочны „беседы“ г.г. Жордания, Топуридзе и др. с ген. Мильк, Форестьер, Уоккер и проф. Джаксоном. Грузия, после целого моря унижений и предательства, добилась, наконец, от Лиги Наций признания.

„...Возбуждая ходатайство о принятии в Лигу Наций... правитель ство Грузии полагает, что самые принципы, долженствующие регули ровать международную жизнь, направленную отныне в сторону соли дарности и сотрудничества, требуют принятия в семью свободны европейских народов народа древнего, некогда авангарда христиан ства на Востоке, ныне ставшего авангардом демократии,—народа, стре мящегося только к свободному и упорному труду в своем доме, являк щемся его законным и бесспорным наследием“.

В эти замечательные слова полезно внимательно вчитаться: эт пишут лидеры и вожди грузинской соц.-дем. раб. партии.

Признания „первой в мире демократической республики“ грузи ские соц.-демократы добились, но — какой ценой...

В одной из упомянутых выше бесед с американским представ телем, Диомид Топуридзе, на вопрос—„хотите ли вы помогать нам борьбе против большевиков“, отвечает, что „Грузинское правительст будет всеми силами содействовать, чтобы сообща с Антантой бороть против большевиков“ (стр. 19). Подобного рода документов, изобл чающих сущность грузинского нейтралитета, можно привести сколь угодно. Тут и передача Деникину группы интернированных больш виков, таинственное исчезновение целого лагеря интернированных со дат Добровольческой армии, торговое соглашение с Врангелем о п ставке ему и Деникину всевозможных предметов военного снаряжен и мн. др. Этот торговый договор Грузии с Врангелем был заключ тайно, вопреки точному смыслу мирного договора Советской Росс с Грузией, заключенного в мае 1920 г.

Здесь, наконец, документы об отвратительной роли груз. мен шевиков в организации восстания против Советской власти на Севе ном Кавказе и документы о приглашении новых варягов (третьих счету)—турок в пределы Закавказья в 1921 г. (стр. 128—132).

Вопли за-границей этих властителей и их друзей из II Интер ционала о „насилии, учиненном большевиками по отношению к своб ной демократической республике“—приобретают особый интерес свете опубликованных ныне документов.

З. Маркович.

Edouard Retterer et Voronoff Serge. La Glande genit mâle et les glandes endocrines. Octave Doin. Paris 1921 г. 228 стр

В корректурном примечании к своей статье о „Проблеме старо и омоложения“ („Красная Новь“ № 3), я уже отмечал факт получе в Москву этой книги. Ввиду важности темы и того обстоятельс что один из соавторов ее—Сергей Воронов—является одним из „из ретателей“ сенсационнного метода омоложения, нам представляе важным и интересным остановиться на содержании этой новейı книжки, вышедшей из-под его пера.

Книга разделяется на две приблизительно равные части. В пер части авторы излагают свои, уже известные нашему читателю, исс дования над внутрисекреторною функцией половых желез. Но этом много места тратится на исторические справки о древних п ставлениях, о роли яичек и т. п., материал, представляющий лишь носительный интерес.

---

[1] Реттерер и Воронов. Мужская половая железа и эндокринные же. Изд. Октав Доэн. Париж. 1921 г.

Центральным пунктом этой части книги является довольно оригинальная идея, которую высказывают авторы по вопросу о механизме и источниках полового гормона. Именно, авторы утверждают, что, „интерстициальные клетки" яичка, которым обычно приписывается функция внутренней секреции половых органов, сами являются продуктом превращения генеративных клеток, вырабатывающих обычно наружу семенные продукты. Таким образом, если бы подтвердилась эта точка зрения, то тогда нашли бы примирение две точки зрения на весь механизм продукции полового гормона, особенно остро противопоставляемые друг другу в связи с известными работами Штейнаха. Как известно, Штейнах находит в яичках своих омоложенных животных или во всех трансплантатах яичек увеличение этой промежуточной ткани за счет семенных канальцев. Это дает ему право утверждать, что эти клетки образуют особую „пубертатную" железу или „железу зрелости", являющуюся до известной степени антагонистом наружно секретирующих семенных канальцев. Эта гипотеза специфической внутрисекреторной ткани, первоначально высказанная Буэном и Анселем, не приемлется другой группой авторов, которые считают, что и внутренняя и наружная секреция половых желез принадлежат одним и тем же клеткам семенных канальцев, а промежуточная или интерстициальная ткань несет лишь второстепенную функцию накопления питательных материалов.

Воронов и Реттерер примиряют эти враждебные точки зрения: они не отнимают внутри-секреторные функции от промежуточной ткани, но утверждают, что она сама по себе является продуктом метаморфозы генеративных клеток.

Они указывают на тот факт, что ни ранее до них, ни Реттерер ни разу не наблюдали самостоятельного деления и размножения клеток промежуточной ткани, но, наоборот, Реттерер на гистологическом материале многочисленных опытов Воронова видел все ступени перехода от типичных эпителиальных клеток в интерстициальную ткань.

Как сказано, если бы подтвердилась эта точка зрения, она дала-бы новое направление мыслям и работам современных исследователей. Но пока нельзя еще сказать, чтобы Воронову и Реттереру удалось доказать свои положения. К сожалению, эта их совместная работа не производит серьезного впечатления и, наоборот, несет отпечаток большой поверхностности, даже легкомыслия. Они совершенно не сообщают ни способов фиксации, ни способов окраски стезов. Их аргументация далеко не использует тот фактический материал, который можно было бы привести в подтверждение их же собственной точкой зрения, и, наоборот, все шесть глав первой части книги на разные лады весьма длинно перепевают изложенные мысли, не давая им окончательной убедительности и силы.

Известный интерес представляет та часть работы, которая касается опытов Воронова по омоложению, но она кратка и менее удачно излагает относящийся сюда материал, чем специально посвященная этому вопросу книга того же Воронова, вышедшая годом раньше, и не дает ничего нового по сравнению с нею.

Таким образом эта первая часть книги содержит интересную мысль, которая может повести еще к интересным последствиям; но авторы заключили эту мысль в неудачную форму, многословно и скучно составили свое изложение и не доказали своей правоты. Все это, повторяю, не лишает книги большой важности, ибо раз мысль высказана, она еще сможет дать свои плоды.

Вторая часть книги посвящена „железам внутренней секреции" и еще менее солидно и серьезно обоснована, чем первая.

В весьма легковесной форме, чисто догматически и не представляя никаких доказательств, но явно увлеченные своей теорией происхождения интерстициальных клеток, авторы в этой второй части книги утверждают, что так наз. „островки Лангерганса", несущие внутрисекреторную функцию в поджелудочной железе, образуются также из клеток эпителия той же железы.

Столь же догматичны и остальные главы 2-й части, где авторы развивают свои взгляды на все железы внутренней секреции. На-ряду с некоторыми вполне приемлемыми и даже не требующими доказательств положениями, здесь мы встречаем и такие весьма сомнительные утверждения, что ткань околощитовидных железок может превращаться в тироидную. Все это дается в столь категорической форме тоном не подлежащей сомнению догмы, что у всякого мало-мальски знакомого с этими сложными проблемами человека возникает острый протест против той развязности, с которой авторы решаются говорить о них.

Наконец, такой же протест должно встретить и еще одно голословное положение авторов, которое гласит, что фагоцитарная теория Мечникова является „самой великой иллюзией XIX века".—И это важное положение, идущее вразрез с общепринятыми взглядами, авторы изрекают тоном оракулов, не чувствуя на себе обязательства мотивировать и аргументировать чем-либо свое мнение.

В общем итоге приходится признать, что книга содержит несколько интересных мыслей, которые быть может дадут еще большие результаты, но еще требуют своего более солидного и серьезного обоснования, чем это сделали авторы. Но эти мысли могут быть уложены в несколько страниц, все же остальное является основательной „водицею", и если бы мы не знали в Воронове автора весьма интересных работ, параллельных работам Штейнаха, то у нас бы явилось серьезное сомнение в том, имеют ли авторы рецензируемой книги право на имя ученого, достаточно серьезно относящегося к своему делу: в книге много шума, кое-что от сенсации, много догмы и голословности, но не видно ни метода, ни строгости по отношению к себе, которую хотелось бы видеть от большого ученого.

Кстати, эта книга, в значительной мере повторяющая целыми цитатами первую книгу Воронова (Vivre. Etudes des moyens и т. д.), значительно отличается к худшему от нее, как по форме и характеру изложения, так и по самой внешности издания. Одни и те же, очень эффектные, иллюстрации там были даны в прекрасном исполнении на меловой бумаге, здесь же и текст и рисунки—на грязной серой бумаге весьма сомнительного качества.

Что это значит? Упадок ли печатного дела во Франции, или авторы не могли найти для этой своей столь же серьезно написанной работы достаточно солидного издателя?

Б. Завадовский.

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Книга первая.

Книга вторая.

Книга третья.

С. Подьячев. „Болящий“. Рассказ.— *Н. Никитин.* Мокей. Сказ.— *М. Шил* Волк. Рассказ.— *Артем Веселый.* Мы. Драматические картины.— *В. Плетнев.* З Рассказ.— *Е. Федоров.* Байтас. Из киргизских восстаний.— *В. Тамарин.* Пусты истории одного похода).— *Е. Волчанецкая.* „За други своя“. Стихи.— *Эйдеман.* ((с латышского). Стихи.— *К. Лаврова.* Сухмень. Стихи.— *А. Пришелец.* В засуху. Ст *Анна Баркова.* Женщина. Стихи.— *Демьян Бедный.* Печаль. Стихи.— *Б. И. (Гольдман).* Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад. (минания.)— *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина (окончан *Б. Завадовский.* Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Ште Воронова и других.— *И. Степанов.* Мимо и дальше от Маркса.— *Е. Преображе* Перспективы новой экономической политики.— *А. Смит.* К вопросу об издержках люции.— *Е. Пашуканис.* Буржуазный юрист о природе государства.— *П. Коган.* Ру литература в годы октябрьской революции.— *А. Воронский.* Из современных на вий.— *Н. Мещеряков.* „Новые вехи“.— *Ил. Вардин.* Раскол партии кадетов. За руб *Антропов.* Англия. Экономические последствия мировой войны. Внутри советской Р *В. Кураев.* От войны к миру. В порядке дискуссии. *С. Гусев.* Еще о новой эко ческой политике.— *Вл. Сарабьянов.* Письмо в редакцию.— *Демьян Бедный.* Когда проснется? Критика и библиография. *Анчар.* О романе Бибика.— *П. Яровой.* Ва Бутягина. „Лютики“. Стихи.— *Вл. Сарабьянов.* Л. Троцкий. Новый этап.— *Вл. Са янов.* Гортер. Империализм, мировая война и соц.-демократия.— *Б. Э.* Восстанов хозяйства и развитие произв. сил юго-востока.— *Гр. С-ор.* Л. Крицман. Единый план.— *В. Ваганян.* Г. В. Плеханов. I. Год на родине. II. Речь на моск. гос. совещан *А. Воронский.* Похмелье. Г. Кирдецов. У врат Петрограда.— *Ил. Вардин.* Эс и колчаковщина.— *Б. Завадовский.* „Природа“.— *А. В.* Печать и Революция.

Книга четвертая.

Александр Яковлев. Порыв. Рассказ.— *Борис Пильняк.* Простые рассказ *Лариса Рейснер.* С пути. Дневник.— *Семен Подьячев.* „Православные“. (Рассказ *Семен Подьячев.* „Из недавнего прошлого“.— *Н. Ляшко.* Ворова мать. (Рассказ *Артем Веселый.* В деревне на масленице. (Рассказ.)— *Петр Мытарь.* Сорок т (Очерк.)— *А. Аросев.* Октябрьский рассвет. (Из записной книжки.)— *Арнольд Колба ский.* Муки слова.— *Павел Низовой.* Смена. (Рассказ.)— *А. Перегудов.* Казенни *В. Федоров.* Четыре пуговицы.— *Стихи:* Бориса Пастернака, Анатолия К., С. Об донича, Анны Барковой, Д. Выгодского.— *Б. М. Завадовский.* Наука в совет России.— *Ю. Ларин.* О пределах приспособляемости нашей новой экономической по тики.— *К. Радек.* Пути русской революции. (По поводу новой экономической политики. *Милютин.* На экономические темы.— *А. Луначарский.* Достоевский, как художни мыслитель.— *В. Вересаев.* Художник жизни (о Л. Н. Толстом).— *В. Плетнев.* Некра и современность.— *С. Бобров.* Кони о Некрасове и Достоевском. Внутри советской Рос *Сарабьянов.* Кое-какие итоги нового курса.— *Демьян Бедный.* Курология. Критика библиография. *П. Коган.* Литературные заметки. (Об Андрее Белом.)— *Сергей Город кий.* Обзор областной поэзии.— *Цег.* „Самое главное“.— *А. Тимирязев.* Обзор литерату о принципе относительности.— *Б. Арватов.* Общая эстетика.— *Ил. Вардин.* „Про тарская Революция“ № 1.— *Ил. Вардин.* Я. Яковлев „Русский анархизм“. Белая печа *С. Гусев.* О гражданской войне.— *И. Вардин.* Мелкое земледелие (о книге Чупрова) *Орфик.* Мережковский. Царство антихриста.

Книга пятая.

Вячеслав Шишков. Вихрь. (Драма в 4-х действиях.)— *Михаил Зощенко.* Лялька Пятьдесят. (Рассказ.)— *Сергей Семенов.* Тиф. (Рассказ.)— *Борис Пильняк.* Отрывки из романа „Голый Год“.— *Всеволод Иванов.* Бронепоезд № 14.69. (Повесть.)— *В. Вересаев.* К Афродите (из гомеровых гимнов).— *Стихи:* Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. [illegible]димова.— *Бернард Шоу.* Диктатура пролетариата (с английского).— *М. Покровский.* Наши спецы в их собственном изображении.— *Ш. Дволайцкий.* Мировое хозяйство и кризис 1920—21 г.— *В. Смирнов.* Наша экономическая политика.— *Н. Мещеряков.* Задачи современной кооперации.— *А. Воронский.* Советская Россия в освещении белого обозревателя.— *Н. Мещеряков.* Распад.— *П. С. Коган.* Памяти В. Г. Короленко.— *С. Бобров.* Символист Блок. За рубежом. *М. Павлович.* Вашингтонская конференция. Внутри советской России. *П. Месяцев.* Сельско-хозяйств. кризис.— *К.* В журнальном мире (хроника).— Проф. *Блажко.* Успехи астрономии.— Проф. *Пржеборовский.* Успехи химии в России.— *Демьян Бедный.* Басни.— *Сергей Городецкий.* Красномосковье. (Стихи.)— Критика и библиография. *Статьи и рецензии:* Нурмина, Боброва, М. Гейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича, В. Смушкова, З. Марковича.— *А. Воронский.* Из человеческих документов.— *Объявления.*

Книга шестая.

Письмо в редакцию.

Не откажите поместить в Вашем журнале следующее мое заявление. Недавно вышел в свет сборник под заглавием: „Наши дни, худож. альманахи под редакцией В. В. Вересаева № 1". Последняя статья сборника, носящая вид как бы редакционной, по недоразумению, напечатана не в том виде, в каком она была принята к печати, и некоторых высказанных в ней взглядов я никак не могу взять на свою ответственность.

В. Вересаев.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский б., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 4-36-81.

Прием по понедельникам, средам и пятницам, от 1 до 3 ч. дня.

Рукописи менее печатного листа не возвращаются.

Издатель Государственное Издательство. Редактор—А. Воронский.